АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1971

СОДЕРЖАНИЕ

В. М. Жирмунский. Существовал ли «протогерманский» язык? . . . 3
Э. А. Макаев (Москва). Проблема индоиранского языкового единства . . 7

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Л. Лигети (Будапешт). Алтайская теория и лексикостатистика 21
Т. В. Гамкрелидзе (Тбилиси). Современная диахроническая лингвистика и картвельские языки (II) 34
Я. Б. Крупаткин (Севастополь). Фонологический вариант фонемы и несмыслоразличительные оппозиции 49
А. С. Либерман (Ленинград). Порядок действий в фонологии и реальность различительных признаков 60

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Г. Тарлинская (Москва). Метр и ритм дочосеровского рифмованного стиха 73
Г. Ц. Нюрбеев (Москва). Функциональное чередование звуков в монгольских языках 89

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

Е. Курилович (Краков). Опыт экстраполяции одного языкового закона 94

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

И. М. Тронский. Язык Гомера 100

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Г. Ф. Благова (Москва). Первый год издания журнала «Советская тюркология» 115

Рецензии

Е. Курилович (Краков). *Э. А. Макаев.* Структура слова в индоевропейских и германских языках 122
Р. Я. Удлер (Кишинев). *М. А. Бородина.* Современный литературный ретороманский язык Швейцарии 127
З. У. Блягоз (Майкоп). *У. С. Зеков.* Система склонения в адыгейском языке 131
А. П. Володин (Ленинград). *D. St. Worth.* Dictionary of Western Kamchadal 134

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 137

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, В. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (отв. секретарь), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

В. М. ЖИРМУНСКИЙ

СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ «ПРОТОГЕРМАНСКИЙ» ЯЗЫК? *

Сравнительно-историческая грамматика генетически родственных языков сумела в форме так называемой «ареальной лингвистики» приложить к доисторическим отношениям результаты лингвогеографических исследований современных диалектов. Соответственно этому мы понимаем сейчас под диалектом не замкнутую ветвь праязыка, отпочковавшуюся, как полагает Шлейхер, от общего древа и развивавшуюся по своим самостоятельным спонтанным законам.

Диалекты — это социально-исторические образования, возникшие в определенных реальных условиях общественной жизни, в постоянном взаимодействии с другими, соседними родственными диалектами в процессе дифференциации и интеграции, смешения и выравнивания, а также в результате влияния посторонних субстратов, суперстратов и адстратов.

На лингвистической карте диалекты отграничиваются не статической совокупностью совпадающих и связанных между собою признаков данной языковой «ветви», восходящей к исходному гипотетическому единству некоего «праязыка», в изоглоссами отдельных языковых явлений фонетического, грамматического и лексического порядка. Эти изоглоссы могут совпадать между собой, образуя пучки, или расходиться на более или менее значительное расстояние, или же перекрещиваться между собой; нередко они обнаруживают различный путь развития даже для отдельных слов, относящихся к одному и тому же фонетическому и морфологическому ряду.

В истории какой-либо группы генетически родственных диалектов, в зависимости от конкретных социально-исторических условий, теоретически одинаково возможны тенденции схождения и расхождения (хотя последние фактически, по-видимому, преобладают). Поэтому наличие или отсутствие для такой группы общей «прафазы» (или языка-основы) представляет вопрос не догмата, а подлежащего историческому решению факта. Иными словами, нам надлежит еще установить, имеем ли мы дело в данном социально-историческом случае с языком-основой или с союзом родственных языков, или с различной степенью смешения и выравнивания. И действительно, в различных случаях мы получим разный ответ на этот вопрос. Попытаюсь показать это на двух примерах из истории германских языков.

I. Прагерманский всплывает, как своего рода мираж теории родословного древа, у В. Штрейтберга в его родословной таблице германских языков и диалектов. В этой схеме немецкий противостоит, как одна из ветвей западногерманского (следовательно: восточно-, северно- и западногерманские языки!) — англо-фризскому и в свою очередь распадает-

* Выступление на Пятой международной встрече лингвистов в Милане в сентябре 1969 г. [перевод с немецкого].

ся на нижненемецкий (нижнефранкский + нижнесаксонский) и верхненемецкий (средне- и южнонемецкий), разделяемые вторым перебоем согласных. Ту же схему мы находим у Хирта и Прокоша, а в новейшее время, вопреки общетеоретическим возражениям, «из практических соображений» у Г. Крае и даже у В. Пизани [1].

Между тем, как доказала рейнская диалектография (прежде всего — труды Т. Фрингса, которые остаются для меня и поныне неопровергнутыми, несмотря на работы Шютцайхеля), второй перебой согласных — это сравнительно новое развитие, лишь постепенно, ступенями проникавшее во франкский диалект из южнонемецкого в период от V до XV в. и вследствие этого разорвавшее на несколько частей старый племенной диалект франков. Поэтому второй перебой согласных не может служить критерием для членения древнегерманских племенных диалектов.

Нижнесаксонский, который привязывают к нижнефранкскому и включают в состав немецкого в качестве нижненемецкого диалекта, в древнейшую эпоху близко примыкал к фризскому и англосаксонскому. С исторической точки зрения все три относятся к ингвеонской группе западногерманских диалектов, тогда как франкский — к истеонской, а южнонемецкий — баварский и алеманнский (вместе с лангобардским) к эрминонской, если мы пожелаем отождествлять эти диалекты со старыми самоназваниями западногерманских племенных союзов, которые дошли до нас от Плиния и Тацита (современная нейтрально-географическая терминология предпочитает различить их по территориальному признаку — как германцев побережья Северного моря, Рейна — Везера и Эльбы.)

Характерные ингвеонизмы древнесаксонского, совпадавшие с фризским и англосаксонским, частично были перекрыты влиянием истеонского; это произошло в результате распространения саксов из прежнего района расселения у Северного моря, восточнее устья Эльбы, в первоначально истеонскую область между Эльбой и Везером в направлении к Рейну, а также в результате позднейшего, еще более интенсивного влияния франкского, после включения саксов в империю Каролингов (с конца VIII в.). В качестве ингвеонизмов древнесаксонского (иными словами — изоглосс, объединяющих древнесаксонский с древнефризским и англосаксонским) обычно указывают:

1. Выпадение носового перед спирантами (*fīf*, *gōs*, *ōther*).
2. Личные местоимения без конечного *-r* (*mī*, *me*; *thī*, *the*; *wī*, *we*).
3. Употребление личного местоимения 3-го лица ед. числа *hē* вместо *er*.
4. Отсутствие возвратного местоимения *sich*.
5. Отсутствие родовых окончаний в сильных прилагательных им. падежа ед. числа (муж., жен., ср. род. *gōd* «gut»).
6. Унифицированная форма мн. числа в настоящем времени индикатива *-að* (*singað*), настоящего времени конъюнктива и претерита *-n* (*sungun* и т. д.) и некот. др.

Все эти признаки наличествуют и по сей день в устных нижненемецких говорах, за исключением отдельных случаев, когда они были в различные эпохи вытеснены под влиянием верхненемецкого (так, уже в «Хелианде» *ander* вместо *ēther*).

Другие ингвеонские признаки, знакомые нам из фризского и англосаксонского, встречаются как характерные особенности языка древнесаксонской народности в деловых памятниках (податных списках и т. п.), иногда — в глоссах и именах собственных, прежде всего в ряде Мерзебургских письменных памятников X в. В том числе:

[1] «Introduzione alle studie delle lingue germaniche», Torino, 1962.

1. Переход $\bar{e}_1 > \bar{e}$ в противоположность обычному древнесаксонскому и древневерхненемецкому $\bar{a}$ (*gēr* «Jahr», *lēsun* «lasen»).

2. Палатализация краткого *a*, совпадающая с англосаксонским *æ* (*steph* «Stab»).

3. Лабиализация краткого *a* перед носовым (в именах собственных как *Thongmarus, Wigmon* и др.).

4. Палатализация *k* перед передними гласными (*kietel* «Kessel», в географических названиях, как *Celle — Westerkielu*, 1013; *bezi* — др.-сакс. *beki* «Bach») и др.

В противовес частично франкизованному древнесаксонскому в «Хелианде» можно обозначить этот древнейший языковой слой как ингвеонский «преддревнесаксонский». Тем самым отпадает иллюзорное единство «прагерманского» как языка-основы для нижненемецкого (т. е. нижнефранкского и нижнесаксонского) и верхненемецкого, а также его противопоставление англофризскому как двух ответвлений западногерманского. Единство немецкого языка заключается не в общем происхождении древненемецких диалектов от мнимого единства общенемецкого «праязыка»; напротив, оно возникло с образованием немецкого народа в длительном процессе исторического развития, как результат взаимного сближения генетически родственных западногерманских племенных диалектов иствеонов (франков) и эрминонов (баваров и алеманнов) в рамках меровингско-каролингского государства франков, к которым позднее присоединилась группа первоначально изолированных от них ингвеонских диалектов — древнесаксонский. В результате исторически обусловленных обстоятельств последнему не суждено было вырасти в самостоятельный национальный язык. Поэтому после XVI в. он становится территориальным диалектом национального немецкого языка.

II. Совсем по-иному обстоит дело с общими признаками германского, которые мы обычно выводим из генетического сравнения древнегерманских племенных диалектов. Их число так велико, что здесь я могу вкратце перечислить лишь самое важное из общеизвестного:

В области фонетики: 1. Сильный динамический акцент на первом или корневом слоге слова, с одинаковой тенденцией к редукции неударных слогов. Одинаковая трактовка приставок. Общегерманский характер древнейших закономерностей в окончаниях.

2. Первый (или германский) перебой согласных и закон Вернера.

3. Развитие *u* как опорного гласного перед слогообразующими сонорными $\underline{l}$, $\underline{r}$, $\underline{m}$, $\underline{n}$.

4. Нейтрализация противопоставления долгого и краткого *a* и *o* в $a — \bar{o}$; аналогично в дифтонгах *ai*, *ou*.

5. Ассимиляция $ei > \bar{i}$.

6. Выпадение носового перед *h* с компенсирующим удлинением гласного (*brāhta*).

В области морфологии: 7. Полная перестройка системы аблаута как основы формообразования сильных глаголов и отглагольного словообразования (по Хирту — «совершенно новая система», которая в своих основных чертах свойственна всем германским языкам).

В области грамматики: 8. Образование новой системы слабого именного склонения (из общеиндоевропейских предпосылок): муж., ср. род *in*/*an*, жен. род $\bar{o}n$ или $\bar{i}n$.

9. Образование новой системы склонения личных и указательных местоимений.

10. Образование двух новых германских типов склонения прилагательных (сильного и слабого), отличных от склонения существительных, и общие правила их синтаксического употребления.

11. Образование качественных наречий на *ō* (из аблатива **ōd*).

12. Образование общегерманской системы спряжения (времена, наклонения, инфинитив, причастия).

13. Образование слабого претерита с дентальным суффиксом.

14. Развитие группы претерито-презентных глаголов с новым составом форм и более широким лексическим охватом.

15. Систематизация и лексическое расширение каузативных глаголов на *-j* от сильных глаголов I—V класса.

16. Включение глагольного корня *wes-* «жить, обитать» в систему супплетивного глагола *es-* «быть».

17. Новообразование и расширение употребления словообразовательных аффиксов (*-ung/-ing*, *-nassus* и др.).

Лексические особенности общегерманского в противовес всем или некоторым другим индоевропейским языкам, которые здесь нет возможности перечислять.

Само собой разумеется, между германскими племенными диалектами существуют и важные различия, некоторые — очень древние (так, например, между готско-северным и западногерманским в образовании претерита ед. числа сильных глаголов или в отражениях гетероклитического склонения существительных: западногерм. **watar* — гот.-сев. **watōn* и т. п.). Речь идет здесь, как и в упомянутых выше примерах, главным образом о различном отборе и обобщении древнегерманских дублетных форм. Есть также немало случаев, когда германский обнаруживает общие признаки с тем или иным индоевропейским диалектом (например, с италийским и кельтским, с балтийским и славянским).

И все же число общих признаков германских племенных диалектов так велико и признаки эти так значительны и охватывают такой широкий круг лексики, что эти факты вынуждают нас постулировать в качестве исходного пункта позднейшей дифференциации этих диалектов единое языковое состояние с относительно незначительными диалектными различиями, т. е. германский язык-основу. В этом случае я не считал бы целесообразным говорить вместе с нашим уважаемым председателем (проф. В. Пизани. — *Ред.*) о «системе» или «пучке» изоглосс.

По моему мнению, изоглоссы это только географические пограничные линии между соседствующими диалектами (или языками), которые обозначают наличие или отсутствие какого-либо диалектного явления, и притом в форме атомизирующей изоляции, как это вообще присуще атомизму лингвогеографической методики. Диалект (или язык) это, напротив, единая система фонетических, грамматических и лексических признаков, которые охватывают, кроме этих отдельных, географически дифференцированных пограничных явлений, еще множество других и в своей совокупности характеризуют язык человеческого коллектива как исторически сложившееся и исторически обусловленное единство. Наличие отдельных географически устанавливаемых пограничных явлений, которые мы называем изоглоссами, не может служить основанием для отказа от понятия диалектного или языкового единства ни для современной лингвистической географии, ни для ареальной лингвистики. Эти понятия не следует, по-моему, приносить в жертву «фетишизму изоглосс», выросшему из атомистически-изолирующего метода лингвистической географии.

Языковое единство прагерманского (или праславянского и т. д.) представляется мне, однако, необходимо связанным с историческим наличием народности или скорее группы племен как носителя этого языка, которых мы обычно обозначаем как германцев (или славян), и одновременно с наличием территории (или «прародины»), которую они населяли в течение длительного периода времени.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

Э. А. МАКАЕВ

ПРОБЛЕМА ИНДОИРАНСКОГО ЯЗЫКОВОГО ЕДИНСТВА

Значительная близость иранских и индоарийских языков в их древнейшем состоянии (авестийский, древнеперсидский — с одной стороны, ведический, санскрит — с другой стороны) в области фонетики, грамматики, лексики не подлежит сомнению. Можно даже утверждать, что из всех известных индоевропейских языков столь значительная структурная близость характерна лишь для индоиранского ареала. Вполне естественной поэтому представляется постановка вопроса о причинах и факторах, повлекших за собой столь разительное сходство двух групп древних индоевропейских языков. В сравнительном индоевропейском языкознании безоговорочное признание получила гипотеза, впервые обоснованная Б. Дельбрюком [1], согласно которой индийские и иранские языки восходят к общему индоиранскому языку, с распадением которого образовались две группы: индийская и иранская и тем самым структурная общность обеих групп языков объяснялась сохранением или консервацией общих черт, восходящих к эпохе индоиранской общности. Не подлежит сомнению, что в основе этого объяснения лежала теория родословного древа индоевропейских языков А. Шлейхера, принимавшая наличие ряда ареальных праязыков, являющихся промежуточными звеньями между индоевропейским праязыком и отдельными индоевропейскими языками. В дальнейшем развитии сравнительного языкознания, особенно после появления и бурного развития диалектологии и лингвистической географии и тех выводов, которые были сделаны из методики данных дисциплин для сравнительной грамматики индоевропейских языков, существование таких ареальных праязыков, как итало-кельтский и балто-славянский, было поставлено под сомнение и стало предметом многочисленных и нескончаемых контроверз, не закончившихся и в настоящее время [2]. Однако гипотеза индоиранского праязыка на фоне той ожесточенной бури, которая была вызвана полемикой между сторонниками и противниками существования индоевропейских ареальных праязыков, продолжала свое безмятежное существование. Более того, в начале XX в. в монографии А. Мейе [3], она подверглась некоторой модификации и приняла тот канонический облик, который остался

---

[1] B. Delbrück, Einleitung in das Sprachstudium, Straßburg, 1888. Следует особо отметить, что Б. Дельбрюк уже в то время из всех ареальных индоевропейских языков единственно научно обоснованным признавал лишь существование индоиранского праязыка. В шестом издании той же книги (Leipzig, 1919, стр. 249). Б. Дельбрюк признавал индоиранское и балто-славянское контактирование.

[2] См. последнюю обобщающую работу по данному вопросу с обширной библиографией й: «Ancient Indo-European dialects», ed. by H. Birnbaum and J. Puhvel, Berkeley—Los Angeles, 1966; см. также: C. Marstrander, De l'unité italo-celtique, NTS, III, 1929, стр. 241—259; O. Szemerényi, The problem of Balto-Slav unity, «Kratylos», 2, 1957, стр. 97—123; С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М., 1961, стр. 27—37.

[3] A. Meillet, Les dialectes indo-européens, 2-me éd., Paris, 1950.

незыблемым на протяжении XX в., и именно в этом виде данная гипотеза представлена во всех руководствах и исследованиях по сравнительной грамматике индоевропейских языков. Для объективной оценки данной гипотезы в свете современного состояния сравнительного индоевропейского языкознания представляется необходимым подробно рассмотреть аргументацию А. Мейе в его уже упоминавшейся книге. А. Мейе указывал на то, что «из всех (индоевропейских. — *Э. М.*) диалектных групп, для которых следует постулировать эпоху языковой общности после распада общеиндоевропейского языка, индоиранская группа является единственной, реальность которой прямо засвидетельствована» [4]. Далее автор подчеркивал: «Следует определить, на основе каких данных устанавливается языковая общность диалектов после их выделения из индоевропейской общности; индоиранская группа обнаруживает целый ряд специфических особенностей, которые более нигде не встречаются и которые восходят к эпохе совместной жизни (носителей. — *Э. М.*) данной группы диалектов» [5]. К таким особенностям, которые более нигде не встречаются, А. Мейе относил следующие явления:

1. Общность имени для обозначения индийских и иранских народов: авест. *airya-*, др.-перс. *ariya-*, др.-инд. *ār(i)yas* («варнец»).

2. Гласные $\check{e}, \check{o}, \check{a} > \check{a}$ с вытекающей отсюда утерей качественного и, соответственно, развитием количественного чередования.

3. Переход $ə > i$.

4. Действие в этих языках (и только в них) закона Бартоломэ.

5. Проникновение форматива *-n-* в род. падеж мн. числа у гласных основ.

6. Форматив род. ~ отлож. падежей ед. числа у *ā-* основ — *āyā*.

7. Форматив 3-го лица императива *-u*: др.-инд. *bhāratu*, авест. *baraitu* «пусть несет».

8. Определенное парадигматическое тождество, например, в парадигме личного местоимения 1-го лица.

А. Мейе заключал: «Ни один индоевропейский язык не обнаруживает даже в отдаленной степени подобных тотальных совпадений, доходящих до мельчайших подробностей, как то имеет место в индоиранских языках» [6].

А. Тумб и Р. Хаушильд в своей «Грамматике древнеиндийского языка» [7], давая характеристику арийского праязыка, добавляют к вышеприведенному списку А. Мейе следующие явления:

9. Палатализация гуттуральных, как в языках группы «satəm».

10. Переход $s > š$ в позиции после *-i-*, *-u-*, *-r-*, *-k-*.

11. Форматив *-mi*, в 1-м лице ед. числа у тематических и атематических глаголов.

Прежде чем будут рассмотрены данные критерии, которые позволяют конституировать индоиранское языковое единство, необходимо остановиться на вопросе, какие признаки являются достаточным основанием для признания, что индийские и иранские языки восходят к единому индоиранскому праязыку. Это прежде всего — инновации, совместно пережитые индийскими и иранскими языками, характерные лишь для данных языков и не встречающиеся в других индоевропейских языках. Именно это имел в виду Мейе, перечисляя индоиранские специфические особенности, «которые более нигде не встречаются». Данный вопрос тес-

[4] Там же, стр. 24.
[5] Там же, стр. 25.
[6] Там же, стр. 25—27.
[7] A. Thumb, R. Hauschild. Handbuch des Sanskrit, I Tl., Heidelberg, 1958, стр. 56.

нейшим образом связан с проблемой инноваций и архаизмов в индоевропейских языках и их удельном весе при определении степени родства между различными индоевропейскими языками. Поскольку мне уже неоднократно приходилось останавливаться на этом вопросе [5], в данной работе я укажу на следующие моменты. При определении степени родства между отдельными индоевропейскими языками решающее значение принадлежит выявлению и н н о в а ц и й, общих для двух языков и не характерных для прочих индоевропейских языков. Однако этого еще недостаточно. Следует строго различать существенные и несущественные инновации при определении степени языкового родства.

Существенными инновациями следует считать такие инновации, которые охватывают лишь определенные языки или языковые группы и не распространяются на другие языки или ареалы. Так, переход *ē̆*, *ō̆*, *ā̆* > > *ă* в индоиранских языках является существенной инновацией, ибо синкретизм кратких и долгих кардинальных гласных в одной фонеме /ă/ из всех индоевропейских языков имел место только в индоиранских языках.

Несущественными инновациями следует считать такие инновации, которые охватывают многие (или большинство) индоевропейские языки, которые представляют большую важность при описании эволюции морфологического строя индоевропейских языков, но которые при определении степени родства между двумя языками или ареалами не представляют никакого интереса и не должны приниматься во внимание. Так, процесс тематизации основ был характерен не только для индоиранских, но для подавляющего большинства индоевропейских языков и поэтому данное явление не может использоваться как один из признаков, характеризующих постулируемое индоиранское языковое единство. Итак, при определении степени языкового родства между двумя языками или ареалами следует учитывать лишь существенные инновации.

Что касается а р х а и з м о в, то они позволяют определить дистанцию между общеиндоевропейским языком и определенным этапом развития какого-либо индоевропейского языка, но при определении степени родства между двумя языками они оказываются иррелевантными и не должны приниматься во внимание. В этом случае архаизмы оказываются функционально тождественными несущественным инновациям.

С данной трактовкой инноваций и архаизмов, которую мне приходилось неоднократно обосновывать в вышеупомянутых работах, интересно сравнить анализ инноваций и архаизмов, предложенный Е. Куриловичем, который указывает на то, что «это разделение на характерные и нехарактерные („банальные") черты переплетается с другим: рассматриваемые общие черты могут быть или новообразованиями, или архаизмами. Причем опять-таки на первый план выдвигаются новообразования как доказательство языковой общности, проявляющейся позитивно или действенно; наоборот, общие архаизмы, свидетельствующие об общем отсутствии изменений на соответствующем участке языковой системы, имеют негативный характер и соответственно с этим ценность лишь дополнительного аргумента». Далее Е. Курилович подчеркивает: «Нехарактерные факты, такие, как общность или сходство фонетических и грамматических изменений банального типа, а также аргументы негативного свойства, такие, как сохранение без изменений старых фонетических или грамматических черт, должны быть приняты во внимание только в другом плане как подтверждение решающих аргументов, какими являются

[5] См.: Э. А. М а к а е в. Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.— Л., 1964, стр. 25—33 и 56—57; е г о ж е, Именное склонение в ведическом и санскрите, ВЯ, 1964, 6, стр. 94—101; е г о ж е, Archaismen und Innovationen im Vedischen, сб. «Pratidānam. F. B. J. Kuipers», 's-Gravenhage, 1969, стр. 32—38.

общие характерные новообразования. Схематически это можно представить так:

	Новообразования	Архаизмы
Характерные	*a*	*b*
Банальные	*c*	*d*

Из этих четырех рубрик только *a* заключает основные аргументы для доказательства языковой общности. Две другие (*b*, *c*) не могут быть самостоятельными доказательствами, а *d* практически не имеет доказательной ценности (ср., например, сохранение названий чисел, родства, местоимений и т. п.)... Но и в области характерных новообразований (рубрика *a*) важность отдельных аргументов неодинакова. Конечно, трудно отдать предпочтение огульно либо фонетической эволюции, либо изменениям морфологического строя или функций. Чем более специфично и сложно изменение, тем более будет поражать соответствие между обнаруживающими его языками. Наиболее же характерны, по нашему мнению, те изменения, которые идентичны в обоих языках не только по своим конечным результатам, но и в промежуточных стадиях» [9].

После этих общих замечаний об инновациях и архаизмах можно перейти к рассмотрению списка Мейе и Тумба — Хаушильда.

1. Мейе указывает прежде всего на общее этническое обозначение древнейших представителей индийских и иранских племен — «арья» (авест. *airya*, вед. *ārya-*). Но, не говоря уже о неясности этимология данного этнонима [10], можно полагать на основе филологической интерпретации данного термина в древнеиндийском и в древнеиранском [11], что «арья» обозначал свободных, полноправных людей, возможно, чужеземцев-победителей, в отличие от ими покоренных, побежденных племен «дасью» [12]. Ср., например, в Ригведе: «ābhir víśvā abhiyújo víṣucir ārtāya víśó' va tārīr dāsīḥ». «С этими отгони все атаки, подчини арийцу дасийские племена» (Ṛgveda, Мандала VI, 25, 2) [13]. Таковыми могли быть представители родственных, но различных племен. Во всяком случае, общность этнического термина вовсе не означает, что древнеиндийские и древнеиранские племена должны непременно восходить к е д и н о м у арийскому племени (скорее всего такого племени вообще никогда не существовало, а «арья» было первоначально не этническим, а социальным термином), а индийские и иранские языки — к одному индоевропейскому диалекту, как то предельно ясно было сформулировано В. Бранденштайном: «Среди индоевропейских языков индоиранские языки образуют замкнутую группу, т. е. они находятся друг с другом в более тесном родстве, чем с каким-либо другим индоевропейским языком. Поэтому можно полагать, что данная группа языков восходит к о д н о м у индоевропейскому диалекту, хотя и не в смысле схемы родословного древа. Этот индоевропейский диалект принято называть „арийским", так как и в Индии, и в иранской области термин „арий-

---

[9] К. К у р и л о в и ч, О балто-славянском языковом единстве, ВСЯ, 3, М., 1958, стр. 15—16.

[10] M. M a y r h o f e r, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, I, Heidelberg, 1956, стр. 52, 79, где проводится литература вопроса.

[11] Из обширной литературы ср.: P. T h i e m e, Der Fremdling im Ṛgveda, Leipzig, 1938; е г о ж е, Mitra and Aryaman, New Haven (Connecticut), 1957; E. B e n v e n i s t e, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, I, Paris, 1969, стр. 369—373.

[12] Э. А. Г р а н т о в с к и й, Арии, «Советская историческая энциклопедия», I, М., 1961, стр. 726; В. И. А б а е в, Из истории слов, ВЯ, 1953, 2.

[13] Th. A u f r e c h t, Die Hymnen des Rigveda, Berlin, 1955; перевод дается по К. Гельднеру: K. G e l d n e r, Der Rig-Veda, I—III, Cambridge (Mass.), 1951; H. G r a s s m a n n, Wörterbuch zum Rig-Veda, Wiesbaden, 1955, стр. 185: «Ursprünglich der zu den Treuen gehörige; daher der Arier als Benennung der indischen (wie auch der iranischen) Stämme, im Gegensatze gegen die Fremden *dāsyu*».

«ский" применялся как самообозначение собственного народа» [14]. Мейе со свойственной ему точностью и осторожностью в выводах был несомненно более прав, когда он приходил к следующему заключению: «...индийский и иранский несомненно восходят к различным индоевропейским диалектам, а эпоха их совместного развития не привела к их полному слиянию. Изоглоссы падения *ə внутри слова и трактовка *uy являются водоразделом между индийским и иранским; кроме того, можно указать на определенные лексические совпадения, которые наблюдаются в иранских и славянских языках и в то же время не распространяются на древнеиндийский язык. Эти две языковые группы, хотя и развивались параллельно, продолжали все же оставаться в некоторой степени различными» [15].

2. Мейе далее указывает на переход и.-е. гласных *ĕ, *ă, *ŏ > индоир. *ă*. Данное явление бесспорно образует существенную инновацию (см. об этом выше), но оно будет рассмотрено ниже в связи с некоторыми особенностями подсистемы индоиранских согласных.

3. Далее Мейе перечисляет некоторые явления, которые заслуживают особого рассмотрения. Дело в том, что ряд этих явлений относится к несуществующим инновациям и тем самым они не обладают доказательной силой для обоснования гипотезы индоиранского языкового единства или арийского праязыка. Так, проникновение форматива *-n-* в род. падеж мн. числа у гласных основ характерно не только для древнеиндийского и древнеиранского, но и для германских языков [16]. Такой же несущественной инновацией является указание Мейе на форматив 3-го лица императива *-u*: др.-инд. *bhárātu*, авест. *baratu* «пусть несет», так как данное образование не ограничивается только индоиранским ареалом; так, в хетто-лувийских языках представлено то же образование: ср. др.-инд. *ástu*, авест. *astū*, хетт. *estu* (3-е лицо ед. числа императива глагола «быть»); др.-инд. *sántu*, др.-авест. *həntū*, хетт. *ašantu* (3-е лицо мн. числа глагола «быть») [17]. Возможно, форматив *-u* представлен также в готском языке; ср. гот. *bairadau*, *bairandau* «пусть несет, пусть несут» [18]. Что касается перехода *ə > i*, то данный процесс, как отмечает сам Мейе, не сближает, а разделяет индийские и иранские языки. Таким образом, из всех перечисленных Мейе особенностей действенную силу имеют лишь: № 2 — синкретизм гласных; № 4 — действие закона Бартоломэ; № 6 — форматив *-āyā* (у *ā*-основ); № 8 — известное тождество ряда парадигматических звеньев.

Те же значения относятся к списку Тумба — Хаушильда. И в данном случае речь идет о несущественных изоглоссах или инновациях. Так, пала-

[14] W. Brandenstein, M. Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden, 1964, стр. 1.

[15] A. Meillet, указ. соч., стр. 27. И. М. Оранский справедливо подчеркивает, что «предки ираноязычных племен, создавших Авесту, и предки индоязычных племен, создавших Веды, жили в глубокой древности вместе, на одной общей территории, говорили на близко родственных друг другу арийских диалектах» (И. М. Оранский, Введение в иранскую филологию, М., 1960, стр. 43), хотя автор, как и все исследователи до него, не сомневается в том, что «эти языки генетически родственны, что они восходят к одному общему источнику — арийскому языку-основе» (там же, стр. 48).

[16] «Сравнительная грамматика германских языков», III, М., 1963, стр. 182—183; A. Thumb, R. Hauschild, Handbuch des Sanskrit, II Tl., Heidelberg, 1959, стр. 48.

[17] H. Kronasser, Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen, Heidelberg, 1956, стр. 208—209; A. Kammenhuber, Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch, «Handbuch der Orientalistik, H, 2 — Altkleinasiatische Sprachen, Leiden — Köln, 1969, стр. 322—324; H. Reichelt, Awestisches Elementarbuch, 2 Aufl., Darmstadt, 1967, стр. 129—130; H. Kronasser, Etymologie der heithitischen Sprache, I, Wiesbaden, 1966, стр. 370 и сл.

[18] W. Krause, Handbuch des Gotischen, München, 1968, стр. 227; автор сопоставляет гот. *bairandau* с греч. φερέτω + частица *-u*.

тализация гуттуральных охватывает с большей или меньшей степенью интенсивности весьма значительный индоевропейский ареал группы «satəm»; естественно, что данная инновация не может быть использована как одно из доказательств существования общеарийского языка. То же замечание относится и к переходу $s > š$ в позиции после *-i-*, *-u-*, *-r-*, *-k-*. Данный переход характерен не только для индоиранских, но и для славянских, и, частично, для балтийских языков. Г. Бройер с полным основанием замечает, что «начало этого фонетического процесса, по всей вероятности, восходит еще к индоевропейской эпохе и должно рассматриваться как диалектная особенность определенного индоевропейского ареала на основании того, что при тех же условиях происходил переход $s > š$ в древнеиндийском, $s > š$ в древнеиранском, а также в остатках представленный переход $s > š$ в литовском (чаще всего после *-r-* и *-k-*) [19]. К тому же выводу приходит Г. Шевелов: «Все эти различия в диапазоне перехода ($s > š > x$.— *Э. М.*) и в его хронологии доказывают, что переход $s > x$ в славянском не был частью и фрагментом индоиранской эволюции, хотя бесспорное сходство в двух процессах развития является свидетельством общего отправного пункта в рамках диалектного индоевропейского языка и обнаруживает позднейшее иранское влияние на славянские языки» [20].

Наконец, то же замечание относится и к последнему пункту, к формативу *-mi* в 1-м лице ед. числа у тематических и атематических глаголов. Не говоря уже о том, что именно в данном случае обнаруживается существенное различие между древнеиндийским и древнеиранским (ср. др.-инд. *bhárāmi*, авест. *barāmi* «я несу», но др.-авест. *spasyā* «наблюдаю, смотрю»), проникновение формата *-mi* в тематические глаголы наблюдается не только в индоиранском ареале, но характерно также для армянского и кельтских языков (ср. арм. *berem* «я несу», др.-ирл. *benimm* «я ударяю», *gaibimm* «я беру»). Г. Льюис и Х. Педерсен замечают: «1-е лицо ед.числа настоящего простого имеет правильное окончание на *-u* в I спряжении в древнеирландском языке (*biru* „я несу", *tiagu* „иду", *arco* „ищу"... В среднеирландском языке преобладающим всюду стало окончание *-imm*. В сложных формах также употребляется простое окончание *-imm*)» [21].

Таким образом, большинство из рассмотренных изоглосс, приводимых Мейе и Тумбом — Хаушильдом для доказательства реального существования индоиранской языковой общности или арийского праязыка, на самом деле оказываются несущественными инновациями, которые в лучшем случае свидетельствуют о наличии определенных индоевропейских ареалов и более или менее интенсивных контактах между ними, но которые не дают основания для постулирования общеарийского языка.

Теперь рассмотрим бесспорно существенную инновацию, охватывающую индоиранский ареал, а именно переход и.-е. $\breve{e}$, $\breve{o}$, $\breve{a} > \breve{a}$ в данном ареале. Хотя переход $\breve{o} > \breve{a}$, а частично и $\breve{e} > a$ наблюдается в разных индоевропейских ареалах [22], не подлежит сомнению, что синкретизм кратких и долгих гласных $\breve{e}$, $\bar{o}$, $\bar{a} >$ индоир. *ā* четко очерчивает индоиранский ареал. В какой мере это является доказательством существования общеарийского языка? Исследователи обычно не связывали данное явление

---

[19] H. Brä u e r, Slavische Sprachwissenschaft, I, Berlin, 1961, стр. 178 (Sammlung Göschen).

[20] G. S h e v e l o v, A prehistory of Slavic, Heidelberg, 1964, стр. 129.

[21] Г. Л ь ю и с, Х. П е д е р с е н, Краткая сравнительная грамматика кельтских языков, М., 1954, стр. 332—333.

[22] Ср. $o > \breve{a}$ в индоир., герм., литов., частично в ари.: H. K r a h e, Indogermanische Sprachwissenschaft, I, Berlin, 1962, стр. 56; переход $\breve{e} > \breve{a}$ в тох. A: тох. A *ak*, тох. B *ek* «глаз», тох. A *kam*, тох. B *keme* «зуб» (W. K r a u s e, W. T h o m a s, Tocharisches Elementarbuch, I, Heidelberg, 1960, стр. 53).

с особенностями индоиранского консонантизма, а именно эта взаимозависимость чрезвычайно важна для поставленного вопроса. Дело в том, что имевшая место в предыстории индийских и иранских языков первая и вторая палатализация гуттуральных протекала неодинаково в данных языках. В протоиранском и.-е. $\acute{k}$, $\acute{g}$, $\acute{g}h > \acute{s}$, $\acute{z}$, $\acute{z}h$ (авест. *s*, *z*), т. е. I палатализация: ср. др.-инд. *śatám*, авест. *satəm* «сто»; др.-инд. *jānu*, авест. *zānu* «колено»; др.-инд. *himá-* «снег», авест. *zima-* «зима». Протоиранские *k*, *g*, *gh* перед $\check{e}$ и $\check{i} > \check{c}$, *j*, *jh* (авест. *č*, *ǰ*), т. е. II палатализация: ср. др.-инд. *sácate*, авест. *hačaiti* «следует», др.-инд. *jīvati*, авест. *jvatti* «живет»; др.-инд. *hánti*, авест. *jainti* «ударяет, убивает». Таким образом, в предыстории иранских языков фонемные ряды, возникшие в результате действия I и II палатализации, противопоставлены и не подвергаются синкретизму. В то же время в предыстории индийских языков контраст *ś*, *ź*, *źh* ~ ~ *č*, *ǰ*, *jh* сведен лишь к противопоставлению *ś* ~ *c*, в то время как др.-инд. *j* < *ź* и *ǰ*, а др.-инд. *h* < *źh* и *jh*. Не подлежит сомнению, что протоиранское состояние не только отлично от протоиндийского, но что он явно древнее протоиндийского состояния [23]. В то же время не приходится доказывать, что явления I и II палатализации древнее перехода $\check{e} > \check{a}$ в индоиранском ареале [24]. Следовательно, мы приходим к выводу, что переход $\acute{e}$, $\check{a}$, $\check{o} > \check{a}$ является общеарийским и протекает тождественно в индийских и в иранских языках, в то время как явления палатализации протекают различно в указанных языках и восходят к более древней эпохе. Итак, в начале, в предыстории индийских и иранских языков в подсистеме согласных обнаруживаются различия, а значительно позже в подсистеме гласных обнаруживаются тождественные явления. Как объяснить это парадоксальное явление?

Единственно приемлемым представляется объяснение, согласно которому вышеуказанные явления в области согласных (палатализации) и в области гласных (синкретизм) протекали параллельно, но независимо в индийских и иранских языках, обнаруживая и сходства, и различия. Это положение с неизбежностью подводит к заключению, что протоиндийский и протоиранский восходят к близкородственным, но различным индоевропейским диалектам (см. выше пояснение Мейе), а не к мнимому общеарийскому языку, ибо в данном случае мы ожидали бы строго логически обратного результата, а именно: в начале общеарийской эпохи должно было наблюдаться структурное сходство или тождество в подсистеме гласных и согласных, а в более позднее время должны были сказаться различия, которые неизбежно привели бы к распаду первоначального языкового единства [25]. Следовательно, коронный пример для постулирования эпохи индоиранской языковой общности, приводимый всеми исследователями,

---

[23] См.: K. Hoffman, Altiranisch, «Handbuch der Orientalistik», IV — Iranistik, Leiden — Köln, 1958, стр. 3.

[24] См.: K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Strassburg, 1904, стр. 165; «Der urar. Wandel von $\check{e}$ in $\check{a}$ war jünger als die Palatalisierung»; T. Burrow, The Sanskrit language, London, 1955, стр. 77; «The second palatalisation took place fairly early in the development of Indo-Iranian, before the change of $\check{e}$ to *a* which distinguishes this branch from the rest of Indo-European»; M. Mayrhofer, Sanskrit Grammatik, Berlin, 1965, стр. 21 (Sammlung Göschen).

[25] Н. Минисси указывает на то, что «слишком упрощенческая концепция доисторической эпохи уступила место другой, согласно которой развитие различных явлений, особенно в области согласных, характерных для индийских и иранских языков, было обусловлено действием тенденций, протекавших параллельно, но независимо». См.: N. Minissi, Il vocalismo del protoario, «Studia classica et orientalia Antonio Pagliaro oblata», III, Roma, 1969, стр. 119. В данной работе автор, на основе анализа индоиранских заимствований в финно-угорских языках, пытается определить относительную хронологию синкретизма $\check{e}$, $\check{o} > \check{a}$ в протоиндийском.

свидетельствует лишь о том, что протоиндийский и протоиранский восходят к различным индоевропейским диалектам. Но данный пример поучителен и в другом отношении: рефлексы I и II палатализации в иранском ареале показывают, что в данном случае протоиранское состояние оказывается более древним, чем протоиндийское состояние. Это подводит к вопросу о различиях между протоиндийским и протоиранским состоянием. Следует со всей определенностью подчеркнуть, что исследователи, описывая древнейшее состояние индийских и иранских языков, слишком большое внимание уделяли чертам структурного сходства между данными группами языков, не придавая особого значения структурным различиям между ними и чаще всего рассматривая иранское состояние как более позднее по сравнению с древнеиндийским состоянием. Тем самым общеарийский язык в значительной степени совпадал с протоведическим состоянием. Так, Тумб и Хаушильд прямо подчеркивали: «Древнеиндийский обнаруживает в фонетике и грамматике примечательные совпадения с древнеиранским. Эти общие черты оба диалекта, естественно, наследовали у общеарийского языка, который не представляет затруднения восстановить на основе сравнения обоих диалектов и который, впрочем, не очень сильно отличался от ведического наречия». В другом месте авторы указывают на то, что «иранский в большей степени отличается от общеарийского языка, чем древнеиндийский; так, для него характерен переход общеарийского *-s-* > *h* (ср. др.-инд. *sarva-*, авест. *haurva-*, др.-перс. *haruva-* «целый, весь»); затем спирантизация гуттуральных в группах согласных (ср. др.-инд. *putra-*, др.-перс., авест. *puθra* «сын»; др.-инд. *kṣatra-*, авест., др.-перс. *xšaθra* «господство»); затем утеря аспират (ср.-др.-инд., *iha*, где *h* < *dh*; ср. ср.-инд. *idha*, авест. (Гаты) *ida*, др.-перс. *idā* «здесь») и т. д.»[26]. С данными рассуждениями невозможно согласиться. Обратимся прежде всего к различиям, наблюдаемым в области фонетики, морфонологии и морфологии между древнеиранским и древнеиндийским.

I. **Фонетика.** 1. Выше уже указывалось на существенные различия в трактовке результатов I и II палатализации гуттуральных в протоиндийском и в протоиранском, при этом подчеркивалось, что иранское состояние является более древним.

2. Различные рефлексы и.-е. группы **d²d*: иран. (младоавест.) *dazdi*, др.-инд. *dehí* «дай» < и.-е. **de-d²dhi* < **de-d-dhi*. Х. Райхельт отмечает, что в плане относительной хронологии исчезновение *-d-* является более поздним феноменом, чем переход *s*, *z* > *š*, *ž* после *i*, *u* [27].

3. Различные рефлексы и.-е. группы **tt* > *t²t*: авест. (Гаты) *vōīsiā*, др.-инд. *véttha* «ты знаешь», младоавест. *čistiš*, др.-инд. *cittíh* «мысль, размышление» [28].

4. Переход *s* > *h* в иранском: др.-инд. *sarva-*, авест. *haurva-* «целый, весь».

5. Деаспирация и.-е. **bh*, *dh*, *gh*: младоавест. *brātā*, др.-инд. *bhrā́tā* «брат», авест. (Гаты) *var²daitī*, др.-инд. *várdhati* «он увеличивает», младоавест. *garəmō* «жаркий», др.-инд. *gharmá-* «жара» [29].

6. Спирантизация глухих аспирированных смычных: **ph*, **th*, **kh* > иран. *f*, *θ*, *x*: младоавест. *safəm*, др.-инд. *śaphám* «копыто», авест. (Гаты) *dadāθā*, др.-инд. *dadā́tha* «ты дал», младоавест. *xumba-*, др.-инд. *kumbhá-* < < **khumbha* «горшок» [30].

---

[26] A. Thumb, R. Hauschild, Handbuch des Sanskrit, I, стр. 55—56.
[27] H. Reichelt, указ. соч., стр. 36—37.
[28] Там же, стр. 38.
[29] Там же, стр. 40—43.
[30] Там же.

7. Различные рефлексы и.-е. группы $*k\hat{p}(k^{u}\hat{p})$ и $*\hat{k}\hat{p}$: авест. *xšaya-* «господствовать», др.-инд. *kṣaya-* «господствовать» $<$ $*k\hat{p}$; авест. *šaēiti*, др.-инд. *kṣéti* «он живет». К. Гоффман отмечает, что в древнеиндийском отмечается синкретизм и.-е. $k\hat{p}$ и $*\hat{k}\hat{p} > k\dot{s}$, в то время как в иранском и.-е. $k\hat{p} > k\check{s}$, а и.-е. $\hat{k}\hat{p} > \check{s}$ [31].

8. Различная трактовка *-ə-* внутри слова в индийском и в иранском (см. об этом замечание Мейе выше); отмечается отсутствие *-ə-* в иранском при наличии *-ə-* в древнеиндийском; ср. др.-инд. *drávi̯aṇas-*, авест. *draonah-* «владение», др.-инд. *vṛṇīté*, авест. *vərᵊntē* «он выбирает», др.-инд. *duhitā́*, авест. (Гаты) *dugᵊdā* «дочь» [32].

9. Различная трактовка и.-е. $*\underset{\circ}{r}$ и $*\underset{\circ}{l}$ в индийском и в иранском: др.-инд. *ír*, *úr* авест. *ar*; др.-инд. *puri*, авест. *paraoš* «много»; др.-инд. *bhúrati*, младоавест. *ava-baraiti* «низвергается» [33].

10. Явление эпентезы в иранском (с разновидностями: *i*-эпентеза: авест. *mainyav-*, др.-инд. *manyáv-* «дух»; авест. *maiδya-*, др.-инд. *mádhya-* «середина, средний»; *u*-эпентеза: младоавест. *pouru-*, др.-инд. *purú-* «многий, обильный») [34], что сближает иранский с греческим, кельтским, частично с армянским, при отсутствии эпентезы в древнеиндийском.

II. Морфонология. 11. Существенно различная трактовка внутреннего и внешнего сандхи в иранском и в индийском. Так, Х. Райхельт отмечает: «В авестийском акцентно самостоятельные слова пишутся отдельно, при этом, за немногими исключениями, для них характерна фонетическая форма начала и исхода предложения» [35]. Принципиально иную картину дает сандхи в древнеиндийском [36].

12. Фундаментальные различия акцентной структуры в иранском и в индийском. Е. Курилович, подводя итоги своим разысканиям в области древнеиранской акцентной системы, приходит к следующему выводу: «Судьба древних конечных элементов в среднеиранском обычно объясняется ранней фиксацией ударения на предконечном слоге. Эта просодическая особенность присуща также армянскому языку, который является индоевропейским языком, граничащим с иранским ареалом. В другом месте мы пытались доказать древний характер этого просодического переворота, возводя его к эпохе, предшествующей авестийской и древнеперсидской письменной традиции» [37].

III. Грамматика. К. Гоффман, давая в своем обзоре весьма внушительный перечень морфологических различий в иранском и в индийском, указывает на то, что «во многих случаях древнеиранский, особенно, естественно, гатический авестийский, сохранил древние черты, утерянные в ведическом» [38]. К таким различиям и архаизмам он относит следующие явления.

13. Форматив *-sa* (2-е лицо ед. числа презенса медиума вторичного окончания) в иранском в отличие от форматива *-thās* (то же окончание) в древнеиндийском. Е. Курилович и К. Уоткинс полагают, что форматив *-sa* в иран-

[31] K. Hoffman, указ. соч., стр. 3.
[32] Там же, стр. 2.
[33] Там же.
[34] H. Reichelt, Awestisches Elementarbuch, 2-te Aufl., Darmstadt 1967, стр. 77.
[35] Там же, стр. 86.
[36] J. Wackernagel, Altindische Grammatik, I, Göttingen, 1957, стр. 301—343; спорный вопрос об индоевропейских основах сандхи рассматривается в работах: Э. А. Макаев, Язык древнейших рунических надписей, М., 1965, стр. 92—95; его же, Структура слова в индоевропейских и в германских языках, М., 1970, стр. 260—262.
[37] J. Kuryłowicz, L'accentuation en vieil iranien, «Indo-Iranica. Mélanges présentés à G. Morgenstierne», Wiesbaden, 1964, стр. 103.
[38] K. Hoffman, указ. соч., стр. 14.

ском, соответствующий -σο в греческом и *-a-za* в готском, является инновацией данных языков, в которых древний форматив того же окончания оказался вытесненным на основании пропорциональной аналогии: *-t*: *-to* = *-s*: *-so* [39]. К. Уоткинс полагает, что форматив *-thās* также является преобразованием более древней формы, но древнеиндийский продолжает сохранять в *-thās* < *-tha* + *as* архаизм [40]. Весьма примечательно, что К. Гоффман, рассматривая данное явление, видел единственную возможность его объяснения в приятии диалектных различий уже в самом общеарийском языке: «Известные отклонения от ведического являются следствием наличия в арийском праязыке диалектных различий» [41]. Тумб и Хаушильд предпочитают варьирование формативов **thēs* ~ **so* приписать индоевропейскому праязыку, предполагая, что *-so*, утвердившееся в иранском и греческом и элиминированное в древнеиндийском, было закреплено за тематическими глаголами [42]. Ниже я вернусь к этому вопросу.

14. Форматив *-āi* (< и.-е. *-ōi*) дат. падежа ед. числа: младоавест. *ahurāi* «богу»; ср. др.-инд. форматив *-āya*: *devā́ya* «богу» [43].

15. Форматив им. падежа мн. числа *n*-основ ср. рода в иранском представлен двумя вариантами: а) *-ānī*, б) *ān*; авест. (Гаты) *nāmə̄nī* (вед. *nāmāni*) ~ *nāmąn* [44].

16. Примечательно в иранском сохранение архаического гетероклитического склонения; ср. авест. *hvarə̄* < **súu̯ar*, вед. *svár* «солнце», род. падеж ед. числа авест. (Гаты) *xᵛə̄ng* < **suu̯áns* [45].

17. Примечательными архаизмами являются в иранском форматив *-āuš* в им. падеже ед. числа *u*-основ: др.-перс. *dahyāuš* «страна», а также парадигма иранского *pita*, др.-перс. *pitā*, «отец», дат. падеж ед. числа младоавест. *fᵉδroi* < **fϑrai* < и.-е. **ptr-éi̯* [46].

18. К. Гоффман [47] отмечает наличие весьма значительного количества архаических образований в иранской системе глагольной парадигматики, например, формы императива авест. (Гаты) *zdī* < и.-е. *zdhi*; ср. вед. *edhí* «будь»; ср. перфект авест. (Гаты) *vaoxmā* < **u̯a-u̯k-ma*, вед. *ūcima* «мы сказали»; ср. форматив *-ā*, и.-е. **-ō* в 1-м лице ед. числа тематических глаголов; ср. авест. *maⁱnya* «я думаю» (об обобщении *-mi* у тематических и атематических глаголов в древнеиндийском см. выше); ср. форматив 3-го лица мн. числа вторичного окончания имперфекта авест. *-at* < и.-е. **n̥t* (в ведическом *-ur*); ср. авест. *dadet*, вед. *adadhur* «они поставили». М. Лойман отмечает, что *-ur* является ведической инновацией [48]. Кроме того, К. Хоффман отмечает ряд примечательных архаизмов в иранском в области словообразования и синтаксиса [49].

Рассмотренные суммарно различия в области фонетики, морфонологии и грамматики, наблюдающиеся между индийским и иранским ареалами, не являются, конечно, во всех отношениях единообразными; бесспорно,

---

[39] J. Kuryłovicz, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg 1964, стр. 59.

[40] C. Watkins, Indogermanische Grammatik, III, 1, Heidelberg, 1969, стр. 129 и 135.

[41] K. Hoffman, указ. соч., стр. 14.

[42] A. Thumb, R. Hauschild, указ. соч., стр. 207.

[43] H. Reichelt, Awestisches Elementarbuch, стр. 169; K. Hoffman, указ. соч., стр. 14.

[44] K. Hoffmann, указ. соч., стр. 15.

[45] Там же.

[46] F. R. J. Kuiper, Notes on Vedic noun-inflexion, Amsterdam, 1942, стр. 21 и 36; K. Hoffman, указ. соч., стр. 15.

[47] K. Hoffman, указ. соч., стр. 16.

[48] M. Leumann, Morphologische Neuerungen im altindischen Verbalsystem, Amsterdam, 1952, стр. 27: «ai. *adadur* ist eine Neuerung».

[49] K. Hoffman, указ. соч., стр. 17—18.

ряд образований представляет иранскую инновацию, возникшую в эпоху раздельного существования обоих ареалов; ряд ведических образований представляет явные архаизмы; наконец, ряд образований в равной степени может рассматриваться как архаизмы и в ведическом, и в иранском. Но не подлежит никакому сомнению, что все вышеприведенные различия в своей совокупности не могут быть приписаны общеарийскому языку. Это оказывается возможным лишь в том случае, если общеиранское состояние рассматривать как язык, состоящий из ряда диалектов. Выше уже приводилось положение К. Гоффмана: «Известные отклонения от ведического являются следствием наличия в арийском праязыке диалектных различий». Есть еще одна возможность все вышеуказанные различия между иранским и индийским возвести к общеарийскому языку, именно в том случае, если, как это делают некоторые исследователи, общеарийское состояние рассматривать как состояние, почти тождественное общеиндоевропейскому состоянию; ср. например, замечание Х. Райхельта (в отношении консонантизма): «Звуковой строй общеарийского языка во всем существенном идентичен общеиндоевропейскому звуковому строю» [50]. Но и в том, и в другом случае, понятие общеарийского языка становится бессодержательным, ибо, если арийский праязык был пронизан диалектными различиями, если в нем были представлены диалекты, то в таком случае приходится восстанавливать его предшествующие формы, когда он еще был единообразным, но только это позволяет и заставляет два родственных языка возводить к единому источнику. Если древнеиранский и древнеиндийский возводятся к общеарийскому состоянию, в котором они отображались как пучки диалектных изоглосс, то в таком случае какой смысл имеет реконструкция общеарийского состояния? Ведь тогда общеарийское состояние это — не что иное, как совокупность протоиранского и протоиндийского с сохранением всех их различий. В том случае, если общеарийское состояние приравнивается общеиндоевропейскому состоянию, элиминируются различия двух состояний и общеарийский язык теряет свой raison d'être. Нельзя не заметить, что все вышеупомянутые исследователи слишком большое внимание уделяли чертам структурного сходства между протоиранским и протоиндийским, лишь попутно отмечая их различия. Следует полагать, что в дальнейшем предстоит большая работа именно в этом направлении, при этом задачей первостепенной важности явится внутренняя реконструкция иранских и индийских языков, которая позволит протоиранский и протоиндийский на основе строгой процедуры непосредственно возводить к определенному ареалу общеиндоевропейского языка, минуя общеарийское состояние как не отвечающее строгим требованиям методики сравнительного языкознания.

Совсем в другой плоскости лежат такие явления, как наличие известного количества стилевых и метрических особенностей и формул, типологически, а в некоторых случаях и формально тождественных в отдельных частях Авесты и Ригведы. Именно эти особенности, неоднократно отмечавшиеся исследователями, в последнее время были удобно систематизированы в работах Ж. Дюшен-Гильмена, Б. Шлерата и Р. Шмитта [51].

Данные стилевые и метрические корреспонденции между Авестой и Ригведой были использованы многими исследователями в качестве одного

---

[50] H. Reichelt, указ. соч., стр. 36: «Der ar. Lautbestand ist im wesentlichen derselbe wie der idg.».

[51] J. Duchesne-Guillemin, L'étude de l'iranien ancien, «Kratylos», VII, 1, 1962, стр. 33—35; B. Schlerath, Das Königtum im Rig- und Atharvaveda, Wiesbaden, 1960, стр. 129 и сл.; R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit, Wiesbaden, 1967; см. также сб.: «Indogermanische Dichtersprache», hrsg. von R. Schmitt, Darmstadt, 1968.

из наиболее доказательных аргументов в пользу реального существования индоиранского языкового единства. Так, Мейе отмечал: «Если существуют подобные совпадения в деталях (между иранским и индийским. — *Э. М.*), то само собой разумеется, что системы двух языковых групп должны быть схожими и в целом; и действительно, на основе существующих фрагментов текстов была создана грамматика древнеиранского языка с помощью грамматики санскрита. И, как это часто повторяли, простое применение некоторых правил фонетических или морфологических корреспонденций позволяло трансформировать с максимальным приближением к точности определенный отрезок Авесты в отрезок на ведическом наречии и наоборот» [52]. Т. Барроу подчеркивает, что «представляется вполне возможным обнаружить метрические отрезки в древнейшей части Авесты, которые лишь при помощи фонетической субституции на основе установленных корреспонденций могут быть переведены на понятный санскрит» [53]. Тумб и Хаушильд указывали на то, что «тесные связи между иранским и индийским языками лучше всего можно проиллюстрировать тем, что при соблюдении звуковых законов целые предложения Авесты звук за звуком и слово в слово могут быть транспонированы на язык ведических гимнов, как то было продемонстрировано Джексоном, Бартоломэ и Милльсом, и что эти предложения можно перевести с помощью древнеиндийской грамматики и словаря» [54]. И. М. Оранский также подчеркивает, что «даже синтаксические конструкции языка Авесты и ведического санскрита настолько близки, что, применяя известные фонетические корреспонденции, можно в ряде случаев переводить с языка Авесты на ведический санскрит и обратно целые фразы, слово за словом» [55]. Р. Шмитт заявлял: «С другой стороны, имеются также такие соответствия, но на этот раз преимущественно из области фразеологии, которые, хотя они и восходят к эпохе до разделения общеиндоевропейского на отдельные языки, все же не настолько древни, чтобы их можно было приписать общеиндоевропейскому языку. Я имею в виду многочисленные индоиранские, особенно авестийско-ведические соответствия, которые определенно восходят к эпохе общеарийского языка, но не к общеиндоевропейской эпохе». Тот же автор считал возможным несколькими строчками ниже заявить следующее: «Как известно, на заре иранистики исследователи шли так далеко, что даже пытались перевести более или менее крупные авестийские фрагменты на псевдоведическое наречие» [56]. В какой мере оправдает себя подобная процедура?

Нет основания сомневаться в наличии известного количества сходных в стилевом и метрическом отношении фрагментов и формул в Гатах Авесты и в Ригведе [57]. Однако материал, собранный в вышеупомянутом обзоре Ж. Дюшен-Гильмена, непреложно свидетельствует о том, что в этих сходных фрагментах и формулах легко можно обнаружить два слоя.

1. Сходные авестийские и ведические формулы, восходящие к общеиндоевропейской эпохе и, следовательно, выступающие как реликты или архаизмы в Авесте и в Ригведе. Так, авест. *mąϑrəm taš-* (Гаты, 29,7) ~ ведич. *tašṭā́n mántrān* (Ṛgveda I, 67, 4) «творить (дословно: строить) заклинание» находит параллели и в других индоевропейских языках, например, в германских; ср. др.-исл. *ljóða-smiðr* «поэт», т. е. дословно: «кузнец магических напевов». В другом месте мне приходилось указывать

[52] A. Meillet. указ. соч., стр. 27.
[53] T. Burrow, The Sanskrit language, London, 1955, стр. 4.
[54] A. Thumb, R. Hauschild, Handbuch des Sanskrit, I, Heidelberg, 1958, стр. 56—57.
[55] И. М. Оранский, Введение в иранскую филологию, М., 1960, стр. 48.
[56] R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit, Wiesbaden, 1967, стр. 4.
[57] См.: H. Humbach, Die Gathas des Zarathustra, I—II, Heidelberg, 1959.

на то, что «др.-исл. *ljoða amiðr* „поэт" является не расширением исходного значения, а реликтом общеиндоевропейского обозначения поэтического ремесла; ср. использование в древнеиндийском и в древнеиранском глагола *taks* (*taš*) „строить" для обозначения поэтического ремесла» [58].

2. Сходные формулы, которые могут быть использованы лишь в плане общей типологии языка, так как они, как эпическое достояние, могут встречаться, и действительно встречаются во многих индоевропейских и иносистемных языках. Так, один из первых примеров, приводимых Дюшен-Гильменом, авест. *daēvā vīspąghō* (Y. 32, 3) ~ ведич. *víśve devāḥ* «все боги» является примером подобного типологического схождения; у многих народов в древности, в эпоху политеизма, обращение ко всем богам (или богиням) было обычным ритуалом; ср. в греч. τοῖς θεοῖς ἔυχομαι πᾶσι καὶ πάσαις «заклинать всех богов» [59]. Ср. в «Эдде» «Senn vóro æsir | allir á þingi | oc ásynior allar á málii» (Þrym. 14, 1—2) «Тут же собрались все боги (=асы) на вече, а все богини на совещание» [60]. Таким образом, для определения общего индоиранского фонда сходных авестийских и ведических фрагментов и формул необходимо прежде всего элиминировать два вышеупомянутых пласта: здесь предстоит еще кропотливая работа со стороны компаративистов, иранистов, индологов и фольклористов. Авестийско-ведические схождения действительно имели место, ибо протоиранский и протоиндийский были близкородственными индоевропейскими диалектами, находившимися долгое время в теснейшем географическом и культурном контакте, во взаимном обмене духовными ценностями, что не могло не привести, наряду с консервацией общего обоим диалектам индоевропейского наследия, к появлению целого ряда общих инноваций, в том числе и в области поэтической техники и лексики, поэтической фразеологии и эпических формул. Представляется, что только в этом смысле следует интерпретировать и использовать сходные авестийские и ведические фрагменты и формулы, а перекодирование авестийских фрагментов в ведические и обратно может использоваться как технический прием для разграничения того, что является собственно достоянием интенсивных индийско-иранских контактов и что должно быть отнесено к вышеупомянутым двум пластам.

Все вышесказанное позволяет прийти к следующим выводам: в развитии индийских и иранских языков древнейшего периода, более или менее адекватно отраженном в Ригведе и в отдельных частях Авесты, вне всякого сомнения имело место наличие значительного количества общих обеим группам языков структурных и парадигматических особенностей всех уровней языка. Эти общие структурные признаки, характерные для индийских и иранских языков, объясняются не их происхождением из постулируемого общеарийского праязыка, а прежде всего тем, что протоиранский и протоиндийский были искони двумя близкородственными индоевропейскими диалектами, каждый из которых унаследовал от общеиндоевропейской эпохи большое количество общих обоим диалектам структурных признаков. Кроме того, эти диалекты в течение весьма длительного времени находились, после распада индоевропейской языковой общности и образования ряда ареалов, в теснейшем географическом и культурном контакте, входя в один и тот же языковый ареал, что имело

[58] З. А. Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970, стр. 31.
[59] H. Liddel, R. Scott, H. Jones, Greek-English lexicon, Oxford, 1961, стр. 791.
[60] «Edda. Die Lieder des Codex Regius», hrsg. von G. Neckel I, Dritte, umgearbeitete Aufl. von H. Kuhn, Heidelberg, 1962, стр. 113.

следствием появление ряда общих обоим диалектам инноваций; именно к таким общим инновациям относится синкретизм кратких и долгих гласных в индийских и в иранских языках, что в свою очередь имело следствием развертывание количественного чередования, как бы компенсировавшего процессы синкретизма в подсистеме гласных, и ряд других явлений. Данные инновации являются результатом параллельного, но независимого развития индийских и иранских языков, ибо только этим обстоятельством можно объяснить наличие весьма значительного количества расхождений между индийскими и иранскими языками, многие из которых относятся к доисторической эпохе не могут быть объяснены лишь как позднейшие инновации, характерные только для иранских или только для индийских языков. Наконец, не исключена возможность, что некоторые из черт структурного сходства и различия, присущих древнеиндийскому и древнеиранскому языкам, явились следствием того, что на протяжении своей длительной истории протоиндийские и протоиранские диалекты неоднократно втягивались в различные, а подчас и тождественные зоны контактирования, а возможно, и в разные языковые союзы. Именно в этом и только в этом смысле следует понимать проблему индоиранского языкового единства.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Л. ЛИГЕТИ

АЛТАЙСКАЯ ТЕОРИЯ И ЛЕКСИКОСТАТИСТИКА

Некоторое время тому назад Дж. Клоусон, видный тюрколог и активный противник алтайской теории, опубликовал на страницах журнала «Вопросы языкознания» интересную статью, располагающую к дискуссии. В этой статье он предпринял новое наступление против алтайской теории, стремясь доказать посредством метода лексикостатистики, что эта теория ошибочна, неприемлема и должна быть отвергнута [1].

Воспользовавшись неоднократными приглашениями редакции журнала участвовать в дискуссии, я кратко изложу мои взгляды на алтайскую теорию; мои замечания будут сгруппированы вокруг вопросов, которые прямо или косвенно были поставлены в полемической статье Дж. Клоусона.

Что можно ожидать с точки зрения алтайской теории от двух списков, каждый на сотню слов (см. табл. 3, стр. 33—37), которые используются глоттохронологией и лексикостатистикой и включают в себя обозначения понятий, рассматриваемые как наиболее важные единицы «основного словаря»?

Однако прежде чем приступать к обсуждению этой проблемы, необходимо поднять более общий вопрос: возможно ли по существу добиться прояснения алтайской теории на основе только лишь показаний лексики?

Нет сомнений в том, что эти показания чрезвычайно ценны, однако, я не думаю, что при разрешении вопроса об алтайском родстве можно было бы опираться только лишь на лексические данные, оставляя в стороне исследование фонетики и грамматических категорий. Не думаю, что этот метод был бы обоснованным для изучения любого другого языкового родства [2]; тем более представляется мне этот метод недопустимым, когда речь идет о родстве алтайских языков. Нас убеждает в этом история алтаистических исследований.

Здесь достаточно будет напомнить об одном лишь вопросе, относящемся к области фонетики, а именно о ротацизме и ламбдаизме. В самом деле, давнему мнению З. Гомбоца была противопоставлена теория, выдвинутая Г. Рамстедтом, — зетацизм и сигматизм, как ее обычно называют. Благодаря непрестанным усилиям его последователей теория Рамстедта получила почти всеобщее распространение, хотя мнение меньшинства всегда имело видных представителей. Судьба этого вопроса, по всей видимости принадлежащего к числу чисто фонетических, для Рамстедта была предопределена его проалтаистическим воззрением, для которого он искал, и не однажды, в зетацизме довод в пользу алтайского языкового родства.

---

[1] Дж. Клоусон, Лексикостатистическая оценка алтайской теории, ВЯ, 1969, 5 (далее ссылки на эту статью даются в тексте).

[2] Ср.: A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, Paris, 1958, стр. 46.

С точки зрения фонетической возможны обе экспликации. Однако если воспринять давнюю теорию Гомбоца (впрочем, позднее Гомбоц сам склонился к объяснению Рамстедта), по которой *r* и *l* восходят к первичным *z* и *š*, создается следующая картина.

В прототюркском установятся таким образом *z* и *š*; эти же согласные в чувашском представлены в определенных позициях посредством *r* и *l*. Это ясно и просто. Трудности начинаются, когда пытаются объяснить *r* и *l* в монгольском (не говоря уже о тунгусо-маньчжурских языках). Можно в крайнем случае допустить, что *r* и *l* в монгольском развились независимо от чувашского, но тогда необходимо спросить себя: почему они представлены именно в тех словах, которые есть и в тюркских языках, точнее — в чувашском? Монгольские слова, содержащие *r* и *l*, были заимствованы из чувашского, — отвечали на этот вопрос пятьдесят лет тому назад. Тем не менее, эта гипотеза, которая к тому же не была подкреплена какими-либо хронологическими или географическими данными, могла бы иметь серьезные последствия для алтайской теории. В самом деле, эта гипотеза затрагивает, по всей видимости, наиболее древний слой тюркских и монгольских корреспонденций. В то же время нельзя предположить, что монгольский заимствовал из чувашского (точнее — из предка чувашского языка) только слова с *r* и *l*; если же исключить эти слова, то почти не останется лексического материала, на которой могло бы опираться тюрко-монгольское и тем более — алтайское языковое родство. Вот почему эта гипотеза не имела последствий и была оставлена даже ее автором [3].

Если же вместе с Рамстедтом отправляться от идеи, что *r* и *l* первичны в тюркском, то следовало бы заключить, что чувашский удерживал без изменений прототюркское состояние и что в других тюркских языках *z* и *š* были инновациями. Состояние монгольского языка не требовало бы комментариев в этом случае, поскольку в нем сохранено состояние протомонгольское, и ничто не мешает нам возводить прототюркские и протомонгольские *r* и *l* к предшествующей алтайской общности.

Как видим, экспликация Рамстедта гениальна с точки зрения алтайской и вполне удовлетворительна с точки зрения монгольской.

С точки же зрения тюркской здесь возникает трудность, которую обычно обходят молчанием и которую на деле совсем нелегко устранить. Как произошло, что именно чувашский язык, более других проницаемый для лингвистических изменений, мог сохранить состояние языка первобытного? И что же представляли собой тогда другие тюркские языки, «сверхстойкие к изменениям» (стр. 31), через которые могли бы проникать инновации? Дж. Клоусон не высказался с полной ясностью по этому вопросу, но думается, что не под влиянием воззрений Рамстедта он возводит точку отсчета этой лингвистической эволюции к эпохе, отдаленной на 1500 лет в прошлое (см. стр. 30), — просто исследователю, учитывающему статистические данные, трудно было бы поступить иначе.

Для того, кто все же принял подобную гипотезу, кто полагает, что монгольские (под вопросом) слова не есть след генетических отношений, но происходят от заимствования из тюркского, для того остается выбирать между двумя возможностями. Или он признает, что в прототюркском исходной точкой было *r* и *l* и что заимствование восходит к столь отдаленной эпохе, когда не существовало еще тюркского языка с *z* и *š*. Или же он высказывается за решение смелое, но отнюдь не абсурдное: оно состоит в признании того, что монгольский первоначально не обладая ни *z*, ни *š* (в интервокальной позиции и в конце слога), впоследствии ассимилировал эти согласные в своей собственной фонетической системе, заменив

[3] См.: J. N é m e t h, Die türkisch-mongolische Hypothese, ZDMG, LXVI, 4, 1912.

их посредством *r* и *l*. Эта гипотеза, таким образом, пытается объяснить состояние монгольского языка независимо от чувашского и от общего алтайского языка. Развернутая дискуссия по вопросу о ротацизме и ламбдаизме, зетацизме и сигматизме выходит за рамки настоящей статьи [4].

Обратимся теперь к лексике. Здесь проблема имеет две стороны. Речь идет о том, чтобы, во-первых, определить, позволяют ли представленные материалы и аргументы, выдвинутые Дж. Клоусоном, взять под сомнение алтайскую теорию; во-вторых, пригоден ли сам по себе метод лексикостатистики для подтверждения или, наоборот, опровержения языкового родства.

Каковы материалы, которые даются в табл. 3 двумя списками, каждый на три столбца (стр. 33—37)?

Материалы тюркского списка табл. 3 представляют в основном состояние тысячелетней давности. Наиболее древние из доступных в настоящее время письменных источников позволяют увидеть состояние, которое, будучи далеким от гомогенности, свидетельствует о достаточно развитой диалектной дифференциации. Самые древние источники монгольского языка имеют возраст 700 лет. В «Сокровенном сказании» XIII в. представлен иной диалект, нежели в «Muqaddimat al-adab» XV в. Маньчжурский, в котором довольно слабо отражается тунгусо-маньчжурская языковая группа, имеет письменные памятники трехсотлетней давности, к тому же они написаны мертвым, рано исчезнувшим литературным языком.

Таким образом, точка отсчета для этих трех языков располагается на различных хронологических уровнях, каждый список табл. 3 состоит из гетерогенных элементов, и, следовательно, выводы, основанные на них, уже à priori заключают в себе ошибочные начала. Однако за неимением лучшего обратимся к этой точке отсчета, поскольку она позволяет нам прийти, оперируя большой временной глубиной, к надлежащей аппроксимации.

В своих замечаниях, касающихся двух перечней табл. 3 — «Диагностические единицы» и «Дополнительные единицы», мы следовали обычному приему лексикостатистических исследований, т. е. оставлялся в стороне вопрос, имеет ли соответствие генетический характер или же оно восходит к заимствованию [5]. (Этот прием оправдан тем более, что в настоящее время мы далеки от возможности с уверенностью различать генетические корреспонденции и заимствования в алтайских языках.) Равным образом, мы не принимаем во внимание монгольские элементы в киргизском, якутском и тюркских языках Сибири, поскольку эти элементы не имеют отношения к сущности алтайской гипотезы. Однако мы учитываем монгольские элементы в маньчжурском, поскольку они имеют особое значение для прояснения хронологии языковых взаимоотношений.

Сравнивая в глоттохронологических исследованиях лексику двух или нескольких родственных языков, сопоставляют не этимологические соответствия, но слова, которые в современном «основном словаре» занимают идентичное с семантической точки зрения место. Иначе говоря, эквивалентом английскому *head* «голова» в немецком является не *Haupt*, которое корреспондирует с ним в плане этимологическом, но *Kopf* [6]. Очевидно,

[4] Из работ, посвященных этому вопросу в недавнее время, см.: O. Pritsak, Der «Rhotazismus» und «Lambdazismus», UAJb, 35, D, 1964; T. Tekin, Zetacism and Sigmatism in Proto-Turkic, «Acta Orient. Hung.», XXII, 1, 1969 (здесь же см. библиографию).

[5] D. H. Hymes, Lexicostatistics so far, «Current anthropology», January, 1966, стр. 30: «Статистический метод не проводит различий между сходством, обусловленным заимствованием, и сходством, обусловленным генетическими отношениями».

[6] См.: D. H. Hymes, указ. соч., стр. 18.

что выводы, сделанные на основе глоттохронологических сопоставлений, с точки зрения генетических отношений не имеют ценности (как если бы сравнивать франц. *tête*, латинск. *caput* и русск. *голова* для установления родства или неродства этих трех языков или шире — языков индоевропейских).

Тем не менее мы не отказываемся признать полезность глоттохронологических сопоставлений лексики на основе предложенных двух перечней табл. 3. Необходимо, однако, прежде всего рассмотреть истинные этимологические отношения, которые скрываются за глоттохронологическими различиями слов из этих перечней. Такой подход тем более мотивирован, что в алтаистических исследованиях еще не решен вопрос о том, каковы были те элементы алтайских языков, которые входили в этимологическое гнездо слов.

Приведем несколько примеров этимологических соответствий, которые противопоставляются корреспонденциям глоттохронологическим.

Тюрк. *kögüz* «грудь, женская грудь», неотделимое от тюрк. (чагат.) *kökräk* «сердце», «грудь», *köksäk* «грудь», *kökül* «кормить грудью», имеет в качестве этимологического соответствия в монгольском, наряду с *če'eji* (№7 в табл. 3), *kökö* «женская грудь», а в тунгусо-маньчжурских языках: маньчж. *xuxun* «1. грудь, 2. молоко», удэгейск., орочск. *uku*, негид. *ukun*, эвенк. *ukun*, *χukun*, *χukuχu*, эвен. *uken*. Зато прямым соответствием монг. *če'eji* «грудная клетка», *čegeji* «грудь, верхняя часть груди» (оно противопоставляется тюрк. *kögöz* в табл. 3) в маньчжурском является *čejen* «верхняя часть грудной клетки», но не *tunggen*, как в табл. 3. Правда, алтаисты придерживаются на этот счет другого мнения — по их мнению, монг. *čegeji* этимологически принадлежит к маньчж. *tunggen* «грудь» вместе с нанайск., ульчск. *tungg(n)*, орокск. *tungg*, орочск., удэгейск. *tingg*, негид., эвен. *tingen*, солонск. *tingg(n)*, эвенк. *tingen*[7].

Тюрк. *topraq* «земля, прах» (№12 в табл. 3) имеет отношение к *tobraγ*, *toburaγ*, *toγuraγ* в монгольском (ср. монг. *köser*, *široi*, с которыми его сопоставлял Дж. Клоусон). К этой же группе принадлежат, естественно, тюрк. *tōz*, монг. *toγosun*, *to'osun*.

Тюрк. *qïl* «волос» (№ 21а), чуваш. *χələχ* в монгольском этимологически соответствует *kilγasun* «конский волос, грива; 2. струна (инструмента)», *kilqasun* «волос (из хвоста лошади)» [ср. монг. (*h*)*üsü* в табл. 3]. В свою очередь, монг. *hüsün*, *üsün* «волос, волосы (на теле)» (дагурск. *χuzu*, Ts.*χüs*; могорск. *fuDzg*) совершенно регулярно соотносится с маньчж. *funiyexe* «волос», читается *funexe*, *funixe* < **funirxe*[8].

Монг. *γar* «рука» следует этимологически связывать с тюрк. *qar* «верхняя часть руки; плечо»[9] (ср. тюрк. *elig* — № 22 в табл. 3).

Монг. *teri'ün* «голова, глава; начало» (№ 23) не позволяет рассматривать его этимологически вместе с маньчж. *uju*, как это делается в табл. 3 (ср. чжурчжэньск. *uju* то же, чжурчжэньск. *UǰU*, чжурчжэньск. XII в. *uǰu*[10]), его следует связывать с маньчж. *deribun* «начало, возникновение». В этой же группе с точки зрения семантической нужно коснуться интересного слова в монгольском: в «Сокровенном сказании» *heki* «голова», монг. *ekin* «начало, источник», дагурск., Ts. *χe'k'i'n* «голова», Iv. *χekí*,

[7] См.: G. J. Ramstedt, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, I — Lautlehre, Helsinki, 1957, стр. 120.

[8] Другие параллели см.: P. Pelliot, Les mots à *h* initiale, aujourd'hui amuie, dans le mongol des XIIIe et XIVe siècles, JA, 206, avril — juin, 1925, стр. 234; Г. Д. Санжеев, Маньчжуро-монгольские языковые параллели, «Изв. АН СССР». VII серия — Отделение гуманитарных наук, 8—9, 1930, стр. 702.

[9] Другие параллели к этому слову см.: G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 48.

[10] См.: L. Ligeti, Mots de civilisation de Haute Asie en transcription chinoise, «Acta Orient. Hung.», I, 1950, стр. 158. Корреспонденции в других тунгусо-маньчжурских языках см.: G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 125.

могорск. *χgGi* «источник, начало». Это монгольское слово этимологически следует соотнести с маньчж. *fexi* «1. голова, мозг, ум; 2. память». Другие (сомнительные) корреспонденции этого слова — тюрк. *mäγi, mäγi, bäγi* «мозг (головной)»; венг. *fej, fő*, фин. *pää* [11].

Тюрк. *büγüz* «рог» (*müγüz, müǰüz, mügüz, miγiz*) связывается с монг. *mögeresün* «хрящ», калм. *mörsn* «хрящ, род хряща или рога» (ср., однако, монг. *eber* «рог» — № 25 в табл. 3.). В тунгусо-маньчжурских языках имеются еще: маньчж. *buge* «хрящ»; нанайск., ульчск., оронск. *buksę*, орочск. *uskē*, эвенк. *buksękēn* «хрящ» [12].

Тюрк. *tïz* (*dïz*) «колено» (венг. *térd*) этимологически сопоставляется не с монг. *ebüdüg* (№ 26 в табл. 3), но с монг. *türei* «голенище сапога», калм. *türē* то же. Другие эквиваленты — маньчж. *ture* «голенище сапога», нанайск. *turęxsę* «голенище», ульчск. *tinękse*, оронск. *turęskę*, орочск. *tïjaksa*, эвенк. *tïrękse, turgj, tïrēktę, tïrēkše, tïrēxę* [13]. Маньчж. *buxi* «бедро, ляжка» (*buxi adame ie-* «сидеть колено к колену»), сопоставленное в табл. 3 с тюрк. *tïz*, этимологически соотносимо с монг. *böke* «выпуклый край у игральных бабок», калм. *bōk*[6] «тыльная часть у игральных бабок», бурят. *büxē* «задняя часть туловища, зад» [14]. Здесь необходимо считаться с монг. *bögse* «зад», калм. *bōks*[6] «задние ноги (у животного), зад» и т. д.; см. также маньчж. *buksu* «нижняя часть спины, часть ниже крестца».

От монг. *qabar, qamar* «нос» (№ 37) неотделимы монг. *qangsiyar, qongsiyar* «верхняя часть носа, переносица; рыло» так же, как маньчж. *qangsari, qangsiri* «переносица» [15].

Монг. *huja'ur, ïǰaγur* «корень; происхождение», противопоставляемое в табл. 3 маньчж. *da* (№ 41), этимологически соответствует маньчж. *fuǰuri* [16].

Тюрк. *qum* «песок» (этимологически несовместимое с монг. *elesün* — ср. № 42 в табл. 3) соотносится с монг. *qumaγ, qumaki* «мелкий песок, песчинка; водяная пыль», калм. *xum* «песок, пыль», *xumᵖ G* «пылинка, песчинка». Тюрк. *qaγïr* «песок», также противопоставляемое монг. *elesün* в табл. 3, соответствует монг. *qayir* «гравий; крупный песок, речная галька».

Тюрк. *uruγ* «семья», в табл. 3 стоящее рядом с монг. *hüre* (№ 43), соотносится с *uruq* «родня, члены семьи» в «Сокровенном сказании», с монг. *uruγ* «семья, родственники по женской линии; род, племя». Вместе с тем монг. *hüre* «семя» (монг. *ür-e* «плод; потомок»), противопоставленное в табл. 3 маньчж. *use* «зернышко», связывается с маньчж. *furi, fursun* «молодые побеги зерновых, цветов и других растений; прирост, развитие», нанайск. *puril* «дети», ульчск. *purul*, негид. *χuil*, солонск. *uril*, эвен. *χurgl* [17].

Монг. *kelen* «язык» (№ 50), вместе с *kele-* «говорить, уведомлять, сказать, высказывать, называть», *kelegei* «немой; заика», имеет этимологические эквиваленты в тюркском *käläǰi, käläčä* «слово», чуваш. *kala-* «говорить, сказать» и в маньчжурском *xele, xelen* «способность говорить; лазутчик» [18].

---

[11] См.: Lakó Gy., A magyar szókészlet finn-ugor elemei, I, стр. 188—189.
[12] См.: Г. Д. Санжеев, указ. соч., стр. 688; G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 120.
[13] См.: G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 112.
[14] См.: Г. Д. Санжеев, указ. соч., стр. 688.
[15] См.: там же, стр. 675.
[16] См.: P. Pelliot, указ. соч., стр. 223; Г. Д. Санжеев, указ. соч., стр. 703.
[17] См.: G. J. Ramstedt, Ein anlautender stimmloser Labial in der mongolisch-türkischen Ursprache, JSFOu, XXXII, 1916—1920; P. Pelliot, указ. соч., стр. 237.
[18] См.: C. J. Ramstedt, Einführung..., I, стр. 47. Финно-угорские и самодийские эквиваленты для этого слова см.: Ligeti L., Mongolos jövevényszavaink kérdése, NyK, XLIX, 1—3, 1935, стр. 258—259.

У монг. *modun* «дерево» (№ 52) имеется непогрешимое этимологическое соответствие маньчж. *moo* (=*mɔ̄*); ср. также нанайск., ульчск., орокск., орочск. *mɔ̄*, эвенк. *mɔ̄*, солонск., негид., эвен. *mo* [19].

Тюрк. *ar-qa* «спина (анат.)» (в табл. 3 — № Д3), вместе с *ar-t* (то же), этимологически связывается с монг. *aru* «спина; тыл». Их другие корреспонденции — удэгейск. *aka* «спина», орокск. *atta*, орочск. *akka*, негид. *ajkan*, эвенк. *arkan*, эвен. *arkan* [20].

Маньчж. *futa* «веревка, шнур», противопоставленное в табл. 3 монг. *de'esün*, *degesün* (Д 25), имеет регулярное соответствие в монг. *hutasun*, *utasun* «шнур, нить, шелковинка» [21].

Монг. *hon*, *on* «год», которое в табл. 3 стоит рядом с маньчж. *aniya* (Д35), имеет этимологический эквивалент маньчж. *fon* «время; пора» [22].

Монг. (Сокр. сказ.) *köbši-* (правильно: *köši-*) «замерзать», монг. *kösi-* «окоченеть (о трупе)», калм. *köš-* «окоченеть, оцепенеть; плохо чувствовать себя, быть нездоровым; протянуть ноги», из которых первое противопоставлено в табл. 3 тюрк. *tong-* (Д82), на деле эквивалентно тюрк. *köš-ül-*. В то же время приводимое здесь маньчж. *beye-* «замерзать» (ср. еще нанайск. *beje-* «замерзать», ульчск. *bei-*, негид. *begi-*, эвенк. *begī-*, *beī*, эвен. *begi-*, *bel*) этимологически соответствует монг. *begere-* «замерзнуть совершенно, окоченеть», калм. *bĕr-* «окоченеть (от холода)» [23].

Любой язык может выражать понятия в соответствии со своим «основным словарем» не только при помощи слов с неизменными основами, но также посредством производных слов. Производные могут быть очень древними, в известных случаях они могут зарождаться в периоды, непосредственно следующие за отделением языка от языка-основы. Когда рассматривается «основной словарь» языка-основы, ясно, что эти производные не принимаются в счет, а привлекаются только слова, от которых они произошли.

Позволю себе отобрать несколько примеров из финно-угорских языков, которые с точки зрения алтайской теории гораздо более показательны, чем языки индоевропейские. Венг. *csillag* «звезда» явным образом принадлежит к «основному словарю» венгерского языка, хотя здесь речь идет о производном от глагола *csill-og* «светиться». С точки зрения финноугроведческой все же здесь «основным» может считаться только глагол, потому что существительное в этой форме и с этим значением было образовано уже во время независимого существования венгерского языка [24]. То же самое можно сказать и о венг. *vörös* «красный», прилагательном, образованном от существительного *vér* «кровь» [25].

В табл. 3, составленной Дж. Клоусоном, содержится большое число подобных примеров. Взятый в отдельности каждый пример корректен, возражать против его включения в «основной словарь» тюркского языка (соответственно: монгольского, маньчжурского) нельзя. Однако с точки зрения алтайской основной лексики (если только таковая когда-нибудь существовала) в отношении большей части случаев, конечно, нельзя сказать, что это слова корневые. Вот несколько примеров.

[19] Было бы странно, если бы народы, живущие в лесистых областях, заимствовали слово «лес» из китайского (см.: Д ж. К л о у с о н, указ. соч., стр. 40); к тому же такое заимствование было бы недопустимо и с точки зрения фонетической, ибо конечный согласный кит. *mu*, др.-кит. *muok* исчез только после IX в.

[20] См.: G. J. R a m s t e d t, Einführung..., I, стр. 139.

[21] См.: P. P e l l i o t, указ. соч., стр. 225; Г. Д. С а н ж е е в, указ. соч., стр. 702.

[22] См.: P. P e l l i o t, указ. соч., стр. 218; Г. Д. С а н ж е е в, указ. соч., стр. 702; G. J. R a m s t e d t, Einführung..., I, стр. 53.

[23] См.: G. J. R a m s t e d t, Einführung..., I, стр. 91.

[24] См.: L a k ó G y., указ. соч., I, стр. 117—118.

[25] См.: B á r c z i G., Magyar szófejtő szótár, Budapest, 1941, стр. 342.

Тюрк. *aγïz* «рот» (№ 33) — производное от слова *aγ* «отверстие» [26]. Равным образом и монг. *aman* «рот» является производным; оно неотделимо от монг. *angγa-yi-* «открываться, раскрываться», калм. *aŋg°* «держать открытым (рот)», *aŋgă-* «быть открытым, иметь щель». То же самое можно сказать о маньчж. *angγa* «рот, зев, отверстие, дыра, щель» (с маньчж. *angγa* следует еще связать чжурчжэньск. Мин *amga*, чжурчжэньск. Цзинь *amγa* [27]); тунгусо-маньчжурские корреспонденции: нанайск., ульчск., удэгейск., орокск. *angma*, орочск., солонск. *amma*, нанайск., орокск., негид., эвен. *amnga*, эвенк. *amnga* [28].

Производным является тюрк. *soγuq* «холодный» (№ 58), корневое слово которого — *soγ-* «быть холодным» — соответствует следующим словам: монг. *soγi-* <**soγï-* «позволить лошади остыть», маньчж. *soγo-* «привязывать потных лошадей или волов, чтобы они остыли» [29].

Производным является тюрк. *yašïl* «зеленый» (№ 62); его корневое слово — *yaš* «свежий, молодой». Монгольское слово соединило в себе два этих значения: *noqo'an* «свежая зеленая трава» в «Сокровенном сказании», монг. *noγoγan* «зелень, зелень травы, трава, овощ; зеленый»; калм. *noγān* «трава, зеленый». С монгольским словом непосредственно связывается маньчж. *niowanggiyan* «1. зеленый; зелено-голубой, голубой». Орфографически маньчжурское слово соответствует произношению *ńoaŋgian*, которое восходит к форме *ńoa-γān*; ср. в чжурчжэньском формы *ÑO-gian* и *ńongian*.

Тюрк. производное *qïzïl* «красный» (№ 67) восходит к глаголу *qïz-* «быть раскаленным, пламенеть, алеть» [30]. Точно так же производным является монг. *hula'an*, *ulaγan* «красный», ср. *hulal-* «быть раскаленным докрасна» в «Сокровенном сказании», монг. *ula-yi-* «становиться жгуче красным, краснеть; созревать (о плодах, становящихся красными)»; калм. *ulă* «быть красным, становиться красным». Непосредственно с монгольским связываются маньчж. слова *fulaχôn* «коричневый с красноватым», *fulata* «с красными кругами под глазами; иметь красные глаза», *fulgiyan* «красный». Это последнее слово засвидетельствовано в чжурчжэньском не только в эпоху Мин, но и в эпоху Цзинь.

Производным является монг. *čaγaγan*, *čaγān*, в «Сокровенном сказании» *čaqa'an*, *čaqān*, «белый»; ср. в «Сокровенном сказании» *čayyi-* «становиться (белым) ясным», монг. *ča-yi-* «1. становиться белым, белеть; 2. бледнеть; седеть», калм. *tsă-* «становиться или быть белым, становиться или быть ясным». Непосредственно с монгольским связывается маньчж. *šanggiyan* «белый». Оно засвидетельствовано в чжурчжэньском (эпохи Мин) в форме *SA-gian*. Маньчжурская и чжурчжэньская формы восходят к *ča-γān* (изменение *š* < *č* в маньчжурском и чжурчжэньском подтверждается многочисленными примерами).

Производным является тюрк. *tolu*, *dolu* «полный» (№ 60); оно связывается с формами *tol-* «наполняться», *to-d-* «наполняться (о желудке)», *to-q* «сытый» < *to-* [31]. То же можно сказать о монг. *dü'üreng*, *dü'üren*, *düγüreng*, которые Дж. Клоусон приводит в параллель этому тюркскому слову;

---

[26] О финно-угорских эквивалентах этого слова см.: J. N é m e t h, Probleme der türkischen Urzeit, «Analecta orientalia memoriae A. Csoma de Kőrös dicata», I, Budapestini, 1942, стр. 70—71.

[27] «Acta Orient. Hung.», III, 3—4, 1953, стр. 227.

[28] См.: G. J. R a m s t e d t, Einführung..., I, стр. 140.

[29] См.: там же, стр. 88.

[30] См.: G. J. R a m s t e d t, Einführung..., I, стр. 112.

[31] См.: A. v. G a b a i n, Alttürkische Grammatik, Leipzig, 1950, стр. 74; C. B r o c k e l m a n n, Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, Lf. 1 —7, Leiden, 1951—1954, стр. 96.

ср. *dü'ür-* «быть полным» в «Сокровенном сказании», монг. *dügür-* «наполняться, быть наполненным».

Производным является тюрк. *qār* «снег» (Д 30); ср. у Махмуда Кашгарского *qa-* «снежная буря» [32]; точно так же *ča-sun* «снег» в монгольском увязывается с уже упоминавшимся глаголом *ča-yi-* «быть белым» [33]. Можно было бы увеличить перечень таких примеров.

Во втором перечне табл. 3 — «Дополнительные единицы» — также выделяются формы, снабженные побочными окончаниями. Эти формы, само собой разумеется, не могут быть зачислены (хотя бы и под вопросом) в «основной словарь» различных ветвей языков, тем более — в словарь предполагаемого алтайского языка-основы.

Таково тюрк. *birlä* «с; вместе» (Д74). Корневое слово во всяком случае — *bir* «один». По мнению Габен, это деепричастие от глагола *biril-* «объединяться»; употребляясь как послелог, оно имеет значение «с», «и», в форме же эллиптической (т. е. независимой), без предыдущего имени, оно обозначает «вместе» [34]. Броккельман полагал, что это слово образовалось в результате фузии *bir* «один» и *tlä* (деепричастия от глагола *il-* «присоединяться») [35]; *birlä* представляет собой образование, аналогичное таким, как *tünlä künlä* «день и ночь», *tangla* «утром», *yänilä* «снова», *qatla* «раз» и т. п. Тюрк. *birlä*, противопоставляемое Клоусоном монг. *qamtu*, точно соответствует монг. *nigen-e* «вместе, на том же месте», которое фигурирует уже в «Сокровенном сказании» в той же грамматической форме и в том же значении. Слово представляет собой форму *nigen* (*niken*), осложненную суффиксом датива-локатива. Маньчж. *emgi* «коллективно, вместе с, с» равным образом связывается с *emu* «один» и представляет собою не что иное, как сложение этого слова со словом *ergi* «сторона, бок». Кроме того, в маньчжурском есть образование, морфологически идентичное монгольскому *nigene*,— *emde* (<*emu-de*) «вместе с, с».

Тюрк. *godï* (Д66), в качестве послелога означающее «по направлению вниз» (эллиптически: «вниз»),— не что иное, как деепричастие от глагола *qod-* «класть» [36]. Монг. *dooro* представляет собой форму имени *doo*, снабженную падежным окончанием *-ro* (*-ra*, *-re*); ср. *doodu* «нижний; основа», *dooγur* «нижний, под». Тот же корень, имеющий при себе окончание директива *-γsi(-gsi)*, дал *dooγsi*. Второй компонент в маньчж. *feǰergi* (форма *feǰirge* — не более, чем ляпсус) «нижняя сторона, внизу» — слово *ergi* «сторона, направление». Маньчж. *feǰile* представляет собой форму *feǰi* «нижняя часть» (< **pergi*), снабженную архаическим окончанием локатива *-la*; это окончание сохранилось в маньчжурском только в наречиях: *dolo* «внутри, внутрь», *wala* «внизу» [37].

Тюрк. *örü* «вверх» — деепричастие от глагола *ör-* «подниматься» [38]. Форма *yoqaru*, приведенная в табл. 3 как синоним (Д71), представляет тот же тип образования с падежным окончанием, а именно — окончанием директива *-ru* (в известных случаях *-qaru*) [39]. Монг. *de'ere*, *dege-re* и *de'egši*, *dege-gsi* равным образом являются формами, осложненными показателями локатива и директива *-ra(-re)* и *-γsi(-gsi)*. Маньчж. *dergi* «вверх» — образование, по своему составу аналогичное *feǰergi*. Маньчж. *dele* «верхний, высший, главный» — всего лишь форма, оснащенная окончанием локатива.

[32] См.: C. Brockelmann, указ. соч., стр. 96.
[33] См.: G. J. Ramstedt, Einführung..., I, стр. 64.
[34] См.: A. v. Gabain, указ. соч., стр. 136.
[35] C. Brockelmann, указ. соч., стр. 182.
[36] См.: A. v. Gabain, указ. соч., стр. 137; C. Brockelmann, указ. соч., стр. 183.
[37] См.: J. Benzing, Die tungusischen Sprachen. Wiesbaden, 1956, стр. 84.
[38] См.: C. Brockelmann, указ. соч., стр. 167.
[39] См.: A. v. Gabain, указ. соч., стр. 140.

Здесь следует заметить, что корневые слова «основного словаря», обнаруживаемые в монгольском и в тунгусо-маньчжурских языках, идентичны.

Тюрк. *anta* «там» (Д70) и *bunta* «здесь» (Д67) — указательные местоимения *ol* и *bu* в локативном падеже [40]. То же самое наблюдается в монгольском: *ende* «здесь» — представляет собой *ene* «этот» в локативном падеже, *tende* «там» — *tere* «тот» в локативном падеже. Маньчж. *teredе* и *eredе* — устарелые формы локатива местоимений *tere* «тот» и *ere* «этот»; эти формы были заменены формами *tede* и *ede*.

Тюрк. *kim* «кто?» (№ 77), *qalï*, *qanta* «как?» (Д68), *qačan* «когда?» (Д72), *qanta*, *qanï* «где?» (Д73) и монг. *ken* «кто?» (№ 77), *ker* «как?» (Д68), *keli*, *kejiye* «когда?» (Д72), *qa'a* «где?» (Д73), *qamtu* «вместе с» (Д74) одинаково являются производными; их рассмотрение увело бы нас слишком глубоко в сопоставление алтайских языков [41].

Два перечня табл. 3, каждый по сотне слов, содержат единицы, которые в дальнейшем рассматриваются Дж. Клоусоном как исконные, поскольку слова, обозначающие первичные понятия, вероятно, составляли часть «основного словаря» во всех языках. Этот тезис неоспорим, если исходить из мысли, что приведенные в табл. 3 перечни слов могли бы войти в «основной словарь» известных языков. Нельзя, однако, вовсе не принимать во внимание хотя бы то положение, что основная лексика языков, развивавшихся независимо друг от друга, никогда не бывает идентичной лексике соответствующей праязыковой общности. Проиллюстрирую сказанное несколькими примерами из финно-угорских языков.

Перечень «диагностических единиц» в табл. 3 имеет в своем составе названия цветов — «белый», «черный», «красный», «желтый»; почему-то отсутствует «голубой»; из дополнительных цветов приведен «зеленый». В венгерском два из этих названий — «черный» и «белый» — имеют финно-угорское происхождение; на этом основании они включены в категорию корневых слов угорского праязыка; включение же этих венгерских слов в «основной словарь» финно-угорского праязыка требует более осторожного подхода [42]. Слово *vörös* «красный» является производным от существительного *vér* «кровь», и в этой форме оно уже не фигурирует в «основном словаре» финно-угорских языков. До IX в. венгерский язык заимствовал из тюркского языка типа древнего чувашского (протобулгарского или хазарского) слова *kék* «голубой» < *kök* (монг. *köke*) и *sárga* «желтый» < *šarïγ* (монг. *sira*) [43]. Слово *zöld* «зеленый» вошло в венгерский относительно поздно (некогда оно заменялось словом *kék* «голубой»), проникнув, вероятнее всего, из какого-то иранского языка (может быть, из языка ясов, ср. осет. *zäldä*) [44].

В так называемых алтайских языках картина такова: «черный» (в тюркском и в монгольском *qarangγu* «темный», безусловно, производное от *qara*), «голубой», «желтый» являются общими для тюркского и монгольского;

[40] См.: A. v. G a b a i n, указ. соч., стр. 93, 94.

[41] Об алтайских указательных местоимениях *e* и *te*, а также об указательных, вопросительных и неопределенных местоимениях **ga-*, **ke-*, **ya-*, **ye-* см.: G. J. R a m s t e d t, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, II — Formenlehre, Helsinki, 1952, стр. 74—81. Подробно см.: A. v. G a b a i n, указ. соч., стр. 99—103; N. P o p p e, Introduction to Mongolian comparative studies, Helsinki, 1955, стр. 225—231; J. B e n z i n g, указ. соч., стр. 112—115.

[42] См.: L a k ó G y., указ. соч., I, стр. 188, 192.

[43] См.: Z. G o m b o c z, Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarische Sprache, Helsinki, 1912, стр. 91, 114 (MSFOu, XXX).

[44] См.: B á r c z i G., A magyar szókincs eredete, Budapest, 1951, стр. 54 (здесь оно фигурирует среди слов аланского происхождения). Необходимо заметить, что в алтайских языках, как и в некоторых языках американских индейцев, в «основной словарь» вошло, против ожидания, не «голубой», а «зеленый». См.: W. K o t w i c z, Contributions aux études altaïques, RO, VII (1929—1930), 1931, стр. 223—224.

«красный», «зеленый» — производные от различных для тюркского и монгольского образований, как и «белый» в монгольском; наконец, «белый» и «зеленый» являются общими для монгольского и маньчжурского.

Названия частей тела, несомненно, занимают важное место в «основном словаре» каждого языка. Нетрудно также уразуметь, что названия частей тела, признанные «диагностическими единицами», могут быть вторичного образования или даже быть заимствованными. В этом отношении нет нужды объяснять, как венгерский язык до IX в. заимствовал из тюркского имена *boka* «лодыжка», *gyomor* «желудок», *kar* «рука», *köldök* «пуп», *térd* «колено». Как, однако, случилось, что три из этих названий — «рука», «пуп» и «колено» — оказались в тюркской основной лексике (ср. в табл. № 22, 26, Д24)? Каким образом получается, что финно-угорский «основной словарь» располагает названием, по-видимому, тоже дифференцирующим («диагностическим»), *agyar* «клык», тогда как тюркский его не знает, хотя имеется безукоризненная тюрко-монгольская корреспонденция (тюрк. *azïγ* «клык» ~ монг. *araγa* «коренной зуб» ~ маньчж. *aryan* «зуб»)? Это явное противоречие объясняется тем, что «основной словарь» невозможно свести к некоему непреложному перечню непререкаемой подлинности; в действительности «основной словарь» может существенно различаться по языкам и в еще большей мере — по семьям языков. Это воззрение, впрочем, поддерживается представителями глоттохронологии и лексикостатистики [45].

Мы стремились показать, что этимологические соответствия из двух списков Дж. Клоусона позволяют обнаруживать чрезвычайно дифференцированное и богато разветвленное переплетение. Со своей стороны, пока что я не отваживаюсь делать выводы процентно-счетного порядка о большом числе таких соответствий. Приступить к рассмотрению этого вопроса предстоит будущим исследователям.

Вместе с тем можно сказать уже сейчас, что в свете многочисленных соответствий глоттохронологические разногласия и согласованности будут выглядеть совершенно по-новому.

Нет нужды вводить добавочную аргументацию с тем, чтобы показать, какую серьезную помощь может оказать нам глоттохронологический и лексикостатистический метод в изучении таких проблем, как хронология отделения османско-турецкого и азербайджанского языков или — в случае генетического родства — отделения тюркского и монгольского языков и мн. др. И все же представляется, что даже в этом случае сдержанность, проявленная Д. Хаймзом относительно использования глоттохронологического метода в целях генетических [46], была обоснованной. По существу этот метод не годится для доказательства родства или неродства алтайских языков.

Впрочем, неродство языков, на мой взгляд, чрезвычайно трудно доказать. Доказать можно только то, что два (или более) языка родственны и восходят к одной праязыковой общности. Такое доказательство может оказаться неудовлетворительным, оно может быть отвергнуто, и это критическое отношение может сохраняться довольно долго, пока более убедительная, безукоризненная аргументация не вынудит нас оставить свою критическую позицию.

---

[45] D. H. Hymes, указ. соч., стр. 7.

[46] Вот по существу вывод Д. Хаймза (указ. соч., стр. 19): «В принципе глоттохронология может быть применена только после того, как компаративный метод расчистит ей путь». И далее на стр. 31: «Спрашивается: „Может ли контрольный список на сто слов быть достаточным для исследуемых временных пластов глубокой древности?" Должно быть ясно, по-моему, что ответ будет положительным. Второй вопрос таков: *обеспечит ли подобный список доказательство генетических отношений глубокой древности* — и здесь зачастую ответ должен быть отрицательным».

Вопрос о родстве алтайских языков в течение более чем ста лет является предметом живого обсуждения; не раз оно приводило к накалу страстей, да и в наши дни полемика разгорается еще достаточно горячо. Точки зрения полярно противоположны: сторонники алтайского языкового родства восприняли априористическую точку зрения и отныне полагают излишним представлять новые доказательства; противники алтайского языкового родства замкнулись в неуклонном отрицании и относительно любых соответствий допускают только две возможности — «случайное соответствие» и «некорректное сближение».

В самом деле, родство, т.е. происхождение от одного общего алтайского языка языков тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских (не говоря уже о корейском, а также о других возможных отношениях) вплоть до наших дней еще не получило безукоризненного обоснования. Алтайская языковая общность не доказана так, как это сделано, например, в отношении языков индоевропейских или финно-угорских. Это может иметь две причины. Либо, действительно, так называемые алтайские языки не восходят к общему праязыку, и, следовательно, они не являются родственными. Либо, напротив, на деле они родственные языки, но их обличье, известное теперь (или же обличье более древнее), явилось результатом эволюции столь специальной и неравномерной, что их родство не может быть доказано сообразно известным моделям (индоевропейских, финно-угорских и т. д.), и ничто не указывает нам с достоверностью на путь, ведущий к праязыковой общности.

Если так называемые алтайские языки действительно родственны, то их родство может быть доказано только путем иррегулярным — таким же иррегулярным, каким было развитие этих языков; только этим путем будет произведено трудное, но иначе не осуществимое, распознание их родства.

Алтайские языки не располагают письменными источниками столь обильными и древними, как у индоевропейских языков. Письменная история алтайских языков совсем не так продолжительна, как у индоевропейских языков; не уравниваются эти языковые группы и в отношении степени дифференциации их многочисленных представителей. Алтайские языки в отношении своих ответвлений еще более бедны, чем языки финно-угорские; к тому же они рассеяны по огромной территории. Наконец, необходимо учитывать и то обстоятельство, занимающее отнюдь не последнее место, что эти языки и народы, которые говорят на них в течение двух тысячелетий (а, может быть, и дольше), постоянно контактировали между собой, как об этом свидетельствуют письменные источники. Эти контакты, взаимно обогащая алтайские языки, неизбежно нивелировали их возможное общее праязыковое наследие. Судя по историческим источникам, наиболее интенсивные взаимоотношения установились между тюрками и монголами, с одной стороны, а с другой — между монголами и тунгусо-маньчжурами.

Все эти затруднения с необыкновенной силой проявляются при изучении лексики. Каждый из так называемых алтайских языков широко использовал возможности, предоставлявшиеся в области внутреннего обновления лексики, и создал систему производства слов, которые образовывались на основе имевшейся корневой лексики. Изучение роли табу в ходе этого развития предпринималось неоднократно [47], однако проблема эта никогда не обсуждалась во всем ее объеме. Пока еще не удалось понять, почему и с каких пор в тюркском существует столько производных среди

[47] См. об этом: N. A. Baskakov, Vestiges de tabou et de totémisme dans les langues des peuples altaïques, «VIII Congrès International des anthropologues et des ethnologues», Moscou, 1968.

названий частей тела: *adaq* «нога» < *ad-* «шагать», *boγaz* «горло» < *boγ-* «сдавливать, быть сдавленным», *burun* «нос» < *bur-* «вдыхать, нюхать»; *yürāk* «сердце» < *yür-* «двигаться», *qaraq* «глаз» < *qara-* «смотреть», *tïrnaq* «ноготь» < *tïr-* «царапать» [48]. Интересно отметить, что в некоторых эскимосских диалектах названия частей тела табуированы [49]. На протяжении своего контактирования изучаемые языки передали и заимствовали значительное число слов (пропорции заимствований и отдач, разумеется, никогда не были идентичными). Заимствования не раз отодвигали элементы основной лексики на периферию языка, откуда они не замедляли исчезнуть. Этот процесс может быть проиллюстрирован современными примерами. Так, например, замечено, что из могольского исчезло множество древних монгольских слов — они уступили место своим таджикским эквивалентам, среди которых, помимо слов исконно иранских, выделяются лексемы тюркского или иного происхождения.

Нельзя, наконец, забывать, что на протяжении их долгой истории, которую невозможно выверить по письменным источникам, так называемые алтайские народы могли вступать в контакты, в соответствии с чем необходимо считаться с субстратом или суперстратом в их языках. Вопрос о языковом субстрате уже был поднят в применении к языкам тунгусо-маньчжурским [50]. Необходимо, кроме того, уделить совершенно особое внимание исчезнувшим палеоазиатским языкам. Следует считать, что, начиная с VI в. по меньшей мере, в районе истоков р. Енисея бытовали самодийские языки; их присутствие в этом районе подтверждается не только китайскими источниками, но и топонимическими материалами. Древняя история монгольского и маньчжурского языков в свою очередь не может быть воспроизведена без учета языка корейского.

Со своей стороны, я полагаю, что весьма значительное число соответствий, представляемых лексикой так называемых алтайских языков, в большинстве своем связано с заимствованием. При всем том следует остерегаться подходить к этой огромной теме с одной единственной меркой «заимствования». Заимствования не датируются одной и той же эпохой. Почти каждый значительный период контактов двухтысячелетней давности имел свой собственный лексический слой. Хронология (иногда — только относительная хронология) этих слоев заимствований могла бы быть установлена только в результате тщательных и неотступных исследований. Более древний и менее многочисленный из этих слоев, без сомнения, будет иметь в своем составе следы общей лексики алтайского праязыка — если только таковой существовал. Что же касается числовых размеров этого слоя, на этот счет лучше не заблуждаться. Позволю себе напомнить поучительный пример, приведенный П. Аалто: он показал, что число общих корреспонденций индоевропейского происхождения в языках шведском и греческом почти не превышает шестидесяти, причем и среди них некоторые слова трудны для распознавания, *см. ifjuwl̥ : perisi* «прошлый год» [51]. Если лексический материал этих двух языков сопоставить по спискам ста «диагностических единиц» и ста «дополнительных единиц», то на основе этого вряд ли представится возможность объективно судить о генетических отношениях шведского и греческого, не говоря уже об индоевропейском родстве. При учете насыщенной передвижениями истории алтайских язы-

[48] См.: Munkácsi B., Türkisch burun, KSz, XIV, 1914—1915, стр. 352; J. Németh, Probleme der türkischen Urzeit, стр. 72—73.

[49] См.: K. Bergsland, Is lexico-statistic dating valid?, «Proceedings of the XXXII. International congress of americanists. Copenhagen, 8—14 August 1956», Copenhagen, 1958, стр. 655—656.

[50] См.: Г. Д. Санжеев, указ. соч., стр. 707—708.

[51] P. Aalto, Uralisch und Altaisch, UAJb, 41, 1969, стр. 334

ков естественно, что лексикостатистическая таблица помогает обнаружить иррегулярность: именно в случае генетического родства различные алтайские языки дадут чрезвычайно низкий процент общих элементов алтайского «основного словаря» и чрезвычайно высокий процент элементов, относящихся к лексике после отделения языков.

На мой взгляд, ни лексикостатистика и ни глоттохронология определят будущее алтаистических исследований. И если даже в один прекрасный день мы будем вынуждены отказаться от гипотезы генетических отношений между так называемыми алтайскими языками, не будет никаких причин прекращать алтаистические исследования: в этом случае их целью станет освещение интенсивных контактов между этими языками и тех глубинных закономерностей, к которым ни тюркологи, ни монголисты, ни специалисты по тунгусо-маньчжурским языкам сами по себе не могут даже приблизиться. Научный спор в области названных сложных проблем способствует прояснению многих их деталей и появлению ряда ценных работ, среди которых видное место занимают работы Дж. Клоусона, выдающегося противника алтайской теории, успешно обогащающего алтаистику.

Перевела с французского *Г. Ф. Благова*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

СОВРЕМЕННАЯ ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА И КАРТВЕЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ (II)*

4. Общекартвельская языковая модель в изложенной интерпретации находит ближайшую структурно-типологическую параллель в общеиндоевропейской языковой системе. Деление фонемного инвентаря на подклассы собственно согласных, собственно гласных и сонантов характерно и для индоевропейской фонологической системы; при этом в обеих системах типологически идентичны составы класса сонантов и класса гласных в собственном смысле. Модели распределения слоговых и неслоговых аллофонов сонантических фонем в картвельском и индоевропейском [1] почти идентичны [2]. Притом развитие слоговых сонантов в картвельских языках аналогично развитию их в индоевропейских диалектах, где общеиндоевропейские сонантические фонемы были преобразованы в результате вокализации слоговых сонантов и возникновения на их месте гласных полного образования.

В подклассе согласных тройки общекартвельских смычных, противопоставляемых друг другу как звонкие ~ глухие (с аспирацией в качестве фонологически избыточного признака) ~ глоттализованные, могут быть типологически сопоставлены с трехчленной системой противопоставления смычных в индоевропейском по признаку звонкости ~ глухости ~ аспирации (со звонкостью в качестве фонологически иррелевантного признака аспирированных фонем).

Общекартвельская морфонологическая система с механизмом аблаутных чередований гласных обнаруживает разительное типологическое сходство с моделями чередований, реконструируемыми для общеиндоевропейского языка. Фонемная структура морфем и система синтагматических отношений между ними в общеиндоевропейском (как она представлена в реконструкциях Э. Бенвениста [3]) и общекартвельском могут быть описаны в одних и тех же структурных терминах: основная каноническая форма корневой морфемы *CVC/S-* и суффиксальной *-VC/S*; противопоставление нормальной, нулевой ступени огласовки и ступени растяжения; невозможность двух нормальных ступеней в основе (принцип моновокализма), обусловливающая чередования типа *CVSC-/CSVC-*, так называемый Schwebeablaut: и.-е. **perk̂-/*prek̂-/*pṛk̂-*; картв. **derk-/*drek.-/*dṛk-*.

Такое разительное сходство (вплоть до совпадения) общекартвельских морфонологических моделей, восстановленных путем сравнительной и внут-

* Начало статьи см. в ВЯ, 1971, 2.

[1] О моделях распределения сонантов в индоевропейском см.: Fr. Edgerton, The Indo-European semivowels, «Language», 19, 2, 1943.

[2] К. Х. Шмидт в своей рецензии на «Систему сонантов...» усматривает полную идентичность в схемах распределения картвельских и индоевропейских сонантических фонем, предлагая интерпретировать аллофон сонанта в позиции *C—V* как *-SS-* (см.: IF, 73, 3, 1968, стр. 396).

[3] Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955.

ренней реконструкции исторических картвельских языков, с соответствующими общеиндоевропейскими моделями, позволяет говорить о картвельско-индоевропейском морфонологическом изоморфизме, на основании которого картвельский и индоевропейский могут быть отнесены к общему структурно-типологическому классу языков. Картвельско-индоевропейский структурный параллелизм не ограничивается сферой морфонологии. Исследования последних лет показали типологическую близость целого ряда морфологических и синтаксических структур в картвельском и индоевропейском [4].

Структурно-типологическое сопоставление общекартвельского и общеиндоевропейского и выявление картвельско-индоевропейского морфонологического изоморфизма представляет в принципе новый вид типологии — типологию реконструированных языковых систем, которую можно назвать диахронической типологией. До самого последнего времени структурно-типологические штудии затрагивали в основном исторические языки, структурно-типологическое сравнение ограничивалось реально засвидетельствованными языками или языками, фиксированными в письменных памятниках. В таких типологиях единицами сравнения и классификации были исторические языки, и почти никакого внимания не уделялось типологической оценке теоретически реконструированных языковых систем. Однако для общей типологической теории диахроническая типология имеет первостепенное значение, поскольку она может дать существенную информацию об инвариантных структурных особенностях, характеризующих различные языковые системы независимо от времени и места их распространения. Теоретически реконструированные языковые модели должны стать объектом структурно-типологического сопоставления и оценки с целью выявления изоморфных и алломорфных отношений между ними. В этом отношении структурный изоморфизм, устанавливаемый между картвельскими и индоевропейскими морфонологическими моделями на праязыковом уровне, приобретает особый теоретический смысл [5].

Помимо общетеоретической значимости для структурной типологии языков выявляемый структурный параллелизм между картвельским и индоевропейским имеет определенное значение для реконструкции предыстории этих языков и уяснения целого ряда вопросов картвельской и индоевропейской ареальной лингвистики.

Реконструируемый для общекартвельского языка механизм аблаута как системы морфонологических противопоставлений был, по всей вероятности, обусловлен в генезисе причинами фонологического порядка, действовавшими на ранних этапах развития общекартвельского языка. Эту раннюю ступень развития общекартвельской праязыковой системы, шествовавшую эпохе возникновения в ней сонантических фонем и оформления механизма аблаутных чередований, можно наметить с некоторым приближением путем внутренней реконструкции в пределах самой обще-

[4] См.: G. D e e t e r s, Die Stellung der Kharthwelsprachen unter den kaukasischen Sprachen, RK, 23, 1957, стр. 12 и сл.; А. Г. Ш а н и д з е. К вопросу о глагольной категории версии в древнегреческом, «IV Конференция по классической филологии. Ноябрь, 1969 (Секция греческого и латинского языков). Тезисы докладов [Тбилисский ГУ]», 1969, стр. 80 и сл.; K. H. S c h m i d t, Zu den Aspekten im Georgischen und in indogermanischen Sprachen, RK, 43—44, 1963; e r o ж e, Indogermanisches Medium und Sataviso im Georgischen, RK, 48—49, 1965, стр. 129 и сл.; e r o ж e, Beiträge zu einer typologisch-vergleichenden Grammatik der indogermanischen und südkaukasischen Sprachen, «Münchener Studien zur Sprachwissenschaft», 22, 1967; e r o ж e, Zur Tmesis in den Kartvelsprachen und ihren typologischen Parallelen in indogermanischen Sprachen, сб. «Тбилисский университет Георгию Ахвледиани», Тбилиси, 1969.

[5] См.: T. V. G a m k r e l i d z e, Kartvelian and Indo-European: a typological comparison of reconstructed linguistic systems, «To Honor Roman Jakobson», I, The Hague — Paris, 1967.

картвельской системы позднего периода и восстановления архаичных праязыковых структур. Само собой разумеется, подобная «дальняя» реконструкция общекартвельских структур архаичного периода носит характер сугубо гипотетического построения, представляющего один из возможных вариантов образования поздней общекартвельской языковой системы в эпоху перед членением ее на самостоятельные языковые единицы.

На этой архаичной ступени общекартвельского праязыка можно предположить моновокалическую систему с монотонной слоговой структурой типа $C_1əC_2əC_3ə$ и фонологически релевантным динамическим ударением, вызвавшим на позднекартвельском уровне выпадение безударного гласного, сохранение подударного гласного в закрытом слоге и удлинение его в открытом.

В общекартвельских корневых и суффиксальных морфемах структуры *CVC-* и *-VC* на месте простой согласной *C* могут быть представлены или лабиальный комплекс (*Cw*) или гармоничные комплексы согласных типа [*dγ*, *tx*, *tq̇*] [6]. С точки зрения функциональной роли фонем в морфемных структурах лабиальные и гармоничные комплексы приравниваются к простым (единичным) согласным и сонантам. Такая структурно-дистрибутивная особенность отмеченных комплексов позволяет интерпретировать их исторически в качестве монофонематических единиц.

В частности, комплексы типа $C + w$ можно интерпретировать на праязыковом уровне архаичного периода как лабиализованные фонемы, претерпевшие фонемное расщепление и превращение в бифонемный комплекс. Гармоничные комплексы согласных, которые на позднекартвельском уровне предстают как бифонемные сочетания, могут быть также возведены к единичным консонантным фонемам, характеризовавшимся, в противовес соответствующим простым согласным, фонологически релевантным признаком веляризации [7].

Монофонематическая интерпретация общекартвельских лабиальных и гармоничных комплексов согласных восстанавливает для древнейшего прикартвельского состояния сложную консонантную систему с сериями лабиализованных и веляризованных согласных, которой противостояла вокалическая система с единственной вокалической фонемой **ə* и система фонологически релевантного динамического ударения. Эта фонологическая модель, гипотетически отражающая древнейшую прикартвельскую систему архаичного периода, находит ближайшую типологическую параллель в языках северо-западного Кавказа с их сложной системой консонантизма и максимально упрощенной системой гласных [8].

Трансформация прикартвельской фонологической системы архаичного периода осуществлялась в основном в направлении упрощения консонантизма (в результате расщепления лабиализованных и веляризованных согласных), фонологизации вокалических аллофонов фонемы **ə* и образования особого класса сонантических фонем, что было связано с синкопой безударных гласных и возникновением механизма аблаутных чередований.

В результате подобных структурных преобразований на позднем общекартвельском хронологическом уровне возникает морфонологическая система языка, которая имеет разительные структурно-типологические

---

[6] О гармоничных комплексах согласных см.: Г. С. Ахвледиани, Основы общей фонетики, Тбилиси, 1949, стр. 107 и сл.; 301 и сл. (на груз. яз.).

[7] «Система сонантов...», стр. 368 и сл.; см.: Г. И. Мачавариани, Общекартвельская консонантная система, Тбилиси, 1965, стр. 93 и сл. (на груз. яз.).

[8] См.: W. S. Allen, Structure and system in Abaza verbal complex, «Transactions of the Philological Society», Oxford, 1956, стр. 127 и сл.; A. H. Kuipers, Phoneme and morpheme in Kabardian, 's-Gravenhage, 1960, стр. 104 и сл.

параллели с индоевропейскими морфонологическими моделями, постулируемыми для общеиндоевропейского языка позднего период [9].

Чем было вызвано такое преобразование древнейших пракартвельских структур в сторону уподобления их индоевропейским структурам? Чем объяснить структурный изоморфизм картвельской и индоевропейской морфонологических систем, возникший на позднем общекартвельском уровне?

Одним из наиболее вероятных объяснений структурных преобразований, имевших место в пракартвельском, следует считать наличие в доисторическую эпоху картвельско-индоевропейских языковых контактов, продолжавшихся, по всей видимости, в течение длительного периода. Представляется, что эти языковые контакты и возникшая в результате языковая интерференция способствовали перестройке пракартвельских языковых структур архаичного периода и их уподоблению характерным для индоевропейского морфонологическим структурам [10].

Предположение о существовании контактов между картвельским и индоевропейским, обусловивших морфонологический изоморфизм между этими системами, подкрепляется наличием в общекартвельском целого пласта заимствованной лексики, индоевропейское происхождение которой в высшей степени вероятно. К индоевропейским заимствованиям в общекартвельском можно отнести следующие лексические единицы, объединяемые в определенные подгруппы по семантическому признаку [11]: **eksw-* «шесть» : и.-е. * (*s*)*ueks* «шесть»; **šwid-* «семь»: и.-е. **septṃ* «семь»; **uyel* «ярмо»: и.-е. **jugom* «ярмо»; **ɣka-* «рог»: и.-е. **ker/*krā-* «рог; голова»; **mkerd-/*mkɣd-* «грудь»: и.-е. **kerd-/ *krd-* «сердце»; **zisxl-* «кровь»: и.-е. **esHr* «кровь» (ср. хетт. *eshar*); **ɣep-/*ɣp-* «греться»: и.-е. **ep-* «теплый»; **šew-/*šw-* «рождать(ся)»; и.-е. **seu-/*sū-* «рождать»; **gen-/*gn-* «понимать; сознавать»: и.-е. **ĝen-/*ĝnō-* «знать, познавать»; **lag-* «класть; лежать» и.-е. ** legh-* «лежать»; **dew-/*dw-* «класть; ставить»: и.-е. **dhē-*(**dheH-*)*/:dhə-* «класть; ставить»; **kus-* «стонать», **kus-en* → **kunes-*: и.-е. **k̑ues-/* k̑us-* «пыхтеть; вздыхать»; **bod-* «бредить»: и.-е. **bhred(h)-/*bhrod(h)-* «бредить»; **dqa-* «коза» : и.-е. **digh-* «коза»; **opor-* «удод»: и.-е. **epor-/*opor-* «удод»; **ɣil-* «вошь»: и.-е. **ɣin/*ɣil* «вошь»; **dɣa-* «почва; земля»: и.-е. **dhe*ĝ*h-om* «земля» (ср. хетт. *tekan*, тох. А *tkam*) и др.

Положение о картвельско-индоевропейском морфонологическом изоморфизме как результате картвельско-индоевропейских языковых контактов дает основание по-новому поставить целый ряд проблем индоевропейской ареальной лингвистики, связанных с древнейшим распределением индоевропейских диалектов. Можно предполагать, что носители карт-

[9] Для архаичного периода праиндоевропейского языка реконструируется монотонная слоговая структура типа *CVCVCV*, аналогичная пракартвельской; см: С. Нj. Borgstrøm, Thoughts about Indo-European vowel-gradation, NTS, XV, 1949; его же, Internal reconstruction of Pre-Indo-European word-forms, «Word», 10, 2-3, 1954.

[10] Г. В. Церетели при перечислении возможных причин возникновения картвельско-индоевропейского морфонологического изоморфизма, наряду с отражением отдаленного родства индоевропейского с общекартвельским или независимым происхождением структурного сходства в обеих языковых системах, называет и «сродство в пределах ареального единства в результате многовековых контактов индоевропейских и картвельских языков» (см. его «О теории сонантов и аблаута в картвельских языках», в кн. «Система сонантов...», стр. 045). См. также: G. Deeters, Die Stellung der Kharthwelsprachen unter den kaukasischen Sprachen, RK, 23, 1957, стр. 12 и сл. Г. Деетерсу картвельский представляется в виде языка северозападнокавказского типа, претерпевшего значительную трансформацию под влиянием индоевропейского субстрата.

[11] См.: H. Vogt, Arménien et Caucasique du Sud, NTS, IX, 1938, стр. 334 и сл.; Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964; ср. также: Г. А. Меликишвили, Возникновение Хеттского царства и проблема древнейшего населения Закавказья и Малой Азии, ВДИ, 1965, 1, стр. 24 и сл.

вельского и индоевропейского языков занимали смежные территории в эпоху существования контактов между ними, примерно к концу III тысячелетия до н. э.[13].

Такая интерпретация структурных сходств между картвельским и индоевропейским позволяет отнести эти языковые системы к общей ареальной группе, к некоторому доисторическому союзу языков, находившихся друг к другу в аллогенетических отношениях, т. е. в отношениях приобретенного, вторичного родства [13].

В свете выявляемых семитических заимствований в общеиндоевропейском (протоиндоевропейском) [14] индоевропейские заимствования в общекартвельском и картвельско-индоевропейский морфонологический изоморфизм (сходство картвельских и индоевропейских морфонологических структур) приобретают особую значимость для определения общего ареала для подобных языковых контактов [15] и для установления таким путем первоначальной территории распространения общеиндоевропейского (протоиндоевропейского) языка [16].

Весь этот круг проблем структурно-типологической и ареальной лингвистики, порождаемый прикартвельскими реконструкциями и устанавливаемым картвельско-индоевропейским морфонологическим изоморфизмом, объясняет тот возросший интерес, который проявляется в последнее время к картвельским языкам в структурно-типологическом и сравнительном индоевропейском языкознании [17] и определяет ту оценку, которая дается в нем теории сонантов и аблаута в картвельских языках.

5. Резко отрицательную позицию в отношении теории сонантов и аблаута в картвельских языках и всей монографии в целом занял в самое

---

[12] Ср.: W. P. Lehmann, [рец. на кн.:] «Система сонантов...», «Language», 44, 2, 1968, стр. 404 и сл. Ранее высказывались предположения относительно контактов между картвельским и индоевропейским в период переселений хетто-лувийцев в Малую Азию через Кавказ (см.: Т. В. Гамкрелидзе, «Анатолийские языки» и вопрос о переселении в Малую Азию индоевропейских племен, М., 1964, стр. 5 («VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук»); Т. И. Мачавариани, К вопросу об индоевропейско-картвельских (вожнокавказских) типологических параллелях, там же, стр. 4 и сл.; ср. также: Th. V. Gamkrelidze, Anatolian languages and the problem of Indo-European migration to Asia Minor, «Studies in General and Oriental Linguistics presented to Shirô Hattori», Tokyo, 1970, стр. 141.

[13] Об аллогенетических отношениях между языками см.: Г. В. Церетели, О языковом родстве и языковых союзах, ВЯ, 1968, 3.

[14] Ср. п.-е. **tauro-* «бык»: сем. **ṯawru* «бык»; и.-е. **ghaid-* «козленок; коза»: сем. **gadju* «козленок; коза»; и.-е. **agh(ĥ)no-* «ягненок; овечка»: сем. **ʿiglu* «ягненок; молодое животное»; и.-е. **alu(t)* «терпкий или сладкий напиток; пиво»: сем. **ḫ-l-w* «сладкий; сладкий напиток»; и.-е. **medhu* «мед; медовый напиток»: сем. **m-ṯ-ḳ* «сладкий»; и.-е. **dhŭer-* «двор; дверь»: сем. **ṯ-w-r* «ограда; огороженный двор»; и.-е. **kl(ă)u-* «запирать; ключ»: сем. **k-l-ʾ* «запирать»; п.-е. **ndŭ-* «судно; сосуд»: сем. **ʾ-n-w* «сосуд»; и.-е. **pelĕku-* «секира; топор»: сем. **p-l-ḳ* «раскалывать; топор»; и.-е. **dap-* «жертвоприношение»: сем. **d-b-ḥ* «приносить в жертву»; и.-е. **(a)ster-* «звезда»: сем. **ʿ-ṯ-ṯ-r* «обожествленная звезда»; и.-е. **arĝo-* «господин»: сем. **ḥ-r-(r)* «освобождать; свободнорожденный» и др. (см.: В. М. Иллич-Свитыч, Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты, сб. «Проблемы индоевропейского языкознания», М., 1964, стр. 3—7).

[15] Интересно в этом отношении предположение о заимствовании в общекартвельском семитических числительных: **ṯwa* || **arwa* «восемь» (ср. аккад. *arba*, араб. *arbaʿ* «четыре») и **aši(r)* «сто», ср. аккад. *eširtu* (жен. р.), араб. *ʿašr* «десять», *ʿāšir* «десятый» (см.: Г. А. Климов, Заимствованные числительные в общекартвельском?, «Этимология. 1965», М., 1967).

[16] О новейших теориях по поводу «азиатской» прародины индоевропейцев в связи с языковыми контактами между сино-тибетским и индоевропейским см.: E. G. Pulleyblank, Chinese and Indo-Europeans, JRAS, pt. 1—2, 1966.

[17] См.: R. Anttila, Proto-Indo-European Schwebeablaut, Berkley — Los Angeles, 1969, стр. 177 и сл.; V. Pisani, [рец. на кн.:] «Система сонантов...», «Paideia», 22, 1967, стр. 414 и сл.; ср. W. P. Lehmann, указ. соч., стр. 404 и сл.

последнее время А. С. Чикобава [18]. А. С. Чикобава является, как известно, видным представителем кавказской лингвистики, во многом определившим современный облик и состояние одного из ее направлений, именуемого иберийско-кавказским языкознанием. Взгляды А. С. Чикобава на структуру и историю картвельских языков, высказываемые им при оценке определенных аспектов теории сонантов и аблаута, отражают тем самым принципиальную позицию определенного направления в кавказском языкознании, исходящего при сравнительном исследовании картвельских языков из концепции генетического родства всех групп кавказских языков.

Такое отрицательное отношение А. С. Чикобава к «Системе сонантов...» не является неожиданным и в принципе вполне закономерно, поскольку рецензируемая им работа отражает другое направление в кавказской лингвистике, возникшее в противовес основным положениям иберийско-кавказского языкознания и строящееся на базе классической компаративистики и достижений современной лингвистической науки. Однако такое отношение автора критической статьи к «Системе сонантов...» основывается, против всякого ожидания, не на всестороннем анализе и критической оценке основного содержания монографии, а на разборе одного частного аспекта теории сонантов и аблаута, относящегося к сфере языковой типологии. Обсуждение основных положений «Системы сонантов...», касающихся фундаментальных вопросов пракартвельских реконструкций и исторических взаимоотношений картвельских языков, откладывается для «специального кавказоведческого органа». Обстоятельные рецензии на «Систему сонантов...» таких специалистов по сравнительной грамматике, как Х. Фогт, В. М. Иллич-Свитыч и Г. А. Климов, в которых детально разбираются именно эти основные положения рецензируемой монографии (ВЯ, 1966, 4, 6) А. С. Чикобава «перечеркивает» одной фразой: «в этих рецензиях основной вопрос остался вне поля зрения их авторов» («К вопросу об отношении...», стр. 50).

В чем же видит автор критической статьи основной вопрос разбираемой работы, ее основной вывод? А. С. Чикобава считает основным выводом работы выдвигаемый в заключительной главе монографии тезис о картвельско-индоевропейском морфонологическом изоморфизме, на основании чего картвельский и индоевропейский отнесены к общему типологическому классу языков. А. С. Чикобава стремится опровергнуть именно этот тезис, показать его несостоятельность — этим он думает опровергнуть и основную часть монографии, где проводится детальный сравнительно-исторический анализ картвельских языков, даются их праязыковые реконструкции и исследуются пути становления и исторического развития картвельских диалектов.

Автор критической статьи избрал, как нам кажется, методологически не вполне верный путь для опровержения выдвигаемых в монографии положений. Дело в том, что тезис о структурно-типологических связях между картвельским и индоевропейским находится в полной зависимости от характера картвельских праязыковых реконструкций, проводимых в работе на основании сопоставления исторических картвельских языков. В соответствии с этим оценка тезиса о картвельско-индоевропейском морфонологическом изоморфизме должна была зависеть от анализа предлагаемых пракартвельских реконструкций, основанного на обстоятельном разборе всего комплекса затрагиваемых в монографии проблем. В противном

[18] А р н. Ч и к о б а в а, К вопросу об отношении картвельских языков к индоевропейским и северокавказским языкам, ВЯ, 1970, 2 (далее — «К вопросу об отношении...»).

случае рассуждения о неправомерности включения картвельского и индоевропейского в общий типологический класс теряют под собой почву [19].

Касаясь устанавливаемого в «Системе сонантов...» картвельско-индоевропейского морфонологического изоморфизма, А. С. Чикобава пишет: «Выявленный изоморфизм, если даже считать его бесспорным, не дает оснований включать картвельские языки в один типологический класс с индоевропейскими языками: по ряду основных моментов между ними нет никакого изоморфизма, а, наоборот, выявляются коренные расхождения» («К вопросу об отношении...», стр. 52). В «Системе сонантов...», однако, нигде не говорится, что картвельские языки можно включить в один типологический класс с индоевропейскими языками; дело касается отнесения к общему типологическому классу общекартвельской и общеиндоевропейской языковых систем, а не происшедших от них соответственно картвельских и индоевропейских языков, — последние, естественно, уже не проявляют тех структурно-типологических схождений, которые были характерны для их праязыковых состояний. Это принципиально различные вещи; в этом заключается существенная разница между истинным содержанием данного тезиса и его толкованием, содержащимся в статье А. С. Чикобава.

Далее. Разграничение хронологических уровней при анализе языковых структур является одним из основных методологических принципов, на которых строится теория сонантов и аблаута в картвельских языках, и пренебрежение этим положением может привести к ошибочному ее толкованию и неверным формулировкам. При перечислении структурных черт, которые приводятся А. С. Чикобава далее и «по которым картвельские языки коренным образом расходятся с индоевропейскими» («К вопросу об отношении...», стр. 52), не ясно, какой хронологический уровень картвельских и какой уровень индоевропейских языков имеется в виду. Без такой хронологической перспективы подобные сопоставления теряют свой смысл. Так, например, на праязыковом уровне некоторые из перечисленных А. С. Чикобава структурных особенностей сближают, а не отдаляют друг от друга картвельские и индоевропейские языки. Это касается в первую очередь троичной системы согласных [20] и эргативной конструкции предложения [21] (пункты e, f и h в разборе А. С. Чикобава

[19] Декларативный и общий характер имеют содержащиеся в статье заявления вроде: «Морфология картвельских языков основана на принципе агглютинации: отдельная функция — отдельный формант»; «Возводить аблаут к общекартвельскому неправомерно»; «Из наличия сонантов [j, w] не вытекает необходимость постулировать наличие (наряду с *l*, *r*, *n*) слогообразующих *l̥*, *r̥*, *n̥*: показания картвельских языков не в состоянии поддержать такое допущение» и т. д. в таком же стиле («К вопросу об отношении...», стр. 59—60), они не могут претендовать на анализ принципиальных положений разбираемой монографии; их следует скорее рассматривать как повторение старых взглядов А. С. Чикобава на структуру и историю картвельских языков, критический обзор которых подробно дан в «Системе сонантов...».

[20] О троичной системе рядов согласных в общеиндоевропейском: звонкие ~ глухие ~ (звонкие) придыхательные — см.: J. Kuryłowicz, Études indoeuropéennes, стр. 46 и сл.; его же, L'apophonie en indo-européen, стр. 375 и сл.; W. P. Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1964, стр. 7 и сл.; ср. также: Т. В. Гамкрелидзе, Передвижение согласных в хеттском (несситском) языке, «Переднеазиатский сборник», М., 1961, стр. 212 и сл., 254.

[21] Об эргативной конструкции в праиндоевропейском см.: A. Vaillant, L'ergatif indo-européen, BSLP, 37, fasc. 2 (№ 110), 1936; В. В. Иванов, Эргативная конструкция в общеиндоевропейском, «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Тезисы докладов», Л., 1964; его же, Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, М., 1965, стр. 51 и сл. Примечательно, что эргативная конструкция, характерная для картвельских языков с их «самостоятельным эргативом», проявляемым в аористной серии времен (в грузинском и сванском), находит ближайшую типологическую параллель в новоиндийских языках, а не в северокавказских с их «совмещающим эргативом» (см.: W. S. Allen, A study in the analysis of Hindi sentence-structure, AL, VI, 2—3, Copenhague, 1950—1951).

следовало бы объединить в один общий пункт, поскольку перечисленные в них структурные особенности представляют проявление одной и той же структурной закономерности). Что касается пункта b (агглютинативный принцип строения слова), то эта структурная особенность, характерная для некоторых исторических картвельских языков (лазского, отчасти мегрельского и в значительно меньшей степени для грузинского и особенно сванского), явилась результатом преобразования исходных общекартвельских структур, характеризовавшихся внутренней флексией (аблаутом), а не агглютинативным принципом строения, и сближающихся в этом отношении с общеиндоевропейскими структурами.

Таким образом, структурные особенности, привлекаемые А. С. Чикобава для иллюстрации схождений картвельских языков с северокавказскими, могли бы быть с таким же успехом использованы, при внесении определенной хронологической перспективы, для показа типологической близости картвельских и индоевропейских структур.

При разграничении хронологических уровней в развитии картвельских языков и при типологическом сопоставлении их с другими языковыми системами (т. е. картвельских структур на определенной хронологической плоскости, а не каких-то вневременных структурных особенностей картвельских языков вообще) возникает картина картвельской языковой системы, проявляющей типологические схождения как с индоевропейскими, так и с северокавказскими структурами. При этом система общекартвельского языка периода перед членением его на самостоятельные языковые единицы, которая восстанавливается на основании сравнения и сопоставления исторических картвельских языков, проявляет бо́льшую типологическую близость к индоевропейским структурам, чем к каким-либо иным (в том числе и северокавказским), что выражается в идентичности таких существенных особенностей языковой структуры, как строение морфем и схема их синтагматических отношений, характер сонантических фонем и их дистрибутивные модели, морфонологические чередования гласных, а также целый ряд морфологических и синтаксических особенностей. Однако при ретроспективном движении в глубь общекартвельского языка и восстановлении путем внутренней реконструкции более ранних ступеней развития пракартвельского, когда, по всей вероятности, фонологическая система распадалась только на два класса фонем и отсутствовал оформившийся позднее механизм аблаутных чередований гласных, возникает картина пракартвельской языковой системы, хотя и весьма гипотетическая, типологически близкая к структуре некоторых северокавказских языков. Этот момент не был оставлен нами без внимания в «Системе сонантов...» (стр. 373): «Общекартвельский языковой тип архаичного периода можно охарактеризовать следующими общими чертами: (1) чрезвычайно сложный консонантизм и крайне простой вокализм (моновокалическая система); (2) фонологически релевантное подвижное ударение динамического характера; (3) полногласие на месте поздней полнослоговости; (4) преобладающая роль префиксации в формообразовании и словообразовании по сравнению с суффиксацией.

Полученная модель находит ближайшую типологическую параллель в горских иберийско-кавказских языках, в особенности в западнокавказской (абхазско-адыгской) группе...

Между тем А. С. Чикобава утверждает, будто бы в монографии «Система сонантов...» «о северокавказских языках, их структурно-типологических схождениях с картвельскими языками, вопрос не ставится» («К вопросу об отношении...», стр. 57).

Как видим, древнейшие языковые модели общекартвельского языка-основы, полученные путем внутренней реконструкции, проявляют явные

типологические связи с северокавказскими, в особенности западнокавказскими языковыми моделями» [23].

Не принимая во внимание изложенного выше, он приписывает авторам «Системы сонантов...» исключительное внимание к картвельско-индоевропейским структурно-типологическим параллелям и полное игнорирование вопросов картвельско-северокавказских типологических схождений. Тем самым противопоставляются друг другу авторы коллективной монографии и создается впечатление, что один из них в дальнейшем полностью отошел от основных положений теории сонантов и аблаута в картвельских языках, «возвратившись к принципиальным установкам иберийско-кавказского языкознания» («К вопросу об отношении...», стр. 60, примеч. 38).

Дело в том, что примерно через полгода после выхода в свет «Системы сонантов...» была опубликована статья Г. И. Мачавариани «К типологической характеристике общекартвельского языка-основы», в которой «делается попытка охарактеризовать в общих чертах фонологическую и грамматическую системы общекартвельского языка-основы и путем сопоставления этих систем с соответствующими системами индоевропейских и горских иберийско-кавказских (северокавказских) языков выявить структурно-типологические параллели и различия между картвельскими языками и языками двух указанных групп»[23]. Перечислив структурные особенности общекартвельского языка, по которым картвельские языки сближаются типологически с индоевропейскими и северокавказским языковым типом, Г. И. Мачавариани заключает: «Структурно-типологические черты, сближающие картвельские языки с северокавказскими, несомненно восходят к глубокой древности, в то время как индоевропейские черты общекартвельского лингвистического типа относятся к более позднему хронологическому пласту»; и далее: «Возникновение аблаута, по-видимому, явилось результатом фонологизации фонетически обусловленных альтернаций гласных. В свою очередь выделение сонантов в качестве особого, промежуточного между гласными и согласными класса фонем было связано с возникновением чередования гласных: слоговые аллофоны сонантов могли появиться только на нулевой ступени огласовки морфем» [24].

Нетрудно видеть, что выводы статьи Г. И. Мачавариани полностью согласуются с основными положениями о структурно-типологических особенностях общекартвельского языка-основы архаичного (восстанавливаемого путем внутренней реконструкции) и позднего периода (перед членением его на самостоятельные языковые единицы), которые излагаются в «Системе сонантов...», и принципиально ничем от них не отличаются.

Иначе представляется положение вещей в статье А. С. Чикобава. Перефразируя это место статьи Г. И. Мачавариани: «Итак, аблаут вторичен: чередование гласных в картвельском языке поначалу представляло фонетический процесс; морфологизация — результат реинтерпретации фонетического процесса; сонанты же в свою очередь обусловлены наличием аблаута», А. С. Чикобава делает вывод, совершенно не соответствующий разбираемым высказываниям из статьи Г. И. Мачавариани: «Тем самым сказано, — пишет А. С. Чикобава, — что на уровне общекартвельского

[23] См. также стр. 470 русского текста книги «Система сонантов...»: «Такая фонологическая модель, отражающая древнейшую общекартвельскую систему, находит ближайшую типологическую параллель в языках северо-западного Кавказа с их сложной консонантной системой и максимально упрощенной системой гласных».

[23] ВЯ, 1966, 1, стр. 3.

[24] Там же, стр. 9, примеч. 29.

языка-основы ни аблаут, ни сонанты не могли быть характерными» («К вопросу об отношении...», стр. 55—56). Вызывает недоумение, каким образом из известного положения о позднем характере в системе общекартвельского языка-основы механизма аблаутных чередований и сонантических фонем, возникших на сравнительно позднем пракартвельском хронологическом уровне перед членением языка-основы на самостоятельные языковые единицы, делается заключение о нехарактерности для общекартвельского языка-основы системы аблаута и сонантов, и затем это мнение приписывается Г. И. Мачавариани, у которого нет и не могло быть такого положения. Это опять-таки объясняется полным равнодушием некоторых представителей иберийско-кавказского языкознания к вопросам релятивной хронологии и неразграничением хронологических уровней в развитии языка. Структурно-типологические схождения картвельского языка с северокавказскими ставятся в статье Г. И. Мачавариани, как, впрочем, и в «Системе сонантов...», не на первое место (а схождения с индоевропейскими соответственно — не на второе), как то представляется автору критической статьи («К вопросу об отношении...», стр. 60, примеч. 38), а считаются отражением архаичного состояния в развитии пракартвельского языка, предшествовавшего тому его состоянию, которое было характерно для общекартвельского языка-основы перед членением его на самостоятельные языковые единицы уже с типологическими чертами, сближающими его с индоевропейскими структурами. В данном случае не стоит вопрос о «месте» или «ранге» структурно-типологических связей картвельского с другими языковыми системами (северокавказскими, индоевропейскими); вся проблема заключается в хронологической последовательности структур, проявляющих типологическую близость к различным языковым системам на разных этапах общекартвельского языка-основы, начиная с архаичного периода его развития вплоть до периода перед распадом и членением его на самостоятельные языковые единицы. Поэтому типологические схождения общекартвельского языка с северокавказскими структурами на этом архаичном праязыковом уровне (к тому же восстанавливаемом путем внутренней реконструкции в весьма общем и сугубо гипотетическом виде) не могут в принципе считаться более показательными для общей характеристики картвельского языкового типа, чем те структурные особенности, которые восстанавливаются для общекартвельского языка на куда более реальном уровне поздних пракартвельских реконструкций, проявляющих наибольшую типологическую близость именно к индоевропейским структурам.

Структурные особенности северокавказского типа, которые свойственны картвельскому, несмотря на свою архаичность, не могут служить основанием для утверждений о генетическом родстве картвельских языков с северокавказскими. А. С. Чикобава прав, полагая, что «для решения вопроса об исконном генетическом родстве картвельских языков с северокавказскими языками недостаточно структурно-типологических схождений (необходима материальная общность морфем — корневых и формальных...)» («К вопросу об отношении...», стр. 56), — хотя это положение часто игнорируется самими сторонниками концепции генетической общности иберийско-кавказских языков, — но трудно согласиться с утверждением, будто «такая общность прослеживается» (там же). Если бы между картвельскими и северокавказскими языками прослеживалась общность закономерного характера (т. е. не являющаяся результатом случайных совпадений или заимствования) в субстанции значимых элементов — корневых и аффиксальных морфем, — то она бы с необходимостью проявилась в наличии регулярных звуковых (фонем-

ных) соответствий между картвельскими и северокавказскими языками. Поскольку такого рода фонемные соответствия между отдельными группами кавказских языков не выявлены (между картвельскими, с одной стороны, и абхазско-адыгскими или нахско-дагестанскими, с другой), утверждения о существовании между ними «материальной общности морфем» носят во всяком случае преждевременный характер. Научная правомерность объединения картвельских и северокавказских языков в общую генетическую семью всегда будет оспариваться теми исследователями, которые, исходя из принципов современной диахронической лингвистики, считают генетическое родство между языками окончательно доказанным лишь в том случае, если между ними устанавливаются фонемные соответствия закономерного характера. По этому поводу Г. В. Церетели писал: «Пока эти регулярные соотношения не будут установлены, вопрос о генетических связях между картвельскими языками и горскими языками Кавказа останется скорее предметом веры, чем знания, и как бы велика ни была эта вера, положению о родстве она доказательной силы не прибавит» [25].

В подтверждение тезиса об исконном генетическом родстве всех групп кавказских языков А. С. Чикобава ссылается на то, что «большинство кавказоведов предполагает исконное генетическое родство между всеми ветвями кавказских языков» [26]. Но, как известно, вопросы этого порядка не решаются большинством голосов, тем более, что к этому «большинству» не относят себя такие исследователи-кавказоведы, как А. Г. Шанидзе, Г. С. Ахвледиани, Г. Деетерс, Х. Фогт, Г. В. Церетели, К. Х. Шмидт, А. Куйперс, Г. А. Меликишвили, Г. А. Климов и др. Притом п р е д п о л а г а т ь р о д с т в о вовсе не означает считать его окончательно установленным, что давало бы основание выделять особую семью родственных иберийско-кавказских языков. Семью родственных языков со специальным наименованием следует выделять лишь после доказательства, научного обоснования признанными методами лингвистического анализа родства рассматриваемых языков, их общего происхождения, а не на основе более или менее правдоподобных п р е д п о л о ж е н и й о таком родстве.

Структурно-типологические черты общекартвельского языка, сближающие его с северокавказскими языковыми структурами, недостаточные в принципе для установления генетических отношений между картвельскими и северокавказскими языками, могут послужить основанием для объединения их по этому признаку в общий структурно-типологический класс [27]. Но это вовсе не противоречит тезису о вхождении картвельского по ряду существенных структурных особенностей в общий типологический класс языков с индоевропейским. Структурная типология языков объединяет в особые структурно-типологические классы, в «союзы языков» такие языковые системы, которые проявляют целый ряд общих, сходных структурных черт. Языки, попавшие в определенный структурно-типологический класс по одному комплексу признаков, по другим структурным признакам могут быть отнесены к другому структурно-типологическому классу, к другому «союзу языков». Иными словами, структурно-типологическая классификация языков, в отличие от генеалогической классифи-

---

[25] См.: Г. В. Ц е р е т е л и, указ. соч., стр. 048—049.

[26] См.: «Языки народов СССР. IV — Иберийско-кавказские языки», М., 1967, стр. 7.

[27] Именно как структурно-типологическая, а не генетическая группа языков мыслятся иберийско-кавказские языки некоторыми исследователями, например: N. M. H o l m e r, Ibero-Caucasian as a linguistic type, «Studia linguistica», I, 1, 1947.

кации, неоднозначна в отношении распределения языков по определенным структурно-типологическим группам [28].

Переходя к общей оценке теории сонантов и аблаута в картвельских языках, А. С. Чикобава пишет: «Монография „Система сонантов и аблаут в картвельских языках"... представляет собою поисковую работу. Поиски в науке необходимы. Поиски бывают удачные и неудачные. В данном случае неудача обусловлена направлением, в котором велся поиск...» («К вопросу об отношении...», стр. 60). Вся беда, оказывается в том, что «решать существенные вопросы истории и структуры картвельских языков, ориентируя исследовательскую мысль на взаимоотношения с индоевропейскими языками (разрядка наша. — *Т.Г.*), игнорируя при этом взаимоотношения картвельских языков (исторические, структурные) с горскими иберийско-кавказскими языками, бесперспективно» (там же).

К каким последствиям приводят исследования структуры и истории картвельских языков с учетом их взаимоотношений (т. е. отношений родства) с «горскими иберийско-кавказскими» языками, говорилось выше. Что же касается ориентации «исследовательской мысли на взаимоотношения с индоевропейскими языками» при «решении существенных вопросов истории и структуры картвельских языков», то такое впечатление у автора критической статьи могло сложиться, как нам кажется, в результате несколько своеобразного прочтения «Системы сонантов...», непропорционального распределения внимания между основным разделом монографии и заключительной ее частью, где трактуются вопросы картвельско-индоевропейской типологии.

Основной раздел монографии, выпавший, к сожалению, из поля зрения автора критической статьи, посвящен именно изложению существенных вопросов диахронической структуры картвельских языков и проведению пракартвельских реконструкций без всякой предварительной ориентации исследования на структуру индоевропейских или каких-либо иных языков. Показания других языков (как индоевропейских, так и неиндоевропейских — северокавказских, семитических, тюркских) привлекаются нами лишь со структурно-типологической точки зрения, для типологической верификации предлагаемых языковых построений, т. е. для подтверждения возможности допущенных при диахроническом описании картвельских языков реконструкций и языковых преобразований. Другое дело, что реконструированные таким путем общекартвельские структуры оказываются поразительно схожими, почти идентичными структурам других языков, в данном случае — реконструированной системе индоевропейского языка, что дает основание относить их к общему структурно-типологическому классу языков. Устанавливаемый картвельско-индоевропейский морфонологический изоморфизм является следствием проведенного сравнительно-исторического анализа картвельских языков, а не его предпосылкой.

Именно такое направление исследования структуры и истории картвельских языков, основанное на учете исключительно внутренних системных закономерностей самих исследуемых языков, безотносительно к их каким бы то ни было внешним связям (в том числе и к связям с северокавказскими языками), характеризуемое А. С. Чикобава как «бесперспективное», приводит к обнаружению в картвельских языках фундаментально новых структур, позволяющих по-новому осветить целый ряд существенных вопросов истории картвельских языков и их отношений к другим язы-

[28] Ср.: *J. H. Greenberg*, Essays in linguistics, Chicago, 1957, стр. 66 и сл.

ковым системам. Именно в этом направлении мыслится нами дальнейшее развитие картвелистики и сравнительной кавказской лингвистики, ибо оно «открывает широкие перспективы для науки» [29].

Критическая статья А. С. Чикобава завершается экскурсом в историю изучения кавказских языков, в котором теория сонантов и аблаута в картвельских языках, характеризуемая как «открытие» в кавычках, сопоставляется с такими же «открытиями» в области кавказских языков Фр. Боппа и Н. Я. Марра [30].

«Открытие» Фр. Боппа, одного из основателей сравнительного языкознания, автора первой сравнительной грамматики индоевропейских языков, заключается, по мнению А. С. Чикобава, в выдвинутом в свое время положении о родстве картвельских (иберийских) языков с индоевропейскими, относимых им в качестве кавказских членов к индоевропейской семье языков [31]. В дальнейшем, в эпоху бурного развития сравнительного индоевропейского языкознания и усовершенствования методики сравнительно-генетического исследования языков, индоевропейско-картвельские сопоставления Фр. Боппа были признаны неудовлетворительными. Однако сама идея индоевропейско-картвельского родства Фр. Боппа и целый ряд его сопоставлений приобретают в настоящее время совершенно новый смысл в свете данных современной «ностратической гипотезы» о наличии отдаленного генетического родства между отдельными семьями языков (в том числе между индоевропейской и картвельской).

Другое «открытие» приписывается Н. Я. Марру, который выступил в 1908 г. с обоснованием родства семитических языков с картвельскими («яфетическими») языками. Начав с общности структурных особенностей картвельских и семитических языков, Н. Я. Марр пытался устанавливать и материальную общность формантов между этими языками, которые были включены на этом основании в п о е т и ч е с к у ю семью языков. Характерно то, что Н. Я. Марр, как справедливо замечает А. С. Чикобава, «создавал сравнительную грамматику семитических и яфетических языков, не имея сравнительной грамматики самих яфетических языков — грузинского, чанского, мегрельского и сванского (последние три не были изучены даже в основных своих чертах)» («К вопросу об отношении...», стр. 61).

Новым этапом эволюции яфетической теории Н. Я. Марра явилось вовлечение в сферу исследований северокавказских языков и расширение круга яфетических языков абхазско-адыгскими и нахско-дагестанскими языками. «Яфетические языки» признаются уже отдельной семьей родственных языков, включавшей в себя картвельские и северокавказские языки. Семитические языки как отдельная семья языков противопоставляются семье родственных «яфетических языков». Отношение родства между этими семьями позднее заменяется в теории Н. Я. Марра отношением стадиальности: «яфетические языки» признаются более древними, чем языки семитические и индоевропейские.

---

[29] Г. В. Ц е р е т е л и, указ. соч., стр. 051. Выдающийся норвежский исследователь-кавказовед Х. Фогт полагает, что теория сонантов и аблаута в картвельских языках «открыла новые перспективы в картвелистике, которые будут стимулом для дальнейших исследований» (ВЯ, 1966, 6, стр. 116).

[30] Такая характеристика «Системы сонантов...» содержит намек на приводимое в статье А. С. Чикобава высказывание акад. В. М. Жирмунского, который в докладе Научного совета по теории советского языкознания за 1966 г. отмечал, что исследования о системе сонантов и аблаута в картвельских языках «увенчались открытием крупного масштаба, имеющим важное значение как для лингвистической теории вообще, так и для истории других (в частности, индоевропейских) языков» (см.: В. М. Ж и р м у н с к и й, О теории советского языкознания, ИАН ОЛЯ, 1967, 1, стр. 19).

[31] См.: F r. B o p p, Die kaukasischen Glieder des indo-europäischen Sprachstammes, Berlin, 1847.

Заметим, что пример эволюции яфетической теории Н. Я. Марра, приводимый А. С. Чикобава в качестве иллюстрации одного из «открытий» в кавказском языкознании, может обернуться против отстаиваемой самим автором критической статьи иберийско-кавказской теории, теории генетического родства между собой всех трех групп кавказских языков. «Открытием» в яфетической теории Н. Я. Марра следует считать не только положение о родстве картвельских языков с семитическими, но и с тем же основанием — положение о родстве картвельских языков с северокавказскими, чем яфетическая теория перекликается именно с иберийско-кавказской теорией.

Легкость, с какою Н. Я. Марр от теории родства картвельских и семитических языков перешел к родству между всеми кавказскими языками, объединяемыми в семью «яфетических языков», весьма показательна и напоминает методы, которые применяются некоторыми современными исследователями при установлении «материальной общности (идентичности) формантов» между различными кавказскими языками (картвельскими и северокавказскими), объединяемыми ими в семью «иберийско-кавказских языков». Принципы, с помощью которых обосновывается такое родство, позволяют при желании значительно расширить круг «родственных» языков и включить в него не только кавказские, но и с таким же правом многие другие языки.

Не случайно, в частности, что «иберийско-кавказские языки» в некоторых теориях рассматривались как отдельная ветвь еще более широкой семьи «хеттско-иберийских языков», включавшей наряду с кавказскими языками все неиндоевропейские и несемитические языки Древней Передней Азии (шумерский, эламский, урартский, хурритский, протохеттский) и Средиземноморья («пеласгский», этрусский, баскский). Такое объединение в единую семью всех этих в структурно-типологическом отношении весьма разносистемных, не сводимых друг к другу языков осуществлялось без всякого предварительного сравнительного анализа их, без установления определенных соотношений между ними.

Критикам теории и методологии Н. Я. Марра следовало бы быть более осторожными при «распределении» языков по обширным генетическим группам и семьям.

Приводимые А. С. Чикобава предостерегающие примеры «открытий» в кавказском языкознании в назидание сторонникам новшеств в картвелологии говорят скорее против отстаиваемых самим автором критической статьи «принципиальных установок иберийско-кавказского языкознания»[32].

Придерживаясь стиля критической статьи А. С. Чикобава с экскурсами в историю, можно было бы сопоставить позицию, занятую ее автором в отношении теории сонантов и аблаута в картвельских языках, с реакцией Г. Курциуса, крупного представителя старшего поколения сравнительного индоевропейского языкознания, на обнаружение в индоевропейском языке К. Бругманном, одним из основателей младограмматического направления, слоговых сонантов $\mathring{m}$ и $\mathring{n}$, наряду со слоговыми $\mathring{l}$ и $\mathring{r}$[33]. Обнаружение слогообразующих сонантов $*\mathring{r}$, $*\mathring{l}$, $*\mathring{m}$, $*\mathring{n}$ и выявление их парал-

[32] Между прочим, при критической оценке языковедческого наследия Н. Я. Марра зачастую перечеркивается и то позитивное, что было сделано им в области изучения структуры и истории картвельских языков. Не следует забывать, по крайней мере представителям иберийско-кавказского языкознания, что целый ряд «принципиальных установок» этого направления был выдвинут впервые именно Н. Я. Марром: о смешанном характере сванского языка, о делении картвельских языков на свистящую и шипящую группы, о занском полногласии и др.

[33] См.: K. Brugman, Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache, «Curtius Studien», IX, 2, 1876.

лелизма с сонантами /*w/ и /*j/ содействовало вскрытию сложного механизма аблаутных чередований в индоевропейском и сыграло решающую роль в установлении системы индоевропейских гласных [34].

Однако это открытие К. Бругманна, определившее в дальнейшем весь ход развития сравнительного изучения индоевропейских языков, не было должным образом понято и оценено Г. Курциусом, занявшим резко отрицательную позицию в отношении теории К. Бругманна. Тем самым Г. Курциус, не взирая на все свои прежние заслуги перед сравнительным индоевропейским языкознанием, вошел в историю языкознания как исследователь, «который с достойным сожаления непониманием пытался противостоять прогрессу» [35].

---

[34] См. об этом: F. de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, Leipzig, 1879.

[35] H. Pedersen, The discovery of language. Linguistic science in the 19th century, Bloomington, 1962, стр. 293.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

Я. Б. КРУПАТКИН

ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ФОНЕМЫ И НЕСМЫСЛОРАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОППОЗИЦИИ

1. Уже отмечалось, что при реконструкции аллофонов определенной фонемы считается возможным разделить ее дисперсионное поле то на две части, то на несколько частей, то на теоретически неограниченное число частей [1]. Отсюда был сделан вывод, что диахронисты по-разному пользуются понятием аллофона. Поскольку любой аллофон всегда принадлежит некоторому синхронному срезу, естественно обратиться за помощью к практике синхронистов. Но оказывается, что последняя тоже не отличается единообразием и, как это ни странно, очень сходна с уже известной практикой диахронистов.

Действительно, и при описаниях современных языков возможно установить для данной фонемы то два варианта (а), то конечное число вариантов больше двух (б), то теоретически неограниченное число вариантов (в) В качестве примера к (а) можно взять аллофоны английского *p*: придыхательный, например, в *pit* «яма», и непридыхательный, например, в *spit* «длинная отмель» [2]. В качестве примера к (б) служит описание аллофонов русского *э* в зависимости от качества как предыдущего, так и последующего согласного: наиболее закрытый вариант, например, в *семь*, более открытый вариант, например, в *сел*, еще более открытый вариант, например, в *шесть*, и наиболее открытый вариант, например, в *шест* [3]. В качестве примера к (в) назову варианты немецкого *g*, среди которых есть, например, «звонкое, полузвонкое и абсолютно глухое *g* (даже в тех говорах, где слабые, как правило, звонки), лабиализованное велярное *g* (например, *gut* „хороший", *Glut* „жар, зной"), узко лабиализованное палатальное *g* (например, *Güte* „качество", *Glück* „счастье"), нелабиализованное велярное *g* (например, *ganz* „целый", *Wage* „весы", *tragen* „носить"), нелабиализованное сильно палатальное *g* (например, *Gift* „яд", „*Gier*" „жадность"), умеренно палатальное *g* (например, *gelb* „желтый", *liege* „лежу") и т. д.» [4].

Естественно, что аллофоны одной и той же фонемы, полученные различными путями, имеют между собой мало общего. Так, все реализации английской фонемы *p* можно сгруппировать в два аллофона: придыхательный в *pit* и непридыхательный в *spit*. Но можно еще учесть возникающее в определенной позиции варьирование по напряженности /ненапряженности, и тогда аллофон в *pit* придется оценить как напряженный придыхательный, аллофон в *spit* как ненапряженный непридыхательный, аллофон в

---

[1] Я. Б. Крупаткин, Об аллофонических реконструкциях, ВЯ, 1969, 4, стр. 38—40.

[2] Ch. F. Hockett, A course in modern linguistics, New York, 1958, стр. 63.

[3] Ю. Д. Апресян, Идеи и методы структурной лингвистики, М., 1966, стр. 49—50. См. также более полный список в кн.: Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, стр. 95.

[4] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 46.

upper «верхний» как напряженный непридыхательный [5]. Кроме того, на реализацию согласного влияют, оказывается, тембровые характеристики последующих гласных: существуют передние аллофоны фонемы *p* по соседству с гласными переднего ряда и задние аллофоны по соседству с гласными заднего ряда [6]. Вот почему тот, кто хочет учесть и это обстоятельство, должен отождествить аллофон в *pit* как передний напряженный придыхательный аллофон в *spit* как передний ненапряженный непридыхательный и т. д. При желании можно различать также два «дополнительных члена» фонемы *p*: с носовой смычкой, когда далее следуют *m* или *n*, например, в *topmost* «высший», и вообще без какой-либо смычки, когда далее следуют *t* или *k*, например, в *wrapped* «завернутый» [7].

Таким образом, не только при реконструкции доисторических состояний, но и при описании современных языков аллофонный анализ одних и тех же фактов дает несхожие результаты. И это, по-видимому, означает, что само понятие аллофона, или позиционного (комбинаторного) варианта фонемы, не определено в теоретической фонологии достаточно ясно.

Двойственный подход к комбинаторному варианту хорошо виден в концепции Пражской школы. По словам Н. С. Трубецкого, «фонема — это совокупность фонологически существенных признаков, свойственных данному звуковому образованию ...» [8]. При этом «...ни один звук не может рассматриваться просто как фонема ... Каждый звук содержит..., с одной стороны, фонологически существенные признаки, благодаря которым он становится реализацией определенной фонемы, и, с другой стороны, целый ряд фонологически несущественных признаков, выбор и появление которых обусловлены рядом причин... Все эти различные звуки, в которых реализуется одна и та же фонема, мы называем вариантами (или фонетическими вариантами) одной фонемы» [9]. «Если в том или ином языке два звука встречаются в одной и той же позиции и могут замещать друг друга, не меняя при этом значения слова, то такие звуки являются факультативными вариантами одной фонемы» [10]. «Если два акустически (или артикуляторно) родственных звука никогда не встречаются в одной и той же позиции, то они являются комбинаторными вариантами одной и той же фонемы» [11]. «Таким образом, фонетические варианты являются либо факультативными, либо постоянными; в последнем случае они, естественно, могут быть только комбинаторными... Что касается комбинаторных вариантов, то они функционируют исключительно в экспликаторном плане. Комбинаторные варианты являются, если можно так сказать, фонологически вспомогательным средством. Они сигнализируют либо о границе слова (или морфемы), либо о наличии определенного рода соседней фонемы...» [12]. И далее: «комбинаторные варианты это не только окказионально обусловленные естественные феномены, но и телеологически обусловленные явления, имеющие определенную цель и выполняющие определенную функцию» [13].

---

[5] Н. Д. Арутюнова, Г. А. Климов, Е. С. Кубрякова, Американский структурализм, в кн.: «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 216.

[6] Г. Глисон, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 232.

[7] D. Jones, An outline of English phonetics, Cambridge, 1960, § 499.

[8] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 45.

[9] Там же, стр. 45—46.

[10] Там же, стр. 53.

[11] Там же, стр. 56.

[12] Там же, стр. 58.

[13] Там же, стр. 316. О неуверенности Трубецкого в отношении статуса комбинаторных вариантов в фонологической теории говорят и его слова о том, что выполняемая ими функция сигнализации «не является лишней (хотя она и не необходима)» (там же, стр. 58). Действительно, с точки зрения пражской фонологии, указанная функция не

Итак, с одной стороны, комбинаторный вариант, в качестве разновидности фонетического варианта, рассматривается как звуковая, физическая реальность [14]. А с другой стороны, в нем видят научную абстракцию, он каким-то образом функционирует в экспликаторном плане, является фонологически вспомогательным средством, знаком [15]. Но если верно, что одна и та же сущность не может принадлежать одновременно и уровню физических репрезентаций фонем, и уровню самих фонем, то нельзя ли найти выход в логическом разграничении понятий? Иными словами, попытаемся отграничить комбинаторное варьирование, как, хотя и вспомогательное, но все же фонологическое средство языка, от комбинаторного варьирования, не несущего функциональной нагрузки. По-видимому, в языке, использующем в качестве абстрактных единиц фонологические различительные признаки (РП), первое должно приводить к появлению «фонологического варианта» как научной абстракции, содержащей в себе определенные РП, а второе должно приводить к появлению «акустического варианта» как физического звука речи, содержащего в себе не сами РП, а лишь физические характеристики, репрезентирующие РП. В таком случае речь пойдет о содержательном определении именно фонологического варианта фонемы (ФВ).

2. Пусть ФВ данной фонемы имеет некоторую вспомогательную фонологическую функцию, например, сигнализирует о фонемах, непосредственно примыкающих к данной. Так что вариант находится в отношении такого воплощения к своей фонеме-инварианту, что различия между вариантами сводятся только к различиям в сигналах о непосредственном фонемном окружении. И пусть, далее, имеются два множества РП в составе каждого ФВ. Так что, коль скоро данный ФВ принадлежит совокупности всех ФВ определенной фонемы, он содержит множество всех РП своей фонемы (множество I); но коль скоро данный ФВ сигнализирует о соседних фонемах, он содержит еще и множество некоторых РП соседних фонем (множество II). С учетом этих постулатов, всякий ФВ есть объединение двух множеств РП — множества I всех РП данной фонемы и множества II некоторых РП соседних фонем; тогда как число и репертуар элементов множества I постоянны для всех вариантов данной фонемы, число и репертуар элементов множества II меняются от варианта к варианту. К сожалению, и на тот раз обнаруживается трудность, которая означает, что само по себе логическое разграничение уровней оказывается недостаточным. С одной стороны, рассматривая ФВ как фонологическую единицу, знак, я посчитал все характеризующие его РП фонологически равноправными, т. е. равноправными с точки зрения выполнения ими смыслоразличительной функции.

является необходимой, поскольку надежное отождествление фонемы должно быть всякий раз достигнуто в пределах каждого отдельного сегмента, безотносительно к соседним сегментам. Однако само наличие и характер «фонетических вариантов» говорят об обратном. О лингвистическом значении позиционных вариантов фонем см. также: С. И. Бернштейн, Вопросы обучения произношению, М., 1937, стр. 25; его же, Фонема, БСЭ, 58, М., 1936; Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960, § 36; Р. Р. Каспранский, К проблеме фонемы и ее различительных признаков, «Вопросы германской и романской филологии», М., 1963 («Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», XXVII), стр. 38—39.

[14] Следует заметить, что этот «физический» уровень не эквивалентен подлинной реальности звуковой речи с ее неизбежно индивидуальным (акустическим или артикуляторным) характеристиками речи. Предполагается уже известное обобщение, но обобщение весьма подвижное, позволяющее учитывать любые особенности звучания, обусловленные не только фонемным, но и просодическим окружением.

[15] Фактически речь идет о фундаментальной трудности любой реляционно-физической фонологии; ср.: С. К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 1962, стр. 21—26.

С другой стороны, определяя ФВ, я был вынужден предположить в составе каждого из них два вида РП, относящиеся соответственно к множествам I и II и различающиеся тем, что смена некоторого РП из множества I может привести к превращению одной фонемы в другую, а смена любого РП из множества II не должна приводить к такому результату, откуда следует, что РП множества II *фонологически не равноправны* с РП множества I, не выполняют смыслоразличительной функции и, значит, вообще не могут считаться фонологическими РП [16].

Эту фундаментальную трудность можно назвать антиномией языковой функции, и теперь уже легко указать ее источник. Как известно, в классической фонологии РП выделяются на основе функционального критерия, а единственной языковой функцией считается смыслоразличие. Между тем при введении понятия комбинаторного варианта у Трубецкого, а также понятия ФВ у автора этих строк указанное положение оказалось нарушенным. РП, сигнализирующие о наличии определенного рода непосредственно примыкающих фонем, хотя и считаются функциональными, фонологически, тем не менее рассматриваются как вспомогательные, т. е. не использующиеся в функции смыслоразличения.

Выход из этого фундаментального противоречия может быть предложен в рамках так называемой *системной лингвистики*, как она разрабатывается в последние годы Г. П. Мельниковым. С точки зрения этой концепции, под системой понимается любой объект, в котором можно выделить два вида компонентов: (1) составные части — элементы и (2) связи или отношения, удерживающие элементы в границах целостного объекта. Под структурой системы понимается сеть этих связей и отношений между элементами системы, а под субстанцией — индивидуальные свойства этих элементов, как самостоятельных сущностей. Любая система является оригиналом по отношению к другой системе — модели, если в последней есть что-либо общее с первой. Если общность основана на подобии структур, то модель называется структурной, независимо от того, каковы субстантные свойства ее элементов. В этом смысле любое описание системы, отражающее сеть отношений элементов описываемой системы, является структурной моделью этой системы [17].

Как известно, исходным материалом при выявлении фонемного состава языка являются наблюдения за речевым потоком. Если учесть, что единицы речевого потока не дискретны на оси времени и содержат практически неограниченное число физических признаков, а единицы классической фонологии — фонемы являются дискретными на оси времени и содержат конечное число абстрактных РП, то едва ли можно считать, что фонема является структурной моделью минимальных речевых единиц, наделенных функцией смыслоразличения. Поэтому, утверждая, что фонема репрезентирует не единицы речи, а единицы языка, многие фонологи приходят к выводу о фиктивности фонемы, фонологического уровня в лингвистике и даже языка в целом, поскольку они существуют только на уровне абстрактного научного описания, являются конструктами,

[16] Можно было бы показать, что введение таких понятий, как архифонема или гиперфонема, не позволяет разрешить указанное противоречие. Кстати, подобные выводы уже делались, ср.: Р. Р. Каспранский, указ. соч., стр. 37.

[17] Г. П. Мельников, Системная лингвистика и ее отношение к структурной, в кн.: «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов», М., 1967 (ср. резюме в кн.: «Actes du Xe Congrès International des linguistes», I, Bucureşti, 1969, стр. 389—394); его же, Языковая стратификация и классификация языков, в кн.: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969, стр. 47; его же, Язык как система и языковые универсалии, в кн.: «Языковые универсалии и лингвистическая типология», М., 1969, стр. 35.

принципиально не могут быть непосредственно наблюдаемы и вообще не требуют «постулата о существовании» [18].

Что касается системной лингвистики, то она исходит из другого представления о соотношении между языком и речью. Для нее единицы речевого потока, или звукотипы, являются физическими репрезентациями дискретных единиц, реально существующих на уровне нейронных структур, и именно эти последние, т. е. психологические единицы («церебральные», как их называл И. А. Бодуэн де Куртенэ, или «психичные», по Ф. де Соссюру, но не психологические, как относящиеся к ведению психологии), считаются собственно языковыми. В таком случае единицы классической фонологии должны рассматриваться как дискретные структурные модели психологических единиц, т. е. собственно языковых. В этом смысле фонемы, как они описаны Трубецким и другими фонологами, являются не единицами языка, а единицами структурного моделирования, единицами описания их собственно языковых, психологических оригиналов. Таким образом, в рамках системной лингвистики находят свое место и бодуэновские психофонемы как единицы языка, и фонемы-конструкты как единицы описания, и звукотипы, т. е. речевые единицы, служащие исходным материалом для построения структурных моделей языковых единиц.

По всей видимости, дискретная сущность РП, как языковых единиц, может быть понята, если предположить, что каждому из РП соответствует пара дискретных сигналов, из которых первый является сигналом на органы артикуляции говорящего, а второй свидетельствует о появлении первого — на основании анализа потока звуковой речи слушающим. В этом случае пучок сигналов первого типа представляет собой реализуемую фонему, а пучок сигналов второго типа представляет собой воспринимаемую фонему (хотя ясно, что на уровне речевой реализации фонемы дискретность по необходимости «смазывается»). Но тогда языковыми и, следовательно, фонологическими единицами звукового строя должны быть признаны любые дискретные единицы, представленные парами указанного рода сигналов [19], и в частности, не только те, которые выполняют функцию смыслоразличения, но и те, которые выполняют любую другую обязатель-

---

[18] Ср.: Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, в кн.: «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 274.

[19] Здесь нет возвращения к тем идеям психологизма, несостоятельность которых отмечается современными фонологами. Основной причиной отказа от психологической концепции является то, что психологический аналог фонологической сущности трактуется как некоторое недискретное «представление» о звучании (артикуляции) соответствующих речевых единиц, которые, естественно, не сопоставимы с дискретными фонологическими единицами. Но если иметь в виду психологическую реальность пар дискретных сигналов, соответствующих каждому РП, и дискретных сигналов, свидетельствующих о наличии пучка РП, то такие психологические сущности уже вполне соотносимы с дифференциальными фонологическими единицами. В подтверждение гипотезы о дискретной психологической природе языковых единиц, отражаемых в фонологической теории в виде дискретных единиц описания (т. е. в виде РП и фонем), можно сослаться на результаты экспериментальных исследований по механизмам восприятия речи: оказывается, что наиболее ясную трактовку эти результаты получают тогда, когда механизм опознавания описывается в терминах принятия дискретных «решений», получаемых при анализе (Л. А. Чистович, Б. Б. Аккерминский, В. А. Абульян, Временные задержки при повторении слышимой речи, «Вопросы психологии», 1960, 6, стр. 119). Кстати, хотя представление о фонеме как о пучке РП и подвергалось недавно весьма резкой критике, при этом не было предложено никакой другой модели; см.: Г. В. Воронкова, М. И. Стеблин-Каменский, Фонема — пучок РП?, ВЯ, 1970, 6.

ную в рамках данного языка функцию, например, сигнализируют о соседних фонемах или о границах морфем и слов [20].

Из этого тезиса следуют два вывода, непосредственно относящиеся к предмету данной статьи. Во-первых, представление о ФВ как объединении двух множеств РП (см. выше, стр. 51) перестает быть противоречивым, если оно уточнено иерархией важности функций, выполняемых РП. А именно, множество I включает РП, которые выполняют функцию смыслоразличения (или смыслоразличительные признаки — СП), тогда как множество II включает все остальные функционально важные РП (или несмыслоразличительные признаки — НП) [21]. А во-вторых, первоначальное ограничение функции ФВ (см. выше, стр. 51) должно быть снято. А именно, следует признать, что НП в составе данного ФВ могут сигнализировать не только о СП фонем, непосредственно примыкающих к данной; они могут охватывать любые РП, не смыслоразличительные для всех ФВ данной фонемы. Единственным требованием к этим НП должна быть их функциональность, т. е. выполнение ими какой-то языковой функции в рассматриваемой позиции в слове [22].

Надо сказать, что возможны по меньшей мере три типа отношений между указанными множествами. В одном случае некоторые из элементов множества II могут быть следствием наличия таких дискретных сигналов, которые не используются в рамках множества I; например, появление твердого приступа в русских словах, начинающихся с гласных, когда необходимо обозначить границу между этим словом и предшествующей морфемой (ср. *от Ани* и *о Тане*, где в первом примере имеется твердый приступ) [23]. В другом случае элементы множества II основаны на сигнализировании градаций тех физических характеристик, которыми репрезентируются элементы множества I; например, появление четырех ступеней палатальности русского переднеязычного гласного *э*, в зависимости от окружения (ср. *семь*, *сел*, *шесть*, *шест*, более подробно см. выше, стр. 49). И, наконец, в третьем случае некоторый РП, в зависимости от позиции фонемы, принадлежит то множеству I, то множеству II, так что, переходя во множество II, он лишается смыслоразличительной функции, но берет на себя некоторую вспомогательную функцию; например, он может свидетельствовать о границе морфемы при нейтрализации звонкости в конце русских слов (ср. фонему /з/ в слове *мороз* в выражениях *мороз у нас сильный* и *морозу нас не испугать*, где в последнем примере нейтрализация звонкости в фонеме /з/ отсутствует).

Поскольку третий случай затрагивает нейтрализацию СП, он обычно подробно рассматривается в классической фонологии, тогда как первые два случая остаются практически без внимания. Наличие нейтрализаций

---

[20] Г. П. Мельников, Фонология и понятие конструкта, в кн.: «Фонологический сборник», II, Донецк, 1968; его же, Об одном пути выявления морфонологических единиц, там же.

[21] Г. П. Мельников, Некоторые общие черты вокализма урало-алтайских языков, в кн.: «Исследования по фонологии», М., 1966, стр. 329; его же, Усовершенствование «треугольника» международного фонетического алфавита (МФА) для отражения степени акустической противопоставленности гласных, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 21, 6, 1968, стр. 556.

[22] По-видимому, введение понятия комбинаторного варианта фонемы отражало естественное стремление расширить фонологию таким образом, чтобы в пределах ее рассмотрения учитывались все функциональные, т. е. языковые, единицы. Однако в рамках классической фонологии, где статус минимальной языковой единицы признается только за тем дифференциальным признаком, который выполняет функцию смыслоразличения, такое расширение привело к описанным теоретическим противоречиям (ср. выше).

[23] Г. П. Мельников, Морфологический строй языка и средства словоразграничения, в кн.: «Исследования по фонологии», М., 1966, стр. 278.

ясно свидетельствует о том, что и внутри каждого из рассматриваемых двух множеств отдельные РП не равноценны в отношении своих функциональных возможностей. Нейтрализуемый признак оказывается низшим в иерархической шкале множества I и высшим в шкале множества II. Это явление связано с особенностями звуковой субстанции, которая репрезентирует РП в речи.

Итак, обратившись к системной лингвистике, я оказался перед необходимостью допустить, что в составе ФВ есть некоторые РП, которые, будучи фонологическими, все же не участвуют в смыслоразличении. Хотя идея таких единиц определенно противоречит фонологической теории, она не менее определенно подтверждается фонологической практикой. Удивительным могло бы показаться лишь то, что наиболее ясные свидетельства этому дает диахроническая фонология.

3. Операции с комбинаторными вариантами фонем (аллофонами) заняли видное место в послевоенной диахронической фонологии. С одной стороны, присутствие «надлежащего» варианта считалось необходимой предстадией мутации; с другой стороны, стало почти общепринятым описывать появление фонологического различия через «фонологизацию комбинаторных вариантов». Например, западногерманские ударные *u*, *o* развились из германского *u* таким образом, что перед *-u-* следующего слога и перед «*m*, *n* плюс согласный» победило *u*, тогда как в остальных случаях (т. е. перед *-a-* и *-ō-*) победило *o*, ср. др.-англ. *sunu* «сын», *hund* «сотня» (< **sunuz*, **hund*), но *folc* «народ», *ioc*, *geoc* «иго», *nosu* «нос» (<**fulkan*, **jukan* **nasō*). В этих условиях тот, кто верил, будто фонологическому сдвигу предшествует аллофонная предстадия, восстанавливал для фонемы *u* накануне расщепления комбинаторные варианты [u, o] и описывал дальнейшую фонологизацию как превращение вариантов в «самостоятельные фонемы» [24]. Другой пример. Праанглийское (уэссекское) преломление кратких *æ*, *e*, *i* > *æ a*/*æ*, *eo*/*e*, *iu*/*i* зафиксировано только перед *h* и перед «*r*, *l* плюс согласный», ср. др.-англ. *eahta* «восемь», *earm* «бедный», *eald* «старый» (<**æhta*, **ærm*, **æld*). На этот раз тот, кто опирался на аллофонную предстадию, восстанавливал ее в виде [æa, æ], [eo, e], [iu, i], а дальнейшую мутацию изображал, заменяя квадратные скобки косыми, т. е. как [æa] > /æa/, [eo] > > /eo/ и т. д. [25].

Хотя подобные реконструкции стали привычными, в них обнаруживается существенная трудность. Почему, например, вариант [u] восстановлен как перед *-u-*, так и перед «*m*, *n* плюс согласный»? На каком основании надо считаться с [o] и перед *-ō-* и перед-*a-*? Из каких соображений вариант [æa] предполагают для *æ* не только перед *h*, но также перед «*r*, *l* плюс согласный»? И, наконец, что общего между всеми остальными позициями той же фонемы, где она одинаково представлена вариантом [æ]? Короче говоря, даже если согласиться, будто общее число комбинаторных вариантов фонемы, подлежащей расщеплению, равно двум, то и тогда классическая фонология не может объяснить, почему каждый из таких вариантов восстановлен для далеко не тождественных фонемных окружений. Отсюда следует, что в той мере, в какой различия между комбинаторными вариантами одной и той же фонемы сводятся к различиям в сигналах о фонемном окружении, различие между двумя новыми фонемами на месте одной старой едва ли возникает из различия между двумя комбинаторными вариантами старой фонемы.

В поисках адекватного описания уместно вспомнить, что названные изменения реализовались в процессе пользования звуковым язы-

[24] См.: J. Kuryłowicz. The Germanic vowel system, BPTJ, XI, 1952, стр. 54.
[25] Y. B. Krupatkin, Old English breaking, «Philologica pragensia», XI, 1, 1964, стр. 62—64.

ков — обстоятельство, которое может оказаться весьма существенным. Начнем с первого примера. В системе, где двум долгим фонемам $\bar{u}$, $\breve{u}$ противополагалась одна краткая u, мутация $u > u$, o могла быть направлена на восстановление параллелизма между долгими и краткими [26]. Эта цель должна была определять и судьбу отдельных комбинаторных вариантов исходной фонемы: каждому из них предстояло развитие либо к u, либо к o. Как ясно из предыдущего, то общее, что объединяло варианты перед *-u-* и перед «*m*, *n* плюс согласный» (и противопоставляло их вариантам перед *-ō-* и *-a-*), нельзя описать в терминах РП. Тем не менее, коль скоро звуковые изменения происходили «на устах», общность между указанными комбинаторными вариантами должна была существовать на уровне их а к у с т и ч е с к и х реализаций. По-видимому, и во втором примере положение было в принципе сходным. Мутация имела целью восстановить параллелизм между двумя подсистемами гласных, нарушенный с появлением у долгих оппозиции тембрового скольжения $\bar{æ} \; a : \bar{æ}$, $\bar{eo} : \bar{e}$, $\bar{iu} : \bar{i}$ [27]. Каждому из комбинаторных вариантов исходных $æ$, e, i предстояло, следовательно, развитие либо к $æ$ *a*, *eo*, *iu*, либо к $æ$, *e*, *i*. Правда, то общее, что объединяло, например, комбинаторные варианты фонемы $æ$ перед *h* и перед «*r*, *l* плюс согласный», невозможно описать в терминах РП. Но и на этот раз, поскольку звуковое изменение все же произошло и поскольку оно не могло произойти иначе как «на устах», существование некоторой общей черты на уровне их а к у с т и ч е с к и х реализаций является несомненным [28].

Однако же мутацию нельзя представить как появление различия фонологического смыслоразличительного на месте физического несмыслоразличительного. И вот почему остается допустить, что, н а р я д у с ф о н о л о г и ч е с к и м и с м ы с л о р а з л и ч и т е л ь н ы м и о п п о з и ц и я м и (СО), в я з ы к е д о л ж н ы с у щ е с т в о в а т ь т а к ж е ф о н о л о г и ч е с к и е н е с м ы с л о р а з л и ч и т е л ь н ы е о п п о з и ц и и (НО). Тогда каждое из обнаруженных физических различий типа узкий/неузкий или дифтонгический/недифтонгический следует признать физической репрезентацией различия фонологического, т. е. физической репрезентацией некоторой НО. А сами мутации описываются уже не через «фонологизацию комбинаторных вариантов» (см. выше, стр. 55), а через превращение НО в СО — по формуле $A : B > A_1 : B_1$ [29].

---

[26] J. K u r y ł o w i c z, указ. соч.; ср. также: B. T r n k a, Fonologický vývoj germanského vokalismu, «Časopis pro moderní filologii», 22, 1936, стр. 156—157.

[27] В. Я. П л о т к и н, Динамика английской фонологической системы, Новосибирск, 1967, стр. 18—26. Ср. также: K. B ü l b r i n g, Altenglisches Elementarbuch, Heidelberg, 1902, § 130, примеч. 1; G. T. F l o m, Breaking in Old Norse and Old English, «Language», XIII, 2, 1937, стр. 131; J. F o u r q u e t, Le système des éléments vocaliques longs en vieil-anglais, «Mélanges de linguistique et de philologie. Fernand Mossé in memoriam», Paris, 1959, стр. 151.

[28] Может показаться не вполне последовательным, что я р а з л и ч а ю комбинаторные варианты, например, перед *-u-* и перед «*m*, *n* плюс согласный» (или перед *-a-* и перед *-ō-*), но в то же время о б ъ е д и н я ю их физические реализации. Однако в первом случае речь идет о невозможности обобщать разные дискретные сущности в пределах одного и того же уровня абстракции, тогда как во втором допускается обобщение недискретных сущностей при переходе от уровня физического к абстрактному (ср. ниже о понятии фонологической несмыслоразличительной оппозиции).

[29] Ср.: R. J a k o b s o n, Selected writings, I, Phonological studies, 's-Gravenhage, 1962, стр. 205. Будущий историк обратит внимание, что в одной из довоенных статей об умлауте говорится о фонологизации фонетических «различий» и даже фонетической «оппозиции» (W. E. T w a d d e l l, A note on Old High German umlaut, «Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur», 30, 1938, стр. 179—181), тогда как в послевоенной статье на ту же тему идет речь уже о фонологизации «аллофонов» (H. P e n z l, Umlaut and secondary umlaut in Old High German, «Language», 25, 3, 1949, стр. 240).

То обстоятельство, что у пионеров диахронической фонологии эта формула в случае фонологизации означает «между A и B нет фонологического различия, тогда как между A_1 и B_1 оно имеется» [30], выглядит вполне естественным. Иначе и не может быть в рамках теории, где фонологическими считаются только СО.

Ясно, что понятие НО противоречит самым основам классической фонологии [31]. И все же оно представляется достаточно оправданным не только с позиций логики. Во-первых, присутствие в языке НО хорошо согласуется с опытом историко-фонологических реконструкций. Парадокс состоит в том, что, оперируя давно исчезнувшими формами, диахронист бывает вынужден в большей мере, чем синхронист, учитывать з в у к о в у ю реальность языка. Когда при изложении развития $u > u$, *о* фонолог описывает «вокалические оттенки (vocalic timbres) *ŏ* и *ŭ*, бывшие до того вариантами единой фонемы *u*» [32], он ведет речь не о комбинаторных вариантах, а о физической репрезентации некоторой НО. Если в течение сорока лет формула $A : B > A_1 : B_1$ верой и правдой служит получению новых результатов, то только потому, что и н т у и т и в н о фонологи считаются с функциональным различием в обеих частях формулы.

Во-вторых, и я надеюсь это сейчас показать, учет НО позволяет, по-видимому, давать объяснение там, где оно еще не было получено.

Из рассмотренных примеров фонологизации косвенной (или парадигматической, без изменений в окружении [33]) особенно ясно, что звуковое изменение есть смена «значимостей». Однако если гипотеза о НО имеет основание, присутствие НО должно обнаруживаться и в случае фонологизации непосредственной (синтагматической). Для проверки удобно обратиться к *i*-умлауту, который в германских языках означал палатализацию или сужение корневого гласного перед *-i-*, *-j-* следующего слога (ср. др.-англ. *here* «войско», но гот. *harjis*, *brūd* «невеста», но гот. *brūþs*, др.-в.-нем., др.-сакс. *gesti* «гости», но *gast* «гость» и др.). Поскольку такое *-i-*, *-j-* обычно выпадало или редуцировалось в *-e-*, умлаут служит образцом непосредственной фонологизации и описывается как к о м п е н с а ц и о н н ы й перенос СП с безударного гласного на ударный. Но в этой, казалось бы, стройной трактовке есть противоречие: если позиционная окраска корневого гласного была обусловлена безударным *-i-*, *-j-*, то почему с исчезновением или изменением *-i-*, *-j-* эта окраска не только не исчезала, но к а к и м - т о о б р а з о м даже закреплялась в качестве СП? [34]. Противоречие, однако, разрешается, и указанные факты получают объяснение, если допустить присутствие в языке НО, т. е. если допустить, что суще-

---

В связи с отказом описывать фонологизацию через «фонологизацию комбинаторных вариантов» мне было приписано мнение, будто «...реализациями фонем, аллофонами и вообще звуковой реальностью в истории языка следует полностью пренебречь...» (Г. В. В о р о н к о в а, М. И. С т е б л и н - К а м е н с к и й, указ. соч., стр. 26). Настоящей статьей я надеюсь показать, что в действительности дело со «звуковой реальностью» может обстоять как раз наоборот.

[30] R. J a k o b s o n, указ. соч., стр. 207.

[31] О «несмыслоразличительных» оппозициях писалось и раньше, но они оценивались как «фонологически несущественные» (см.: Н. С. Т р у б е ц к о й, указ. соч., стр. 38).

[32] J. K u r y ł o w i c z, указ. соч., стр. 54.

[33] По Е. Куриловичу, краткие *o* и *u*, бывшие до того вариантами фонемы *u*, становятся «косвенно» автономными благодаря фонологическому различию между соответствующими долгими $\bar{o}$ и $\bar{u}$. Их «непосредственная» автономность достигается позже, благодаря выпадению гласного в безударном слоге (J. K u r y ł o w i c z, указ. соч.). О косвенно-фонологических и непосредственно-фонологических оппозициях ср.: Н. С. Т р у б е ц к о й, указ. соч., стр. 40—41.

[34] См.: «Материалы Первой научной сессии по вопросам германского языкознания», М., 1959, *стр. 105, 107—112, а также хронику о IV семинаре по диахронической фонологии германских языков* (ВЯ, 1968, 5, стр. 146).

ствовавшее накануне сдвига звуковое различие в реализациях корневых фонем было физической репрезентацией НО типа умлаутный/неумлаутный и, значит, имело не «механическую», а функциональную обусловленность. На самом деле, из отрицания «механической» связи между редукцией *-i-*, *-j-* и умлаутом в корне следует, что (1) ранняя редукция *-i-*, *-j-*, не в состоянии устранить позиционную окраску корневого гласного и (2) ранняя фонологизация в корне возможна и при сохранении безударного *-i-*, *-j-*. То обстоятельство, что оба предсказания подтверждаются формами *памятников, хорошо свидетельствует в пользу сделанного допущения.*

Понятие НО согласуется с представлением о НП (см. выше, стр. 54), поскольку любой такой НП всегда есть терм соответствующей НО. Отсюда я заключаю, что, в пределах рассмотренного материала, теоретические положения системной лингвистики подтвердились практикой диахронической фонологии, а практика диахронической фонологии получила обоснование в идеях системной лингвистики.

4. К *сказанному можно* сделать следующие дополнения.

Обычно полагают, что различение данной фонемы обеспечивается специфическим составом ее (смыслоразличительных!) признаков, т. е. на парадигматической оси. Однако, как можно было видеть выше, и на синтагматической оси существуют средства, способствующие различению фонем и, следовательно, содействующие выполнению языком его общественной функции. Если это верно, то подобного рода средства (хотя они и не являются смыслоразличительными) также должны рассматриваться в фонологии.

Коль скоро ФВ фонемы-конструкта есть тоже конструкт, в акте речи каждую такую фонологическую репрезентацию фонемы следует отличать от физической репрезентации фонемы (точнее, от физической репрезентации соответствующего ФВ) типа «акустического варианта фонемы» (АВ) [35]. То обстоятельство, что с о д е р ж а н и е м ФВ являются абстрактные СП и НП, а содержанием АВ являются гармоники, форманты, шумы, предполагает несколько важных следствий. (1) Тогда как все ФВ данной фонемы имеют одно и то же постоянное ядро, ее АВ фактически могут не иметь между собой ничего общего. (2) Тогда как все ФВ фонемы *a* противостоят всем ФВ фонемы *b*, некоторый АВ фонемы *a* может иметь больше сходства с некоторым АВ фонемы *b*, чем с другими АВ фонемы *a*. (3) Тогда как на оси времени любой ФВ характеризуется сегментностью, АВ последующей фонемы может начинаться и до окончания АВ предыдущей фонемы (точнее, предыдущего сегмента).

Нет *оснований* употреблять термин дескриптивной лингвистики «аллофон» вместо пражских терминов «вариант фонемы» или «комбинаторный вариант фонемы». Дело в том, что последние два определяются не только дистрибутивно, но и с о д е р ж а т е л ь н о (а «комбинаторный вариант» еще и функционально); напротив, «аллофон» определяется только своей дистрибуцией. Интересно, что благодаря понятию НО, с о д е р ж а т е л ь н ы й критерий вносится и в различие между комбинаторными и факультативными вариантами. Создатели фонологии усматривали это различие в том (ср. выше, стр. 50), что первые постоянны и не встречаются в одной и той же позиции, а вторые замещают друг друга, не меняя при этом значения слова. Теперь же видно, что только в случае комбинаторного варианта, а точнее — ФВ, все элементы множества II есть термы НО.

Как установить, что данное звуковое различие следует признать физической репрезентацией различия фонологического, хотя и не смыслоразличительного, т. е. физической репрезентацией некоторой НО? Как опре-

[35] Ch. F. H o c k e t t, указ. соч., стр. 116—117.

делить языковую функцию данной НО и как проверить, что эта функция приписана ей достаточно объективно? Способы выявления языковых несмыслоразличительных функций, проверка конкурирующих гипотез относительно этих функций делаются на основании учета языковой детерминанты [36]. В дальнейшем это будет проиллюстрировано при описании детерминанты германского строя, с привлечением известных явлений звуковой эволюции. У настоящей статьи цель иная: привлечь внимание к самому факту существования в языке НО и показать, что, благодаря учету этих НО, *может быть достигнуто единство синхронической и диахронической точек зрения.*

Не следует думать, будто признание НО перечеркивает все реконструкции в терминах «аллофонных» преобразований. О внешних признаках тех из них, которые можно легко представить через НО, уже говорилось [37]. Если просмотреть существующие реконструкции, то окажется, что в большинстве случаев авторы (хотя и неосознанно, интуитивно) исходили из *общего представления о системе фонем и иерархии функций в ней.* Чаще всего определенный «аллофон» реконструировали именно потому, что «чувствовали» его функциональность и до мутации. Фактически в этих условиях при проявлении новых различий речь шла уже не о «фонологизации аллофонов», а о превращении НО в СО. Важным критерием при оценке фонологической реконструкции является внимание к цели (или функции) мутации. Как было показано, именно в соответствии с целью фонологизации, физическое различие становится репрезентацией некоторой НО (см. выше, стр. 56). Вот почему внимание к цели мутации — это внимание к тем вспомогательным фонологическим функциям, благодаря которым и существуют НО. Требование искать цель мутации есть по сути дела требование установить характер той НО, дальнейшее преобразование которой явилось содержанием мутации, и наоборот.

[36] Ср.: Г. П. Мельников, Языковая стратификация..., стр. 47.
[37] Я. Б. Крушаткин, указ. соч., стр. 42, примеч. 23.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

А. С. ЛИБЕРМАН

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ФОНОЛОГИИ И РЕАЛЬНОСТЬ РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ

Некоторое время назад Г. В. Воронкова и М. И. Стеблин-Каменский выступили со статьей, в которой поднимаются основные вопросы теоретической фонологии [1]. В чем суть различительного признака? Являются ли фонемы пучками таких признаков? Реальны ли процедуры диахронической фонологии? Все эти и многие другие аналогичные вопросы могут быть решены лишь в том случае, если будут ясно описаны приемы выделения основных фокологических единиц. Фонологическим единицам и методике работы с ними и посвящена настоящая работа.

I. Главный процедурный вопрос синхронической фонологии состоит в том, чтобы установить «порядок действий» фонологического анализа. Как и в какой последовательности производить операции над звуковым потоком, в котором еще не выделены фонемы? Широкое распространение получили рекомендации, данные пражцами. По Трубецкому, сначала надлежит выделить оппозиции (например, *гот* ~ *кот*), затем определить фонемы (/г/ ~ /к/) и наконец, признаки (звонкость ~ глухость). Однако на непосредственного сравнения слов типа *гот* ~ *кот* нельзя узнать, на какие элементы членятся эти слова, а следовательно, нельзя и узнать, чем они отличаются [2].

В иерархии лингвистических единиц фонема стоит выше признака, поэтому в идеале фонологический анализ должен был бы начинаться с выделения признаков, чтобы потом из признаков собрать фонемы [3]. Но этот идеал недостижим, так как невозможно получить набор признаков, не располагая какими-то оправданными теорией процедурами; однако если мы только делаем п е р в ы й шаг, то откуда же взяться таким предварительным процедурам? Вообще легко видеть, что как бы мы ни комбинировали три фонологических компонента: различительный признак, фонема, оппозиция,— мы всегда сумеем вывести любые два из третьего, но именно третий, исходный окажется невыведенным.

Как известно, методология пражцев разделяется далеко не всеми. Представители разных направлений, таких несхожих, например, как американская дескриптивистика и глоссематика Л. Ельмслева, начинают изучение текста с дистрибуций, чтобы объединить в фонемы те элементы, которые распределены по взаимоисключающим контекстам. Однако и такая процедура не подходит для вычленения фонем, поскольку дистрибуцию любых единиц можно изучать лишь после того, как сами единицы уже отделены друг от друга в парадигме и в синтагматической цепи.

---

[1] Г. В. Воронкова, М. И. Стеблин-Каменский, Фонема — пучок?, РЯ, ВЯ, 1970, 6.

[2] Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960. стр. 38.

[3] П. С. Кузнецов, О дифференциальных признаках фонем, ВЯ, 1958, 1, стр. 56.

Несмотря на огромную разницу между методами пражцев и дескриптивистов или глоссематиков, всех этих ученых роднит настойчивое желание выделить фонемы, не выходя за пределы фонологического уровня. Но опыт почти полувековой работы показал, что подобный план неосуществим и что надежда Н. С. Трубецкого, Л. Блумфилда, Л. Ельмслева и их последователей установить состав фонем, не обращаясь к морфологии (а в крайнем случае, даже к семантике), представляет собой величайшую фонологическую утопию. Несбыточность этой надежды была, в частности, всегда ясна Л. В. Щербе и представителям его школы.

Л. В. Щерба и его ученики начинают исследование звукового состава языка с морфологического анализа. Фонема, по их мнению, вычленяется потому, что может служить морфологическим средством языка: ср. русск. *сад* ~ *сад-а*, где /а/ — окончание, или нем. *binden* — *Band*, где /i/ ~ /a/ — внутренняя флексия [4]. Не менее важно и то, что в русском языке (и в ряде других языков) слоговые границы в определенных случаях не совпадают с морфологическими [5]: ср. *до-ма*, где /м/, которое в форме *дом* никакими процедурами невозможно оторвать от гласного, доказывает свою самостоятельность тем, что сохраняется во второй форме как элемент морфемы *дом-*, но оказывается с /о/ по разные стороны слоговой границы.

Приведенные рассуждения едва ли могут быть опровергнуты. При первом шаге фонологического анализа необходимо убедиться, действительно ли в изучаемом языке существуют фонемы. Без выяснения этого обстоятельства никакая дальнейшая работа невозможна. Но не следует требовать от первого же шага слишком многого. Он способен доказать членимость речевого потока на фонемы, но не способен дать набор фонем. Мы отделили *-а* от корня в формах *сада* и *дома*, но мы еще не знаем, что конечное *-а* первого слова — та же фонема, что *-а* второго: ведь в одном и том же падеже слова мужского рода не обязательно должны всегда иметь одно и то же окончание. Мы даже не знаем, однофонемно или это *-а*. Поэтому едва ли есть необходимость сразу же вводить в фонологию понятие остаточной выделимости и говорить, что, хотя фонема /х/, например, никогда не функционирует в русском языке в качестве морфемы, в слове *ха* она выделяется по той причине, что /а/ может быть морфемой. Самих фонем у нас пока нет, и мы еще не можем ни узнать фонему в разных контекстах, ни отличить ее от других фонем. Наше членение формы /дом/ как /д/ + /о/ + /м/ полуинтуитивно, так как удалось лишь /м/ оторвать от /до/.

На первом этапе достаточно знать, что в исследуемом нами языке действительно есть единицы меньшие, чем слог. Все фонемные языки будут для нас принципиально одинаковыми по типу. Именно поэтому английский язык допустит те же процедуры анализа, что и русский, хотя, в отличие от русского, в нем почти нет однофонемных окончаний. Но те, которые есть (/t d/, /s z/ и /ə/), а также внутренняя флексия и многочисленные случаи типа *read* ~ *reader* (морфологически *read-er*, при слогоделении *rea-der*) свидетельствуют о том, что английский — фонемный язык и что, следовательно, и в нем мы должны научиться отличать разные фонемы друг от друга и опознавать их в любом контексте.

Сказанное выше можно суммировать так: всем парадигматическим действиям с фонемами должна предшествовать синтагматическая операция первоначального членения речевого потока на концах морфем. При этом обнаруживается принципиальная разница между гласными и согласными. Гласные могут функционировать самостоятельно, в то время как согласные, даже если и служат предлогами, союзами, частицами, способны быть

[4] Л. Р. Зиндер, указ. соч., § 21.

[5] М. В. Гордина, О различных функциональных звуковых единицах языка, в кн.: «Исследования по фонологии», М., 1966, стр. 177—178.

лишь частями большого фонетического слова (с проклитиками и энклитиками), ибо минимальной фонетической единицей речи является слог.

Легко сразу найти и выстроить в какую-то систему пять гласных русского языка: /э и у о а/. Можно в предварительном порядке установить и их различительные признаки, а следовательно, научиться опознавать их в любом контексте. Но возникает сомнение, все ли гласные мы нашли таким способом. Сравним, например, слова *пол* и *Поль*. Теоретически не исключено, что они отличаются именно гласными (как *пол* ~ *пал*), хотя мы их и не обнаружили в открытом слоге. Чтобы удовольствоваться полученной выше системой, надо еще доказать, что открытый слог есть позиция максимального различения для гласных. Для доказательства сравним формы родительных падежей тех же слов: *пола* и *Поля*. Поскольку мы уже знаем различительные признаки гласных, то, убедившись, что и в форме *пола*, и в форме *Поля* стоит на конце самый открытый из всех возможных в данной позиции гласных, мы без труда определим, что перед нами реализации одной и той же фонемы /а/. Но если в формах *пола* ~ *Поля* одинаковые поствокальные согласные и одинаковые окончания, значит, и в них сохранилось противопоставление корневых гласных (иначе эти слова перестали бы отличаться). При слогоделении же в формах *по-ла*, *По-ля* ударные гласные оказываются в открытом слоге, и мы видим, что если какие-то корни вида ГС имеют разные гласные, то при словоизменении, когда образуются комплексы вида Г-СГ, эти гласные продолжают различаться, даже попав в открытый слог. Таким образом, выясняется, что в русском языке в закрытом слоге действительно не может оказаться гласных больше, чем в открытом, и что, поскольку мы не нашли двух разных /о/ в открытых слогах, их не может оказаться в словах типа *пол* ~ *Поль*.

Аналогичная ситуация существует во всех языках, где нет никаких запретов на открытые слоги, и только для них справедливо правило Е. Куриловича, гласящее, что слогом может быть лишь такое фонологическое образование, которое способно функционировать в данном языке в качестве самостоятельного слова.

В принципе, получив все гласные, мы могли бы найти и согласные, сравнивая слоги *ба*, *ва*, *га* или *ал*, *ам*, *ан*: гласные мы бы опознали по различительным признакам, а согласные вычленились бы за счет остаточной выделимости. Но у выделенных таким образом согласных невозможно было бы установить различительные признаки (все фонемы просто отличались бы друг от друга, как буквы в алфавите) или различительные признаки были бы им приписаны произвольно (как, в значительной мере, случилось с гласными). И, кроме того, мы не могли бы доказать, что нашли все искомые фонемы, ибо нет такой позиции, о которой бы мы заранее знали, что она служит позицией максимального различения для согласных. Обнаружение согласных представляет собой задачу, несравненно большей трудности, но и гораздо более плодотворную, чем обнаружение гласных.

Приступая к выполнению этой задачи, необходимо принять следующие положения: *1)* с самого начала, совершенно независимо от результатов фонологического описания, мы можем сказать, одинаково или неодинаково значение любых двух элементов данного языка, *2)* мы в состоянии отличать омонимы от не-омонимов, *3)* если изменилось значение какого-то элемента, значит, изменился его фонологический состав. Все эти положения не аксиомы, а простые следствия того, что фонема связана со смыслом. Особенно важен последний, третий тезис; однако следует иметь в виду, что из него невыводима обратная теорема: если изменилось значение, значит, изменился фонологический состав формы, но изменение фонологического состава не обязательно приводит к изменению смысла, и именно в этой необратимости кроются исключительные возможности для фонологии. По-

скольку ассоциативный анализ типа *гот* ~ *кот* не позволяет выделить фонем (в этих словах изменяется и звучание, и смысл),надо постараться найти единицы, которые бы меняли состав своих фонем при постоянном значении. В языках типа русского идеальными единицами такого рода являются морфемы.

Рассмотрим парадигму типа *пол — пола — полу — полом*. Бесспорно, что все четыре формы состоят из корневой морфемы *пол-* плюс окончание и имеют фонетически разные звуки после ударного гласного: в первой форме [л] имеет [ы]-образный резонанс, как все конечные твердые согласные в русском языке, в остальных формах [л] окрашено в тона гласных [ъ] или [у]. Варьируется от формы к форме и произношение корневого гласного. Перед нами пример позиционного чередования: одна и та же морфема несколько видоизменяет свой звуковой состав под влиянием контекста. И. А. Бодуэн де Куртенэ называл разные [о] и разные [л], как в нашем примере, дивергентами и объяснял, что дивергенты составляют одну фонему. Фонема и была введена в языкознание как инвариант, покрывающий живые колебания звуков внутри одной и той же морфемы.

На первый взгляд кажется, что для изучения разных [л] перед паузой и перед разными гласными нам совершенно не нужна морфема и что, чем сравнивать *пола* ~ *полу*, проще сопоставить слоги *ла* ~ *лу* и прийти к тем же выводам, к которым пришел И. А. Бодуэн де Куртенэ. Но в том-то и дело, что без морфем мы не можем подобрать пару *ла* ~ *лу*. Почему мы сравниваем *ла* именно с *лу*, а не с *му*, *ру* или *ду*? Ведь они все — разные «слова». Очевидно, пара *ла* ~ *лу* удовлетворяет нас тем, что у ее членов одна фонема совпадает, а другая — нет. Но мы еще не умеем узнавать согласные фонемы и поэтому еще не знаем, что у *ла* и *лу* одинаковое начало.

Лингвист, сравнивающий *ла* с *лу*, незаметно для себя забегает вперед и пользуется результатами несделанной работы. Ошибку лингвиста легко понять. Он, как и всякий другой человек, владеет системой своего языка и все ответы (и о фонемах, и о признаках) знает с самого начала, лишь усилием разума заставляя себя забыть эти ответы.

Всякое чередование означает варьирование некой единицы, и бессмысленно говорить о чередовании, не задаваясь вопросом о том, что именно подвергается видоизменению. Любые два элемента речевой цепи чем-то похожи друг на друга, а чем-то отличаются, так что о них можно сказать, что они чередуются. Например, [м] слова *море* чередуется с [м] слова *мало* (они стоят перед разными гласными), но то же [м] чередуется и с [о], и с [р], и с конечным гласным слова *мало*, так как они все разные, и все стоят в разных позициях. Очевидно, что из подобных «чередований» нельзя ничего узнать о системе языка. Но когда мы начинаем сравнивать [л^{ъ}] в слове *пола* с [л^{у}] в слове *полу* (маленькой надстрочной буквой обозначена тембровая окраска [л]), становится ясно, что перед нами варьирование вполне определенной единицы, а именно конечного элемента морфемы *пол-*, т. е. настоящее чередование. Мы воочию убеждаемся, что изменения тембра согласного не разрывают тождества морфемы, и можем с уверенностью объединить [л^{ъ}] и [л^{у}] в одну фонему.

Первые трудности возникнут перед нами тогда, когда к ряду *пол — пола — полу — полом* мы припишем форму (*о*) *поле*. Действительно, формой какого бы русского слова ни являлась звуковая цепочка *пола*, она морфологически разложима только на части *пол* + *а*. В противоположность ей, комплекс (пол'ъ] (мягкий знак в транскрипции означает редуцированный гласный) может с морфологической точки зрения скрывать в себе *пол* + + *е* (форма слова *пол*) и *пол'* + *е* (формы слов *поле* или *Поль*); в его корне как бы утоплены две совершенно различные морфемы. И именно эта двусмысленность свидетельствует, что мы прорвали зону рассеивания фонемы

/л/, так как появилось новое значение, которому неоткуда было бы взяться, если бы продолжала варьироваться все та же фонема. Ср. еще пример с грамматизованным чередованием: *нога — ногу — ножек*, где *ноже-* в *ножек* скрывает видоизменения двух морфем: *ног-* (как в *ножек*) и *нож-* (как в *ножик*).

Благодаря варьированию дивергентов внутри морфемы мы получаем предварительную возможность переосмыслить фонему как инвариант, как единицу кода, оторванную от своего контекста. Кроме того, впервые возникает обоснованная механизмом языка идея релевантного признака. Мы, например, видим, что последний элемент морфемы *род-* сохраняется как фонема в формах *рода*, *роду*, но переходит в другую фонему в форме *роде* (**родь* — потенциальное русское слово; ср. *грудь*, *падь*), следовательно, веляризация перед [ъ] и лабиализация перед [у] иррелевантны для него, а палатализация — релевантна. Из формы *род* [рот], которая может быть оболочкой морфем *род-* и *рот-*, мы устанавливаем для данного элемента релевантность звонкости. Особый, совершенно исключительный интерес представляет собой чередование типа *род ~ рожать*. Комплекс [рож] может быть формой чередования трех морфем сразу: *род-* (ср. *рож-ать*), *рож-* (ср. *рожь* или *рож-а*) и *рог-* (ср. *рож-ок*). Поэтому мало сказать, что конечный элемент в [род] смычный, а в [рож] — щелевой: и в [рот], если сравнить его с [рож], конечный элемент — смычный, а между тем *род-* и *рог-* — разные морфемы и должны быть охарактеризованы по-разному. Сложным путем мы приходим к выводу о релевантности места смычки у /д/ (и у /г/).

Итак, ни разу не выйдя за пределы *морфемных чередований*, мы установили, что для финали морфемы *род-* фонологически существенны твердость, смычность, переднеязычность и звонкость. Даже ее монофонемность подчеркивается ее чередованием с [жд] (*родить ~ рожу ~ рождать*). Теперь мы можем говорить о ф о н е м е /д/ как о пучке указанных выше различительных признаков.

Подобно пучку различительных признаков, архифонема — тоже побочный продукт теории чередований. Когда мы исследовали ряд *пол — пола — полу — полом — (о)поле*, мы заметили, что только корень последней формы двусмыслен и что у нас неожиданно прибавилось значение (откуда мы заключили, что прорвали зону рассеивания фонемы /л/). Но если мы возьмем ряд *Поль — Поля — Полю — Полем — (о)Поле*, о форме [пол'ъ] (*Поле*) можно сказать совершенно то же самое — только здесь прорвана зона фонемы /л'/. Звук [л'] формы [пол'ъ], *принадлежащий обеим морфемам*, не принадлежит, как выясняется, ни одной из двух фонем. Архифонема оказывается единственно возможным решением этого парадокса. Если же признать, что [л'] в форме *поле* (или *Поле*) — это вариант фонемы /л'/, то одна фонема будет у нас ассоциироваться с двумя значениями сразу (ибо *пол* и *Поль*, неразличимые в предложном падеже, несомненно содержат разные значения), и мы вступим в противоречие с важнейшим своим исходным тезисом («если изменилось значение какого-то элемента, изменился и его фонологический состав») и допустим, что, хотя в форме [пол'ъ] больше значений, чем в форме *пола*, фонема в обеих формах осталась той же.

II. Успешный анализ фонологического содержания фонемы /д/ не может скрыть от нас того обстоятельства, что далеко не всегда удается установить полный набор различительных признаков фонемы, исходя только из морфологических чередований. Рассмотрим формы *лоб — лба — (о) лбе* и *лов — лова — (о) ловe*. Можно без труда установить, что /б/ — звонкий твердый согласный. Но точно такую же характеристику получит /в/. Поскольку эти две фонемы никогда не чередуются в пределах одной морфемы (как /д/ — /ж/ или /г/ — /з/), мы не можем установить из непосредст-

венного наблюдения, чем они отличаются. В связи с этим возникает сомнение, все ли признаки /д/ нам удалось получить.

Проверить характеристику фонемы /д/ несложно. Для этого надо описать на основе чередований все русские согласные и сравнить полученные пучки различительных признаков. Очевидно, что все те пучки, которые встречаются только один раз, достаточно характеризуют фонему; в частности, пучок «твердость, смычность, переднеязычность, звонкость» встречается лишь один раз. В аналогичном положении окажутся многие согласные фонемы. Но фонемы /б в/, /б', в'/, /п ф/ и /п' ф'/ получат попарно одинаковые определения. Еще большие сложности возникнут с сонорными.

Отмеченный факт симптоматичен. Он говорит не о том, что чередования — ненадежная опора для выделения дифференциальных признаков, а о наличии в фонологической системе разных слоев, совершенно незаметных на первый взгляд (*дам ~ там* — такая же минимальная пара, как *дам ~ ~ вам*). Чередования просто указывают на необходимость стратификации системы фонем. В системе обнаруживаются сравнительно компактное ядро, которое достаточно охарактеризовано морфологическими чередованиями, и обширная периферия. Мысль о наличии в фонологической системе ядра и периферии давно известна из работ И. Вахка, но до сих пор оставалось непонятным, чем вызвано такое членение.

Исследуя чередования, мы установили набор различительных признаков, и стало, в принципе, ясно, какая фонетическая реальность стоит за каждым из них. Теперь мы можем попытаться отграничить друг от друга фонемы периферии, подобрав им признаки из общего списка. Русские /б/ и /в/ получили одинаковый набор признаков. Можно, исходя из фонетического впечатления, назвать /б/ смычным, а /в/ — щелевым, но это будет более или менее произвольное решение, и нам придется всегда помнить, что /б/ отличается от /в/ совсем не так, как /г/ от /х/ (ср. *мягок — мягче* [-*х*-] — *мякоть*), ибо смычность /г/ и спирантность /х/ наглядно доказаны механизмом языка, а смычность /б/ и спирантность /в/ приписаны им в последний момент.

На крайней периферии системы находятся сонорные. Сонорность, или способность образовывать слог,— это просодический, а не внутренний («интерентный») признак фонем. Он устанавливается эмпирически и позволяет четко отграничить сонанты от многочисленного класса шумных. В русском языке сонорные не чередуются в пределах морфемы ни с шумными согласными, ни друг с другом. Так, о русском /н/ можно с уверенностью сказать лишь, что оно твердое. Но не более того удается установить о /л м р/. И все же они отличаются друг от друга. Надо сразу заметить, что с фонологической точки зрения термины: носовой, латеральный, плавный, дрожащий, увулярный и т.п. — совершенная тавтология. Все равно, назовем ли мы /р/ дрожащим или скажем, что /р/ — это /р/. В списке признаков русских согласных нет ни назальности, ни латеральности, ни дрожащести. Поэтому естественнее назвать /н/ переднеязычным сонорным, /м/ — сонорным, для которого иррелевантно положение языка (нам неоткуда взять билабиальность), /л/ — щелевым сонорным, а /р/ — определить чисто отрицательно (не /л/, не /м/, и не /н/). Правда, в русском языке есть чередования типа /м/ — /мл/ (*томить — томлю*) и /н/ — /мн/ (*память — помню*), которые подтверждают фонологическое отличие /м/ от язычных /л/ и /н/, но эти чередования мало существенны, так как подчеркивают искомое различие лишь синтагматически.

Систему согласных фонем русского языка, как и консонантные системы всех языков, принято изображать на плоскости. Однако ближе к истине была бы схема в виде нескольких концентрических кругов. В самый глубокий круг попали бы «ядерные» фонемы, во второй — фонемы /б п в ф/ и

их палатализованные корреляты. В третий — сонорные /л м н/ и /л' м' н'/ (они почти совсем не идентифицируются из чередований), и в четвертый — /р р'/, которым невозможно даже приписать какого бы то ни было различительного признака и которые определены чисто отрицательно. В разных языках сходные по акустическому впечатлению фонемы попали бы в разные круги, менялся бы состав и объем ядра, несколько варьировалось бы даже количество кругов. Сравнение таких «орбитальных» схем было бы лучшим основанием для типологического сравнения, чем сравнение схем плоскостных, обычно чрезвычайно похожих друг на друга во всем, кроме количества элементов.

Отпали бы и некоторые вопросы, кажущиеся сейчас почти неразрешимыми, например, вопрос о /г'/ в русском. Если отвлечься от нелитературных форм типа *жжет*, *берегет* и от сомнительных деепричастий вроде *берегя*, то никакая форма русского слова не раскроется как видоизменение морфемы на -[гʲ] и на -[г']. Следовательно, фонема /г'/ в ядро не попадет. Но на более поздних этапах анализа она всплывет в иноязычных словах и именах (*гяур*, *Гюльсары*, *гёзы* и т. п.) и может быть включена как фонема, принадлежащая одному из дальних кругов. Видимо, на вопрос о том, есть некая фонема в языке или нет, не всегда достаточно ответить «да» или «нет»; в каких-то случаях необходимо сказать «да», но при этом оговорить ее место в системе. Очевидно, что пропорция типа /д/: /д'/ = /т/: /т'/ = /г/: /г'/неверна, но неполон и список русских фонем без /г'/.

Итак, второй шаг фонологического анализа увенчался тем, что мы получили многослойную систему фонем, выраженных в виде пучков различительных признаков (т. е. код), и полный набор самих признаков. Правда, физически эти признаки были определены нами на глазок. Действительно ли /д/ отличается от /ж/ тем, что оно смычное, а от /т/ тем, что оно звонкое? Удачно ли выбраны для опоры такие свойства согласных, как место и способ образования преграды? Точное установление отличия — дело исключительной сложности, совместная задача фонологов, психолингвистов и физиологов, и здесь не место говорить о ней подробнее. Замечу лишь, что для определения истинного различительного признака самое главное — лингвистические соображения. Так, если у лингвистов есть основания считать, что /т/: /т'/ = /п/ : /п'/ = /м/ : /м'/ и т. д., а данные рентгена и акустики свидетельствуют о неодинаковости физического воплощения этого признака в каждой из пар, то не лингвист должен отказаться от найденной им корреляции, а физиолог и акустик должны объяснить, почему, несмотря на несходство полученных ими данных, в языке сохраняется единый признак, и искать ускользнувший от них инвариант.

При этом существенно иметь в виду, что модель построения языка ни на одном уровне не идентична модели его восприятия. Так, в коде есть фонемы и признаки, но, по сути дела, нет слогов, а речь реализуется только в слогах. В коде отсутствует и вся парафонетика, хотя речь немыслима без нее. И наконец, количество воспринимаемых единиц речи гораздо больше количества фонем [6]. Акустики часто недооценивают различий между двумя моделями, и даже от выдающихся специалистов можно услышать, что фонема неразложима на отдельные признаки и что деление признаков на дифференциальные и избыточные произвольно и неверно [7].

III. Теперь мы можем перейти к третьему и последнему шагу фонологического анализа. Вернемся к фонеме /д/, выделенной выше как пучок из

[6] Ср.: Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, Л. Р. Зиндер, Л. П. Павлова, Различаемые звуковые единицы русской речи, в кн: «Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков», Л., 1966.

[7] Н. И. Жинкин, Принципы сегментации речевого потока, М.— Л., 1962, стр. 126—127.

четырех признаков. Очевидно, что, определив /д/ как пучок, состоящий из твердости, смычности, переднеязычности и звонкости, мы легко узнаем любые аллофоны этой фонемы, где бы они ни встретились, например, в слове *дом* (хотя /д/ в нем не вступает ни в какие чередования), лишь бы у нас всегда была возможность убедиться, что привлекший наше внимание звук действительно твердый, смычный, переднеязычный и звонкий.

Из сказанного видно, что нет никакого противоречия между тем, что различительные признаки узнаются из фонем, а фонема определяется как пучок различительных признаков. Выделение, вернее «собирание» фонем проходит две стадии. На первой стадии согласная фонема — это элемент морфемы, и она осознается как лингвистическая единица лишь потому, что, чередуясь с другими фонемами, образует пересечения нескольких морфем в одной точке. На этой стадии самостоятельной фонологии еще не существует, а весь консонантизм — это только тень, отбрасываемая чередующимися морфемами. Но, сравнив разные фонемы (разумеется, в пределах морфем), мы находим их различительные признаки, изображаем все фонемы в виде пучков признаков и объявляем каждый пучок неким эталоном, в результате чего образуется система фонем и список различительных признаков. Этот момент знаменует начало второй стадии выделения фонем. К звукам речи прикладываются только что обнаруженные эталоны, и все звуки, попавшие под эталон, объединяются в одну фонему. Фонология отрывается от морфологии и становится автономной дисциплиной. Немедленно создается иллюзия, что фонология вообще независима от грамматического строя и что достаточно сравнить *дом* и *том*, чтобы найти фонемы /д т/, установить их различительные признаки и опознать в любом слове.

Если вернуться к определениям фонемы, то мы найдем их великое множество, например, «фонемы — это фонологические единицы, которые невозможно разложить на более краткие следующие друг за другом фонологические единицы» или «фонемы — это те звуки, с помощью которых происходит различение слов в языке», или «фонема — это минимальная единица, служащая для опознания речевых отрезков» и т. д. и т. д. В этом списке есть и определение: «фонема — пучок различительных признаков». Все приведенные формулировки, равно как и многие другие, верны, ибо верно отражают какую-то одну сторону фонемы. Но каждое из определений имеет ограниченный радиус действия и пригодно лишь для той ситуации, в которой оно было выведено. Фонема как пучок дифференциальных признаков становится орудием анализа и познания лишь на третьем шаге, но не на втором (или тем более на первом), когда нет еще самих различительных признаков, а следовательно и пучков. Н. С. Трубецкой (мы увидим это ниже) путает разные стадии «собирания» фонем и, как правильно замечают Г. В. Воронкова и М. И. Стеблин-Каменский, не доказывает, что фонема — это пучок различительных признаков, а только ссылается на статью Р. О. Якобсона в Чешской энциклопедии. Но причина здесь не в том, что он просто принял на веру определение Р. О. Якобсона. И для него, и для Р. О. Якобсона такое определение разумелось само собой, оно просто вытекало из учения Ф. де Соссюра (ср.: «в языке то, чем знак отличается, и есть все то, что его составляет» [8]) и не нуждалось в доказательствах. Ссылка Н. С. Трубецкого означала лишь, что Р. О. Якобсон еще до него переформулировал тезис Ф. де Соссюра в фонологических терминах.

Третий шаг фонологического анализа (объединение аллофонов) — необходимое его завершение. Представители разных школ либо делают этот шаг (подчас вопреки собственной программе), либо отрицают его и тем, фактически, уничтожают фонологию. Так, Л. Ельмслев обошелся без

[8] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 120.

различительных признаков, но оттого и не создал фонологии, не пойдя в этом разделе глоссематики дальше рассуждений о коде и перекодировании. Г. В. Воронкова и М. И. Стеблин-Каменский нашли изъяны в третьем шаге оттого, что не проделали первых двух. Но характерно, что и они, подобно Л. Ельмслеву, отказавшись от различительных признаков, вынуждены были отказаться и от фонологии.

Противоречива позиция московских фонологов. Мало объявить [и'] (предударное) в слове *леса* вариантом фонем /э/, а в слове *лиса* — вариантом фонемы /и/. Надо еще объяснить, почему корневые гласные слов *нить*, *ил* — это варианты фонемы /и/, а слов *день*, *этот* — варианты фонемы /э/. Анализ слов *леса*, *лиса* ведется с опорой только на морфемный состав слов, без всякого учета различительных признаков. Но в таком случае [и] в *нить* и [и] в *ил* несоединимы в фонему /и/, а [э] в *день* и [э] в *этот* — в фонему /э/: легко видеть, что ни при каких видоизменениях морфем *ил-* и *эт-* нельзя будет получить тех вариантов, которые встречаются после мягких согласных в формах *нить*, *день* [9]. Если же объединить оба [и] и оба [э] на том основании, что у них одинаковые различительные признаки, то рушится анализ безударных гласных в словах *леса*, *лиса*. Вообще, фонолог, допускающий различную интерпретацию омонимов, не должен признавать дифференциальных признаков. Статьи П. С. Кузнецова о признаках фонем и о нейтрализации представляют выдающийся интерес, но всем своим содержанием подрывают устои Московской школы. Фонология представителей этой школы заканчивается на втором шаге и потому должна оставаться придатком морфологии.

Непоследователен в своем анализе различительных признаков и Н. С. Трубецкой. Он тоже начал сразу с третьего шага и потому оказался в замкнутом круге; так, чтобы определить границы фонемы /r/ в немецком, он рассматривает все многообразие его вариантов, не поясняя, как он опознал эти варианты, а потом говорит, что характер различительного признака немецкого /r/ таков, что допускает самую широкую гамму реализаций [10]. Он же говорил, что определяя, одномерна или многомерна та или иная оппозиция, надо исходить только из релевантных признаков, и вопреки себе добавлял, что оппозицию /d/ ~ /n/ во французском можно определить как одномерную, поскольку ее члены являются единственными звонкими дентальными смычными в системе, хотя ни образование смычки, ни звонкость не существенны для французского /n/ (во французском нет ни фрикативного, ни глухого /n/) [11].

Но в двух «грехах» Н. С. Трубецкой не повинен: он никогда не стремился к экономии описания за счет насилия над материалом и не отождествлял локальных различительных признаков с фонетической реализацией. Если он выводил различительные признаки из одномерных пропорциональных оппозиций, то лишь потому, что анализ других оппозиций не дал бы ему ничего нового. Что же до локальных признаков, то он сам предупреждал, что фонологическое понятие локального ряда не следует смешивать с понятием места артикуляции. Он говорил, что звонкое ларингальное /h/ в чешском по фонологическим соображениям надо считать не ларингальной, а гуттуральной фонемой; аналогично он характеризовал гренландское /l/ как апикальный спирант, а не как латеральный сонорный. Определяющим для Н. С. Трубецкого было требование системы: он выделял

[9] Ср.: С. И. Бернштейн, Основные понятия фонологии, ВЯ, 1962, 5, § 27. Обсуждая корневые гласные слов *день* и *этот*, С. И. Бернштейн объединяет их в одну фонему, ссылаясь на процедуры, изложенные в § 16. Но, насколько я могу судить, в § 16 нет описания никаких конкретных процедур.

[10] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии. М., 1960, стр. 74, 80.

[11] Там же, стр. 76.

особый латеральный, палатальный или ларингальный ряд, только если соответствующие фонемы не образуют пропорциональных одномерных оппозиций ни с одной фонемой другого локального рядка [12]. Добавлю еще, что именно Н. С. Трубецкой впервые выделил отрицательные признаки (ср.: «Если мы примем во внимание, например, все факультативные и комбинаторные варианты немецкого *r*, то должны будем определить эту фонему только как «нелатеральный плавный», что является чисто отрицательным определением, ибо сам «плавный» является «неносовым сонорным» , а «сонорный» — «нешумным») [13]. Отрицательный признак — это предел возможного разрыва между понятием фонологического локального ряда и понятием фонетической реализации.

Когда пройдены все три шага анализа и (1) фонемы вычленены в речевой цепи, (2) описаны через признаки и (3) опознаны в любой точке, становится ясно, что фонема — это и элемент кода, и инвариант определенного множества звуков и что любое полное определение фонемы непременно должно учитывать оба эти основные ее свойства. Определение фонемы через код и звук находит свое оправдание в самом глубинном из диалектических законов языка, гласящем, что язык — это и система, и норма.

Против фонологии и идеи пучка различительных признаков часто выдвигают такое возражение: если, например, для английского */g/* нерелевантна смычность-щелевость, значит, можно вместо [gou] сказать [ɣou], что очевидная нелепость, так как никто не признает в [ɣou] английского слова. На самом же деле [ɣou] было бы возможно, если бы фонема была только частью кода. Но она еще вобрала в себя целый класс звуков. Обнаружив признаки фонемы /g/, среди которых не оказалось смычности, мы затем собрали ее из всех аллофонов, и среди этих аллофонов не было [ɣ] (например, в слове *go*), отчего же ему вдруг появиться теперь?

Аналогичны по характеру рассуждения и антиномия транспозиции С. К. Шаумяна. С. К. Шаумян сравнивает два тезиса: 1) фонема есть элемент, служащий для дифференциации означающих, 2) фонема есть акустический элемент — и обнаруживает между ними непримиримое противоречие, так как из первого тезиса вытекает возможность перекодирования (транспозиции) фонем в любую другую субстанцию (графическую, например), а второй тезис запрещает подобную транспозицию [14]). Подобная антиномия, несомненно, преследовала и Л. Ельмслева, и мы знаем, что он решил ее, пожертвовав звуками и сохранив лишь код. С. К. Шаумян строит двуступенчатую теорию фонем: для него и фонема, и аллофон — в равной мере конструкты, но остается неясным, что же все-таки делать со звуками. А на самом деле антиномии транспозиции не существует, ибо фонема — это такой акустический инвариант, который служит для дифференциации означающих, и всякая перекодировка звукового языка — иллюзия. Есть только сам звуковой язык, а письмо или азбука Морзе — это его отражения, а не иные формы [15]. Без третьего шага есть не язык людей, а никому не нужный каркас; этот каркас весьма просто перекодировать, но и в новом виде он будет столь

---

[12] Там же, стр. 144—145.

[13] Там же, стр. 74. Ср. защиту Н. С. Трубецкого А. А. Реформатским в кн.: «Язык и человек», М., 1970, стр. 28.

[14] С. К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 1962, стр. 21—26.

[15] Ср.: Р. Якобсон, М. Халле, Фонология и ее отношение к фонетике, в кн.: «Новое в лингвистике», II, М., 1962 стр. 244; Л. Р. Зиндер, Материальная сторона языка и фонема, в кн.: «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 373—374.

же бесполезен, как и исходная форма. Эхо — не инобытие, не «транспозиция» звука. Для звуков речи таким эхом являются буквы.

IV. В своей книге «Общая фонетика» Л. Р. Зиндер приводит ряд доводов в пользу того, что фонема реальна. Вслед за Л. Р. Зиндером можно было бы задаться вопросом, реальны ли различительные признаки. Положительный ответ на этот вопрос вытекает из всего содержания настоящей статьи. Реальность различительных признаков как элементов пучка состоит в том, что без них бесконечное множество звуков не может быть сведено в конечное число фонем. Но есть и некоторые более осязаемые свидетельства их реальности.

В синхронии самым главным из них служит корреляция. Н. С. Трубецкой видел это и писал, что у фонем, которые выступают как члены пропорциональной оппозиции, в отличие от фонем-членов изолированных оппозиций различительный признак легко обособляется от других; он наличествует во многих парах фонем той же системы и потому довольно легко абстрагируется, т. е. может мыслиться независимо от всех прочих признаков[16].

Существует много примеров относительной независимости различительных признаков. Можно привести обсуждавшуюся уже [17] диалектальную форму *ралёк* < *ларёк*, где поменялись местами не фонемы, а различительные признаки мягкости — твердости (при фонемной метатезе получилось бы *рялок*). Интересно также следующее (как мне кажется, совершенно верное) высказывание Р. О. Якобсона: «Различие гласных по долготе и краткости существует в языковом мышлении независимо от конкретных пар гласных, осуществляющих количественную корреляцию. Характерная иллюстрация — количественное (или метрическое) стихосложение, основанное на чередовании долготы и краткости. Наконец, в фонологических системах этих языков существуют независимые от количественных различий идеи гласных как таковых, например, идея „а" безотносительно к долготе и краткости. Отчетливый показатель — возможность в этих языках рифм, сопоставляющих долгие гласные с соответствующими краткими»[18].

Другим важнейшим свидетельством реальности различительных признаков является нейтрализация. Может быть, ничто иное не подчеркивает существование какого-то значимого элемента так ясно, как его способность к исчезновению. Фонемы типа /ɣ/ и /x/, несомненно, отличаются друг от друга, но их отличие так глубоко входит в ткань языка, настолько привычно, что уже почти не замечается. Лишь тогда, когда это отличие снято, мы по-настоящему осознаем его значимость и то, как велика роль признака, разграничивающего их в «сильных» позициях [19].

Есть и психолингвистические факты, доказывающие, что различительный признак может мыслиться независимо от конкретной фонемы. Когда группе американских школьников 1—2 классов предложили два сочиненных слова *narf* и *nark* и спросили, какое из них они бы приняли за форму множественного числа от *nar*, они в большинстве высказались в поль-

---

[16] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 93. Наиболее интересное развитие идей Н. С. Трубецкого см. в статье: A. Martinet, Substance phonique et traits distinctifs, BSLP, 53, 1, 1957—1958.

[17] П. С. Кузнецов, Проблема дифференциальных признаков в фонологии и разграничения различных типов их, в кн.: «Исследования по фонологии», М., 1966, стр. 205.

[18] Р. О. Якобсон, К характеристике Евразийского языкового союза, в кн.: R. Jakobson, Selected writings, I — Phonological studies, 's-Gravenhage, 1962, стр. 152—153.

[19] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 87, 93. Ср. очень важные комментарии: M. I. Steblin-Kamenskij, Neutralization, the word and the thing (à propos of certain Old Icelandic rhymes), «Philologica Pragensia», XI, 1, 1968, стр. 30.

зу *narf*, так как оно оканчивается на щелевой согласный и тем ближе к /z/[20].

Можно, наконец, привести данные межъязыковых контактов. Когда украинец, в языке которого нет фонемы /ф/ передает русское *Филипп* как *Хилипп*, то он как бы расписывает различительные признаки русского /ф/ (способ образования и место щели) в строчку, и эти признаки, слитые в русской фонеме и вычленяемые с большим трудом, предстают перед нами по одному и потому легко заметны [21].

Но наиболее убедительно проявляется реальность различительных признаков в диахронии. Фонемы регулярно меняются группами (все верхние или все задние гласные, все глухие или все дентальные согласные и т. п.). Приметой каждой группы всегда является различительный признак. Кроме того, какой-то различительный признак может оказаться очень активным и тем выделиться из пучка. Например, германский *i*-умлаут — это слияние признаков фонем /a o u/ с переднеязычностью (*a*, *o*, *u* > *e*, *ø*, *y*). Древнеанглийский велярный умлаут — это отдача гласными /o u/ своей заднеязычности гласным /a e i/ (*a*, *e*, *i* > *ea*, *eo*, *io*). Фонемы /o/ и /u/ выделили один из своих общих признаков (велярность) и распространили его на соседей по речевой цепи. Палатализация — это, подобно *i*-умлауту, отдача передним гласным своей переднеязычности соседней фонеме. Палатализация и *i*-умлаут — это процессы почти одинаковые по своей фонологической сути; палатализация — это как бы умлаут согласного.

В диахронии реальны не только различительные признаки, но и стратификация фонем по разным орбитам. На первый взгляд, кажется необъяснимой общность в судьбе германского /h/ и сонантов /l/ и r/, особенно /r/ (в готском перед *r h hv* происходит преломление; в древневерхненемецком перед *h r w* дифтонг *ai* стянулся в *ê*, а перед *ht*, *hs*, *rw* не было *i*-умлаута от /a/, причем в южнонемецких диалектах к запрещающим группам относились еще r + согласный, *h* и *hh* (*ch*); преломляющими группами в древнеанглийском были *r*, *l*, *h* + согласный, но на конце слова преломление было возможно и перед одиночным *h*, единственным согласным, вызывавшим палатальную перегласовку в древнеанглийском, было *h*, древнеанглийское *h* даже вмешивалось в систему аблаута; в древнеисландском палатальную перегласовку также вызывал лишь один согласный, но им было *R* < *z*; в позднесреднеанглийском собственные имена с *r* часто имели дублеты с *h*, так что *Hob* — это дублет к *Rob*). Если мы вспомним, что сонанты в германских языках, как и в русском, находятся дальше всего от ядра, что все эти процессы получат внутренний фонологический смысл. Фонема /h/ в индоевропейских системах может быть охарактеризована только отрицательно, так как фарингальность не различительный признак в строгом смысле слова: /h/ предельно близко к /r/, которое в германских языках тоже обычно не имеет положительных признаков и отличается от /h/ лишь тем, что способно образовывать слог. Фонологический статус /h/ должен постоянно сталкивать его в одну группу с /r/, и прав Й. Вахек, рассматривающий обе эти фонемы в английском как периферийные. Но они не просто расположены на периферии: они находятся на той грани, которая отделяет систему звуков от пустоты, и не случайно любой спирант, исчезая из языка, на последнем этапе превращается в /h/ [22].

---

[20] M. Anisfeld, I. Barlow, C. M. Frail, Distinctive features in the pluralization rules of English speakers, «Language and speech», XI, 1, 1968 (см. цитированную там более раннюю литературу).

[21] См.: Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 73—76 (особенно выводы на стр. 76).

[22] См. материал в моей статье «Общегерманское /h/ и некоторые закономерности звуковых изменений», ВЯ, 1967, 1, стр. 109. В данной работе я отошел от многих положений, которые высказывал в 1967 г.

Хотя изучая историю языка, мы особенно ясно убеждаемся в реальности различительных признаков, мы делаем это дорогой ценой. В диахронии, строго говоря, невозможен третий шаг фонологического анализа, ибо для того, чтобы представить фонему в виде инварианта звуков, нужно еще услышать язык. Мы же располагаем только письменными памятниками, а орфография очень редко бывает последовательно фонетической. Поэтому в диахронии мы с трудом можем двинуться дальше признаков и их пучков: мы по необходимости останавливаемся там, где добровольно прекращает исследование теоретик Московской школы. Неудивительно, что факты древнерусской фонологии кажутся особенно пригодными для проверки и подтверждения идей этой школы. Неудивительно и то, что о фонологических отношениях давно прошедших периодов мы судим с большей безапелляционностью, чем о современной эпохе: обнажить скелет несравненно проще, чем покрыть его живой плотью.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Г. ТАРЛИНСКАЯ

МЕТР И РИТМ ДОЧОСЕРОВСКОГО РИФМОВАННОГО СТИХА

Светлой памяти В. М. Жирмунского с глубокой благодарностью посвящаю

§ 1. **Постановка задачи.** В английской стиховедческой литературе почти полностью отсутствуют работы, в которых можно было бы найти детальное статистическое обследование метра и ритма раннего английского рифмованного стиха. Авторы обычно ограничиваются характеристиками, являющимися результатом общего впечатления от произведения, приводя лишь примеры тех или иных отмечаемых особенностей.

Поэтому стихи, в большей или меньшей степени отличающиеся от бесспорного силлабо-тонического канона (например, от пятистопного ямба XVIII в., классического силлабо-тонического стиха Англии), получают у различных авторов различные интерпретации. В особенности большие разногласия вызывает метр самого раннего рифмованного стиха, пришедшего на смену древнеанглийскому аллитерационному акцентному стиху.

В качестве различных интерпретаций формы раннего рифмованного стиха можно привести анонимный стихотворный роман (verse romance) начала XIII в. «Король Горн» («King Horn»). Оговоримся сразу, что «Король Горн» — один из наиболее сложных случаев, поскольку новая внутренняя мера английского стиха, сменившая чисто тоническую акцентную [1] форму аллитерационного стиха, в этом романе еще не сложилась окончательно. Различные интерпретации вызывает не только метр (т. е. общий структурный принцип организации слогового материала строки) «Короля Горна», но даже количество реальных сильных ударений на строку.

Так, В. М. Жирмунский считает, что «Король Горн» написан «чисто-тоническим стихом с парной рифмой и в этом смысле примыкает к национальной традиции» [2].

Сходной точки зрения придерживается В. Леман [3]. Он полагает, что «Король Горн» написан строками, соответствующими полустишьям древнеанглийского акцентного стиха. В каждой строке Леман находит только два сильных ударения.

---

[1] Под чисто-тоническим стихом В. М. Жирмунский понимает стих с переменным количеством слогов в междуиктовых интервалах. В. М. Жирмунский предлагает различать более урегулированную форму чисто-тонического стиха — дольник, и менее урегулированную — акцентный стих. В дальнейшем мы будем пользоваться терминами «дольник» и «акцентный стих» в смысле, указанном В. М. Жирмунским. См.: V. Zhirmunski, The versification of Majakovski, cf. «Poetica», Warszawa, 1966. В английской стиховедческой литературе под акцентным стихом понимают любой стих с переменным количеством слогов в междуиктовых интервалах.

[2] В. М. Жирмунский, Введение в метрику, Л., 1925, стр. 184.

[3] W. P. Lehmann, The development of Germanic verse form, Austin, 1956, стр. 53.

Иная концепция принадлежит Дж. Холлу [4]. Он утверждает, что основной метр «Короля Горна» — хореический т р и м е т р, однако в романе нередок ритмический вариант с одним безударным слогом, расположенным перед первым иктовым сильным ударением.

В. Френч также склонен интерпретировать «Короля Горна» силлаботонически [5]. Однако Френч пишет, что большинство строк этого романа — ямбический т р и м е т р с рядом стандартных (standard) ритмических вариаций.

Наконец, Д. Сандс, последний издатель «Короля Горна» и других средневековых английских стихотворных романов, заявляет, что строки интересующего нас романа в основной массе трехударны, однако, встречаются варианты с двумя и четырьмя сильными акцентами. По мнению Д. Сандса, «Король Горн» — переходная форма от древнеанглийской, акцентной, к новой, силлабо-тонической. Употребление рифмованных пар строк на протяжении в с е г о текста, в отличие, например, от факультативной рифмы в «Бруте» Лайамона, говорит о несомненной ориентации автора на романские просодические образцы, однако, отмечает Сандс, двух/трехударная строка является реликтом формы древнеанглийского полустишья [6].

Нам представляется, что более точный ответ на вопрос о характере метра и ритма «Короля Горна», как и других английских стихов, написанных в новой, рифмованной форме, может дать только т щ а т е л ь н о е о б с л е д о в а н и е с л о г о в о й и а к ц е н т н о й с т р у к т у р ы к а ж д о й с т р о к и.

Не менее важным условием плодотворности анализа интересующего нас стиха является последовательное размежевание двух давно существующих понятий: «сильное ударение (сильный акцент)» и «иктовая (теоретически сильноударная, в реальном тексте чаще всего ударная) слоговая позиция строки». Первое — область индивидуального речевого ритма строки, конкретная последовательность ее акцентно-слоговых элементов. Второе — абстрагируемый от текста метрический принцип организации акцентного и слогового материала всех строк или значительной их части, если подобный принцип вычленим при сопоставлении этих строк.

Проблема о характере метра и ритма раннего английского рифмованного стиха (конец XII — середина XIV в.) кажется нам чрезвычайно интересной : исследовав стихи этого периода, мы не только уточним особенности среднеанглийской просодии, но также уясним характер национальной традиции, существовавшей к моменту начала творчества великого среднеанглийского поэта Джеффри Чосера (вторая половина XIV в.).

§ 2. **Причины гибели аллитерационного и появления рифмованного стиха.** Рифмованный стих пришел, как известно, на смену древнеанглийскому аллитерационному [7]. Как и в других германских диалектах, древнеанглийский аллитерационный стих был чисто-тоническим, акцентным. Четыре иктовых позиции долгой строки древнеанглийского стиха заполнялись, как правило, сильноударными слогами. Реже всего нес аллитерацию слог на четвертой иктовой позиции. Количество безударных слогов между соседними сильноударными варьировалось в пределах от 0 до 3—4 слогов. Если к тому же принять во внимание структурно значимое фонологическое

[4] J. H a l l, «King Horn», Oxford, 1901 (цит. по кн.: «Middle English verse romances», ed. by D. B. Sands, New York, 1966, стр. 16).

[5] W. H. F r e n c h, Essays on King Horn, New York, 1940 (цит. по кн.: «Middle English verse romances», стр. 16).

[6] «Middle English verse romances», 1966, стр. 16.

[7] О структуре древнегерманского и древнеанглийского стиха существует обширная литература. См., например: W. P. L e h m a n n, указ. соч.

противопоставление гласных ударных слогов по долготе, становится ясно, что ритм древнеанглийского аллитерационного стиха не был ни единообразным, ни ровным.

По идее В. Лемана, развитой и уточненной О. А. Смирницкой, свойства древнеанглийского стиха отражают особенности древнеанглийского языка, а его гибель связана не только с влиянием заимствованных просодических форм, но с причинами языкового характера [8].

Аллитерационный акцентный стих хорошо соответствовал системе языка с сильным динамическим ударением в начале слова. Слова несли сильное ударение не вследствие их функции и положения в составе фразы, а как результат той части речи, к которой они принадлежали. Последнее ударение в предложении не было максимально сильным, как это имеет место в современном английском языке; отсюда — закономерное отсутствие аллитерации на ударном слоге, занимающем последний икт строки. Для древнеанглийского языка было характерно контактное соположение двух сильных ударений, как в одном (сложном) слове, так и на стыке слов. В языке не было еще того обилия слабоударных служебных слов, которые появились в более поздние периоды. Поэтому в слоговом отношении строка древнеанглийского акцентного стиха была весьма компактной.

Изменения, начавшиеся в системе древнеанглийского стиха примерно с VIII в., связаны главным образом, с причинами языкового характера. Приблизительно в это время начался ряд фонетических процессов [9], в результате которых в конце концов элиминировалось фонологически значимое противопоставление гласных по долготе.

В позднем древнеанглийском, как и в некоторых других германских диалектах, началось ослабление ударений, как главных, так и второстепенных. Ослабление главных ударений в слове привело к возрастанию организующей роли фразового ударения, в особенности — последнего сильного ударения фразы. Ослабление второстепенных ударений повлекло за собой возникновение новых, по сравнению с ранним древнеанглийским, безударных слогов.

Особенно много безударных слогов появилось в позднем древнеанглийском в результате морфологических изменений. К IX в. начали появляться аналитические формы глаголов, систематизировалось употребление артиклей, расширилось использование сложных предложений. Таким образом, в языке возникло много слабоударных и безударных служебных слов.

Все эти изменения сказались на системе стиха. Слоговой ритм стиха унифицировался. Возникновение большого количества безударных слогов и слов уменьшило акцентный вес полустиший и увеличило слоговой объем строки. Так, в поэме X в. «Юдифь» в три раза больше артиклей, чем в поэме VIII в. «Беовульф». Если в «Беовульфе» одна удлиненная строка приходится на 300 коротких строк, в «Юдифи» удлинена каждая шестая строка [10].

В результате языковых изменений укрепилась ритмическая тенденция английской речи. Она проявилась и в стихе. Альтернация ударных и безударных слогов все чаще становится ритмическим вариантом древнеанглийских полустиший.

---

[8] Там же, стр. 6, 19 и сл.

[9] См., например: Б. А. Ильиш, История английского языка, М., 1968, §§ 271, 273, стр. 196; 197; А. С. Либерман, Среднеанглийское удлинение гласных в открытом слоге с фонологической точки зрения. Автореф. канд. диссерт. Л., 1965, стр. 7 и сл.

[10] W. P. Lehmann, указ. соч., стр. 98—100.

Большое количество слабоударных, служебных слов в позднем древнеанглийском стихе расшатало структурное единство строки. Нередко слабоударные слова попадали на иктовые позиции. Аллитерация в таких словах была плохо слышна и ее организующая роль уменьшилась.

Таким образом, по мнению О. А. Смирницкой, основные, принципиальные причины гибели древнеанглийского аллитерационного стиха были заложены в изменившейся языковой системе. Этим и объясняется неудача неожиданного возрождения аллитерационного стиха на севере Англии в XIV в.

Новая система стиха, структурным принципом которой была не аллитерация, а рифма, начала широко употребляться в Англии во второй половине XII в. Заимствованная из средневековой латинской поэзии, рифма употреблялась еще в древнеанглийском стихе сначала факультативно, в качестве стилистического приема; затем, примерно с XI в., рифма начала использоваться как структурный принцип тех строк, где отсутствовала аллитерация. В конце XII в., под влиянием французской системы просодии, рифма окончательно вытеснила аллитерацию и стала структурным принципом нового стиха. По-видимому, рифма лучше соответствовала появившемуся сильному ударению в конце фразы. В числе первых произведений, целиком построенных с помощью рифмы, можно назвать диспут конца XII в. «Сова и Соловей».

Перестройку ритма и метра английского стиха ускорило норманское завоевание и усиление влияния романской культуры. И французская, и латинская системы стиха характеризовались силлабизмом. Для средневекового латинского стиха, в меньшей степени повлиявшего на английский народный эпос, но хорошо знакомого духовенству, была характерна альтернация ударных и безударных слогов в соответствии с простыми, двусложными размерами [11]. Альтернация ударных и безударных слогов факультативно возникала и во французском стихе, не становясь, однако, его ведущим структурным принципом [12]. Под влиянием французского и латинского стихов в английской просодии, начиная с конца XII в., прослеживается явная тенденция к усилению слогового единообразия строк.

Взаимодействие внутриязыковых и экстралингвистических причин привело к переходу английской просодии на иной структурный принцип и обусловило особенности нового метра. Рифма пришла на смену аллитерации; относительно высокая акцентно-слоговая урегулированность сменила ритмическое многообразие форм древнеанглийского стиха.

§ 3. Выявление метра английского рифмованного стиха XIII—XIV вв. Для того чтобы установить ведущий структурный принцип построения стихов конца XII — середины XIV в., несколько произведений были предварительно проанализированы с трех сторон.

Прежде всего, уточнялось количество с л о г о в в каждой строке для того, чтобы определить, не являлась ли силлабичность основным структурным принципом стиха этого периода.

Затем подсчитывалось количество сильных а к ц е н т о в в строке. Регистрация сильных акцентов производилась так, как если бы эта строка встретилась в составе прозаического текста. Это значит, что на втором этапе анализа учитывались семантические, грамматические и, предположительно, акцентные свойства слов. В отличие от новоанглийского языка, такие слова, как вспомогательные и, в особенности, модальные глаголы, наделялись более сильными степенями фразового ударения. Это объяс-

[11] G. S a i n t s b u r y, A history of English prosody, I. London—New York, 1961, стр. 16, 20.

[12] В. М. Ж и р м у н с к и й, Введение в метрику, стр. 87.

няется неполной десемантизацией этих слов на рассматриваемом этапе языкового развития.

Наконец, наблюдая достаточно закономерную альтернацию ударных и безударных слогов и предположив, что уже в раннем рифмованном стихе основной, формообразующий принцип чередования слогов проступал достаточно четко, мы пытались выявить и к т о в ы е (метрически значимые) п о з и ц и и в наиболее типичных, часто повторяющихся акцентных и слоговых типах строк. Иными словами, на третьем этапе анализа мы пытались вычленить основной м е т р и ч е с к и й п р и н ц и п организации слогового материала, лежащий в основе ритмических вариантов строк. Если метр стиха как предписанная схема и не существовал для поэтов, осваивающих новые ритмы, он тем не менее может быть вычленим из любого стиха, организованного в акцентном и/или слоговом плане.

Для анализа слоговой и акцентной структур строки были взяты пять произведений: поэма-диспут «Сова и Соловей» (конца XII—начала XIII в.)[13], два романа первой половины XIII в.— «Король Горн» («King Horn») и «Флорис и Бланшефлер» («Floris and Blanchefleur»), пестрая акцентно-слоговая структура которых усложняет определение их метра; и два романа середины XIV в.—«Сэр Орфей» («Sir Orfeo») и «Повесть о Фрейне» («Lay le Freine»)[14]. Для сравнения было взято первое оригинальное произведение Чосера «Книга Герцогини» («The Book of the Duchesse») (семидесятые годы XIV в.)[15].

Начнем с анализа количества слогов в строке.

Предварительно заметим, что в произведениях XII—XIII вв. конечное *-e* (как грамматическое, флективное, так и добавленное писцами по аналогии) учитывалось в качестве слога, за исключением тех случаев, когда последующее слово начиналось с гласного или с *h*. В этих случаях, по общему мнению, происходило слияние конечного (возможно, уже в известной степени редуцированного) *-e* с первым звуком последующего слова[16]. В дочосеровских романах XIV в. все подсчеты слогов производились в двух слоговых вариантах: 1) в варианте, условно названном «дочосеровским», где конечные *-e* учитывались в той же степени, что и в романах XIII в., и 2) в «чосеровском варианте», где конечные *-e*, становившиеся в XIV в. все более архаичными, учитывались факультативно, только там, где этого требовала ритмико-слоговая структура строки. Известно, что таким образом интерпретируются стихи самого Чосера. Слог после последнего пиктового ударения в расчет не принимался.

Как видно из табл. 1, слоговой состав строк проанализированных произведений, за исключением «Книги Герцогини», не единообразен. Однако в каждом из них доминирует *какой-либо один слоговой тип*, как правило, восьмисложный, за исключением «Короля Горна», где чаще других употребляются шестисложные строки. Последний факт подтверждает точку зрения Сейнтсбери, что моделью «Горна» явилось полустишье французского двенадцатисложника[17], а не древнеанглийского акцентного стиха (как полагает, например, В. Леман), где шестисложные полустишья не являлись самым типичным вариантом. Моделью остальных романов послужил французский восьмисложник.

---

[13] «The Owl and the Nightingale», ed. by J. W. H. Atkins, Cambridge, 1922.

[14] Все четыре романа взяты из антологии «Middle English verse romances».

[15] Все анализируемые поэмы Чосера взяты из издания «The complete works of Geoffrey Chaucer», ed. by W. W. Skeat, Oxford, 1884.

[16] См., например, предисловие к изданию романа XIII в. «Speculum Gy de Warewyke» (London, 1898, стр. CXXVII); «Middle English verse romances», стр. 9.

[17] G. S a i n t s b u r y, указ. соч., стр. 20.

Таблица 1

Слоговая структура строк (в % от всех строк)

Количество слогов в строке	Произведение							
	«Сова и Соловей»	«Король Горн»	«Флорис и Бланшефлер»	Сэр Орфей		Повесть о Фрейн		Чосер «Книга Герцогини»
				«дочосеровский вариант»	«чосеровский вариант»	«дочосеровский вариант»	«чосеровский вариант»	
4	—	2,9	—	—	—	—	—	—
5	—	25,2	0,5	0,1	0,1	—	—	—
6	0,4	43,0	1,0	6,6	9,4	2,7	5,1	—
7	11,0	21,1	28,2	23,1	25,2	24,9	26,1	11,0
8	70,3	6,7	41,0	43,2	52,2	41,9	55,5	84,0
9	17,7	1,0	21,6	20,6	9,4	23,4	8,8	5,0
10	1,2	0,06	7,4	5,3	1,5	5,1	4,2	—
11	0,4	—	0,3	0,8	0,1	1,8	0,3	—
12	—	—	0,1	—	—	—	—	—

Таблица 2

Акцентная структура строк (в % от всех строк)

Количество ударений в строке	Произведение					
	«Сова и Соловей»	«Король Горн»	«Флорис и Бланшефлер»	«Сэр Орфей»	«Повесть о Фрейн»	Чосер «Книга Герцогини»
1	—	1,8	—	—	—	—
2	10,0	42,7	16,5	3,0	4,2	7,0
3	40,6	47,0	37,3	51,0	40,7	54,0
4	42,0	7,5	40,7	43,0	48,0	37,0
5	6,1	1,0	4,8	3,0	6,0	1,0
6	1,3	—	0,7	—	—	1,0

Из произведений конца XII—XIII вв. только в «Сове и Соловье» доминирующий слоговой тип превышает две трети всех строк. В остальных романах доминирующий слоговой тип занимает от 41,0% («Флорис и Бланшефлер») до 55,5% (чосеровский слоговой вариант «Повести о Фрейн») всех строк. Интересно, что роман «Флорис и Бланшефлер» силлабически м е н е е о д н о р о д е н, чем «Король Горн». Романы XIV в. в «дочосеровском слоговом варианте» напоминают «Короля Горна» тем, что доминирующий слоговой тип охватывает примерно 43% всех строк. В «чосеровском слоговом варианте» романы XIV в. несколько приближаются к «Книге Герцогини», однако ни один из них не достигает слоговой унификации стиха Чосера: 84% строк «Книги Герцогини» восьмисложно. Слоговая точность стиха Чосера подготавливалась предшествующими этапами развития формы нового стиха, однако, по-видимому, представляет собой заметный количественный скачок к иной, качественно более высокой степени организации слогового материала строки.

На втором месте по количеству слогов оказываются пограничные с доминирующим слоговые типы строк: семисложные и девятисложные во всех произведениях, кроме «Короля Горна». Там вторые места занимают пограничные с доминирующим шестисложником пятисложные и семисложные строки. Интересно, что в «Короле Горне» и в дочосеровских вариантах романов XIV в. сумма слоговых типов строк, пограничных с доминирующим, примерно равна количеству строк доминирующего слогового типа.

Таким образом, несмотря на то, что доминирующий слоговой тип строки прослеживается в каждом из проанализированных произведений,

Таблица 3

Количество иктов в строках (в % от всех строк)

Произведение и автор	Количество иктов в строке				Строки, не уложившиеся в метр	Количество строк выборок
	2	3	4	5		
«Сова и Соловей»	—	2,5	95,5	—	2,0	800
«Король Горн»	8,1	80,3	7,8	—	3,8	1542
«Флорис и Бланшефлер»	0,7	17,5	75,4	1,4	5,0	1000
«Хавелок»	—	1,8	97,0	0,5	0,7	1000
«Гай Варвик»	—	2,0	94,3	—	3,7	1000
«Ательстон»	—	34,0	63,0	—	3,0	812
«Сэр Орфей»	—	13,0	79,3	0,8	6,9	580
«Повесть о Фрейи»	—	7,6	83,6	0,9	7,9	320
«Жемчужина»	—	—	100,0	—	—	500
Чосер «Книга Герцогини»	—	—	100,0	—	—	1334
Лидгейт	—	—	—	92,4	7,6	625
Скельтон «При дворе»	—	—	—	87,8	12,2	539
Генрисон «Басни Эзопа»	—	—	—	95,7	4,3	625

только в «Книге Герцогини» идентичное количество слогов содержится в более чем 75% строк. В остальных произведениях основную часть текста (89 % строк в «Горне», 81 % строк в «Флорис и Бланшефлер») составляет доминирующий слоговой тип плюс — минус один слог. Следовательно, истинно силлабической является только «Книга Герцогини»; однако и в остальных произведениях слоговой принцип наличествует, хотя и в более «размытой» форме.

Перейдем к акцентной структуре проанализированных произведений. Как следует из табл. 2, в разобранных поэмах обычно преобладают д в а акцентных типа строк. Это строки с 2 и 3 сильными ударениями в «Короле Горне» и с 3 и 4 сильными ударениями в остальных поэмах. Один акцентный тип обычно незначительно превалирует над другим. Так, в «Короле Горне» трехударные строки употреблены на 5,7% чаще, чем двухударные. Тенденция трехударности, следовательно, все-таки оказывается в этом романе ведущей, хотя различие в употреблении двухударных и трехударных строк невелико.

В «Сове и Соловье» четырехударные строки употреблены всего на 1,4% чаще, чем трехударные, в «Флорис и Бланшефлер» — на 3,4%, в «Повести о Фрейи» на 7,3%. В «Флорис и Бланшефлер» относительно много также двухударных строк. В отличие от трех последних романов, «Сэр Орфей» и «Книга Герцогини» отдают предпочтение трехударным строкам. Трехударные строки употреблены в «Орфее» на 8% чаще, чем четырехударные, в «Книге Герцогини» — на 17%.

В сумме оба доминирующих акцентных типа составляют от 78% до 94% всех строк. Однако употребление почти в р а в н о м количестве д в у х акцентных типов строк лишает нас возможности выводить метр стиха т о л ь к о из количества реальных речевых акцентов строк.

Переходим к третьему виду анализа. На табл. 3 представлены данные по количеству иктовых позиций на строку всех проанализированных по такому принципу произведений [18]. Помимо романов, разобранных выше,

[18] Романы «Havelok the Dane» и «Athelston» взяты из указанной антологии Сандса; «Speculum Gy de Warewyke»—из издания 1898 г. под ред. Г. Н. Морилла; «The Pearl», ed. by M. V. Hillmann, London, 1964; J. L y d g a t e, Minor poems of John Lydgate. II — Secular poems, London — New York — Toronto, 1961; J. S c e l t o n, The bouge of court, «The complete poems of John Skelton», London — Toronto, 1948. Ниже будут анализироваться также стихи Генрисона (*R. H e n r y s o n, Poems, Oxford, 1963*).

были взяты еще два романа второй половины XIV в. «Хавелок» («Havelok the Dane») и «Гай Варвик», а также два романа XIV в. «Ательстон» («Athelston») и «Жемчужина».

Сознательным или интуитивным вычленением иктовых позиций занимается каждый стиховед, который пишет о «пятистопном ямбе» или «трехударном (точнее, трехиктном) дольнике». Для того чтобы прояснить процедуру выявления иктовых позиций и отделить понятие «икт» от понятия «ударение», приводим нижеследующее тривиальное рассуждение.

Если, например, в доминирующем слоговом типе строки (скажем, в какой-то восьмисложной строке) реально употреблены три сильных ударения на четных слоговых позициях (при этом не исключается возможность факультативного акцентного утяжеления на нечетных позициях), то, сравнивая эту строку со структурно подобными ей остальными строками произведения, в которых также чаще всего сильноударны четные слоги, мы имеем право сделать вывод, что три реально сильных ударения занимают иктовые позиции строки, и вычленить четвертую позицию, отстоящую от соседней (или соседних) на типичное для данного метра количество слогов. Поясним сказанное на простом случае.

Gordrich stirt up and on him dong
With dintes swithe hard and strong,
And saide, «Buts thou hire take
That I wole yeven thee to make,
I shall hangen thee full heye
Or I shall thristen ut thin eye».

(Гордрих вскочил и начал его
(Хавелока.— *М. Т.*) бить,
И нанес ему много ужасных ударов,
И сказал: «Если ты не женишься на той,
Которую я предназначил для тебя,
Я тебя повешу на высоком дереве (букв. «высоко»)
Или выколю тебе глаз»)
(«Хавелок», строки 1147—1152).

Сравнивая приведенные выше шесть строк, замечаем, что их основная слоговая модель — восьмисложник. Третья и четвертая строки содержат на один слог выше нормы, пятая строка — на один слог ниже нормы. Сравнивая акцентную структуру строк, отмечаем, что, как правило, четные слоговые позиции заполняются сильноударными слогами. Общую закономерность в сильноударности четных слоговых позиций легко вывести путем элементарного подсчета суммы количества сильных ударений на каждой слоговой позиции строк восьмисложника. Приходим к выводу, что м е т р отрывка — чередование теоретически безударных [—] и теоретически ударных, иктовых [+] слоговых позиций. Только в двух случаях между соседними слогами, занимающими иктовые позиции, стоят два безударных слога. Типичный междуиктовый интервал — один слог.

Сравнивая реальные строки с моделью, замечаем, например, что третья слоговая позиция первой строки несет внесхемное акцентное утяжеление (глагол *stirt*); четвертая и шестая иктовые позиции третьей строки заполнены акцентно ослабленными словами: союзом *buts* и личным местоимением *hire*, а пятая строка усечена на один слог, предшествующий первому иктовому.

Примером двухиктных и трехиктных строк «Короля Горна» могут служить следующие четыре строки.

To lond he him sette
And fot on stirop sette.
He fond by the weye
Kinges sones tweye.
(Он сошел на берег
И вдел ногу в стремя.
По дороге он встретил
Двух сыновей короля)
(«Король Горн», строки 763—766).

Принцип метра «Короля Горна», несмотря на отсутствие полного структурного единообразия его строк, как и принцип метра других структурно более единообразных романов XIII—XIV вв., не просто акцентный и не просто слоговой, а, так сказать, акцентно-слоговой, поскольку определенное количество слогов и сильных ударений в строке взаимосвязано.

Взаимообусловленность акцентного и слогового принципов в проанализированных стихах проявляется не только в более или менее постоянном количестве сильных речевых ударений в строке определенной слоговой длины (например, 3—4 ударения в 7, 8,9-сложных строках), но и в относительно фиксированном, типичном слоговом промежутке (1—2 слога) между соседними сильноударными слогами. Сходство структуры строк дает возможность вычленить их метр как постоянное количество иктов, отделенных друг от друга слоговым промежутком в 1—2 слога. Подобный метр, по традиции русских стиховедов, следует считать дольниковым.

Таким образом, рассмотренный синхронически, дольник является как бы переходной формой между силлабо-тоническим и акцентным стихом. В последнем слоговая структура строки почти не является элементом метра. Так, в классическом древнеанглийском четырехиктном акцентном стихе длина строки колебалась от 8 до 16 слогов, а междуиктовые интервалы содержали от 0 до 3 слогов (объем варьирования вдвое выше, чем в дольниках).

Диахронически направление перехода от силлабо-тонического к акцентному стиху может осуществляться в обе стороны: от акцентного стиха через дольник к силлабо-тонике (древнеанглийский стих — стих XIII — XIV вв. — стих Чосера, как это будет показано ниже), или, наоборот, от силлабо-тонического через дольник к акцентному (силлабо-тонический стих XVIII в. — дольники поэтов XIX в. — акцентный стих и еще более свободные формы XX в.).

Выявление метрически подобных строк характеризуют проанализированные романы наиболее о б щ и м образом. Даже в «Флорис и Бланшефлер», весьма несовершенном с точки зрения его формы, основная метрическая четырехиктная модель охватывает свыше 75% всех строк. Соотношение четырехиктных и трехиктных строк романа «Ательстон» объясняется структурой его строфы. Это так называемая «хвостатая строфа» (tail-rhyme stanza) с рифмовкой aabccbddbeeb; каждая пара строк, как правило, четырехиктная, а строки «b» трехиктны.

Под рубрику «строки, не уложившиеся в типичный метр» (табл. 3), попали два типа строк.

1. Поскольку и на третьем этапе анализа ударения расставлялись в соответствии с семантическими и грамматическими особенностями слов, стро-

ки, отличающиеся от большинства типов строк как по своему слоговому составу, так и по порядку следования сильных акцентов, интерпретировались в качестве «не уложившихся». Например:

Murry, the gode king
Rod on his pleying
By the see side,
Ase he was woned ride.
(Добрый король Мурри
Ехал на прогулку
Вдоль берега моря,
По своему обыкновению)
(«Король Горн», строки 33—36).

Строка *By the see side*, «не уложившаяся в метр», отличается от прочих строк романа тем, что она четырехсложна; к тому же два сильных ударения (*'see 'side*) употреблены в ней в непосредственном соседстве.

2. Неуложившимися считались также строки, сокращенные на один слог по сравнению с общей моделью. В этих строках не хватает одного безударного междуиктового слога, как правило — пятого слога восьмисложных и (позже) десятисложных строк. В таких строках как бы сталкиваются два слога на соседних иктовых позициях. Поскольку правомерность подстановки междуиктовой позиции между двумя стоящими рядом ударными слогами может показаться сомнительной, такие строки также обычно относились в рубрику «неуложившиеся», хотя этот ритмический тип постепенно становится закономерным, хотя и редким, вариантом английского четырехиктного и пятиктного стиха вплоть до начала XVI в. Пример:

«And whether a maidenchild other a knave?»
«Tvay sones, sir, God him save.»
(«А мальчик или девочка?»
«Два сына, сэр, спаси их господь»)
(«Повесть о Фрейне», строки 139—140).

Повторим, что в каждом из рассмотренных произведений доминируют строки с постоянным количеством иктовых позиций. Междуиктовые интервалы равны 1—2 слогам. Следовательно, несмотря на некоторое варьирование количества слогов и реальных сильных ударений в строке, дочосеровский рифмованный стих носил д о л ь н и к о в ы й характер.

§ 5. **Ритмические особенности английского рифмованного стиха XIII — XIV вв.** Для того чтобы уточнить характеристики английского дольникового стиха XIII—XIV вв. и определить, насколько он удален от «идеальной» силлабо-тонической схемы, мы прослеживали: 1) закономерность употребления поэтами «ямбического» (неусеченного на один слог) начала строки; 2) частоту возникновения двусложного междуиктового интервала; 3) частоту употребления строк с «выпавшим» безударным слогом на междуиктовых позициях; 4) количество и характер распределения по строке внесхемных сильных ударений на неиктовых, теоретически безударных слоговых позициях и слабых ударений на иктовых, теоретически ударных слоговых позициях.

На табл. 4 представлены данные использования поэтами не усеченных («ямбических») начал строк. Явление «опущения» первого (доиктового),

Таблица 4

Количество строк, начинающихся «ямбически» (в %)

Произведение и автор	Количество строк	Произведение и автор	Количество строк
«Сова и Соловей»	8,0	«Повесть о Фрейн»	76,0
«Король Горн»	72,5(66,9)	«Жемчужина»	91,5
«Флорис и Бланшефлер»	66,4	Чосер «Книга Герцогини»	90,0
«Хавелок»	67,3	Чосер «Кентерберийские рассказы»	99,0
«Гай Варвик»	71,7	Лидгейт	97,0
«Ательстон»	80,0		
«Сэр Орфей»	77,4(74,4)	Скельтон «При дворе»	97,4

слога меняет характер строки менее значительно, чем слог, пропущенный в ее середине. Поэтому эти, казалось бы, однородные явления отнесены нами в разные классификационные группировки.

В «Короле Горне» и «Орфее» приводятся два варианта интерпретации начал строк, поскольку в обоих романах чаще, чем в других, возникают случаи акцентного утяжеления первой слоговой позиции, иногда сопровождающиеся последующим акцентным ослаблением второй позиции. Например:

With sume othēre knighte
Well for his lemman fighte.
(С остальными рыцарями
Храбро сражаться за свою любимую)
(«Король Горн», строки 555—556).

Вторую строку можно интерпретировать как «ямбически» [— + — + — +], так и «хореически» [+ — — + — +].

В случае «Короля Горна» более правильна, по-видимому, «хореическая» интерпретация «двойственных» строк (ср. с данными по «Флорис и Бланшефлер» и «Хавелок»), в «Орфее», наверное, трактовка должна быть «ямбической» (ср. с «Ательстон» и «Повесть о Фрейн»).

В сравниваемых произведениях минимальное количество «ямбических» начал строк содержится в романе «Флорис и Бланшефлер», максимальное — в «Жемчужине» и у Чосера. У поэтов XV в. вместе с общим возрастанием расшатанности формы, наблюдается некоторое уменьшение «ямбических» начал. В целом, рифмованному стиху XIII—XV вв. определенно свойственны «я м б и ч е с к и е» начала строк.

Переходим к анализу количества безударных слогов, заполняющих один междуиктовый интервал рассматриваемых стихов. Как известно, идеальная силлабо-тоническая схема двусложных размеров предусматривает односложные междуиктовые интервалы. Количество интервалов больше или меньше одного слога является одной из мер неурегулированности (расшатанности) стиха. На табл. 5 представлены данные по количеству д в у с л о ж н ы х междуиктовых интервалов. Подчеркнуты данные по типичным для данного произведения строкам.

Для сравнения с поэтами XIII—XV вв. были взяты два произведения XIX в.: «Облако» Шелли и «Баллада о старом моряке» Кольриджа.

У всех поэтов, включая Кольриджа (но исключая Шелли), количество удвоений обратно пропорционально длине строк. Возникает впечатление, что слоговой материал как бы не помещается в укороченных строках, но свободнее распределяется по строкам большего объема.

Из произведений конца XII—XIII вв. меньше всего удвоений содер-

Таблица 5

Удвоение слогов на междуиктовых позициях

№№	Произведение и автор	Тип строки (количество ритов)	% строк с удвоением	% позиций с удвоением
1	«Сова и Соловей»	4	23,0	6,0
2	«Король Горн»	3	41,7	13,9
		4	33,0	7,3
3	«Флорис и Бланшефлер»	3	60,7	24,0
		4	45,6	14,5
4	«Хавелок»	4	37,0	9,8
5	«Гай Варвик»	4	43,4	13,2
6	«Ательстон»			
	а) «дочосеровский вариант»	3	55,0	22,3
		4	60,3	22,3
	б) «чосеровский вариант»	3	26,0	8,8
		4	21,4	6,3
7	«Сэр Орфей»			
	а) «дочосеровский вариант»	3	72,0	27,0
		4	41,6	12,4
	б) «чосеровский вариант»	3	59,4	8,7
		4	16,1	4,3
8	«Повесть о Фрейи» (текст XIV в.)			
	а) «дочосеровский вариант»	4	41,2	14,3
	б) «чосеровский вариант»	4	14,8	5,1
9а	«Повесть о Фрейи» (вставка XIX в.)			
	а) «дочосеровский вариант»	4	56,8	20,7
	б) «чосеровский вариант»	4	28,4	10,4
9	«Жемчужина»			
	а) «дочосеровский вариант»	4	80,0	26,7
	б) «чосеровский вариант»	4	43,5	13,0
10	Чосер «Роман о Розе», Фрагмент «А»	4	4,9	1,2
11	Лидгейт	5	11,8	2,3
12	Скельтон «При дворе»	5	15,0	3,0
13	Шелли «Облако»	3	97,5	53,0
		4	100,0	55,0
14	Кольридж «Баллада о старом моряке»	3	22,5	8,0
		4	17,0	4,7

жится в диспуте «Сова и Соловей», больше всего — в «Флорис и Бланшефлер». Во всех романах в строке содержится, как правило, одно удвоение. Так, в трехиктных строках «Короля Горна» одно удвоение содержится в 29,3% строк, два удвоения всего в 4,1% строк, три удвоения — только в одной строке.

В четырехиктных строках романа «Гай Варвик» в 33,2% всех строк содержится только одно удвоение, в 9,2% строк — два удвоения, в 0,8% строк (в восьми из 1000 строк выборки) — три удвоения, и всего в 0,2% строк (в двух строках на всю выборку) удвоены все четыре междуиктовых интервала.

Тройные междуиктовые интервалы единичны. Так, в «Гае Варвике» было обнаружено всего 10 утроенных междуиктовых интервалов.

В романах XIV в., интерпретированных в «дочосеровском слоговом варианте», количество удвоенных междуиктовых интервалов на строку

напоминает романы XIII в. Так, в «Повести о Фрейн» строки с одним слоговым удвоением составляют 32,8% всего текста, с двумя удвоениями — 8,4% текста, с тремя — 0,9% всего текста. Приведенные данные сходны с данными «Гая Варвика».

Эти же романы, интерпретированные в «чосеровском слоговом варианте», дают значительный сдвиг в сторону слоговой урегулированности. Так, в «Повести о Фрейн» в «чосеровском варианте» количество всех строк с одним удвоением составляет 14,2% всего текста, с двумя — 3,6% текста. Создается впечатление, что урегулированность романов конца XIV в. является не столько результатом роста техники поэтов, сколько следствием языковых изменений.

В отличие от анонимных романов XIV в. стихи Чосера — явно новая, количественно и качественно иная ступень развития английского рифмованного стиха. Стихи Чосера отличаются от романов XIV в. и по количеству строк с удвоением. Так, минимальное количество строк с удвоением в романах XIV в. («чосеровский вариант») содержится в «Повести о Фрейн» (14,8% всех четырехиктных строк). В чосеровской «Книге Герцогини», даже без учета возможных элизий и стяжений, случаи которых многочисленны в этом романе, строки с удвоением составляют 8,3% всего текста; если же считать элизии на стыке слов типа *many a day*, и стяжения в словах типа *over, never* закономерными, количество строк с удвоением падает до 3% всего текста.

В стихах поэтов XV в. количество удвоений возрастает. Главным образом, удваивается пятая (междуиктовая) позиция. Наряду со случаями опущения безударного междуиктового слога, удвоения междуиктовых интервалов в стихе поэтов XV в. свидетельствуют о расшатанности стиха этого периода, конец которому положил Уайэтт.

Дольниковые стихи поэтов XIX в. являются, как известно, реакцией на строгий силлабо-тонический стих поэтов-классицистов. Известно также, что на технике поэтов-романтиков XIX в. сказалось их увлечение народным, балладным стихом. Прямым подражанием старым традициям является стих Кольриджа (ср. с «Сэр Орфей», «Повесть о Фрейн»). Количество «удвоений» Шелли превышает их количество, допустимое традициями стихов XIII—XV вв. Это — стихи иного типа. Акцентные доли этого стиха больше, чем в 50% случаев трехсложны. В четырехиктных строках «Облака» содержится 31% строк с одним удвоением, 26% строк с двумя удвоениями, 35,7% строк с тремя удвоениями, 7% строк с четырьмя удвоениями и ни одной строки без удвоений. В трехиктных строках «Облака» употреблено 48% строк с одним удвоением, 30,8% с двумя и 15% строк с тремя удвоениями. Всего одна трехиктная строка не содержит ни одного удвоенного междуиктного интервала.

Любопытно, что и в ранних четырехиктных стихах, и в дольниках XIX в. наибольшее количество удвоений содержится между третьим и четвертым иктами. В трехиктных стихах чаще всего удвоена позиция между первым и вторым иктами. Эта тенденция сохраняется и в «Облаке» Шелли, но нарушена у Кольриджа. В его трехиктных строках максимум удвоений возникает на первой, доиктовой слоговой позиции.

Несмотря на сходство общих тенденций, ритмические особенности произведений оказываются весьма индивидуальными. Примером может послужить следующий факт. Известно, что в средневековой рукописи «Повести о Фрейн» отсутствует 78 строк. Так как «Повесть о Фрейн» — перевод с известного французского оригинала, недостающие строки были восполнены в 1810 г. Г. Вебером (H. W. Weber), крупным специалистом по среднеанглийскому языку и стиху. Перевод Вебера считался весьма удачным, полностью стилизованным под оригинал. Однако наши наблюдения,

подтвердившиеся подсчетами, выявили значительное расхождение в форме стиха между основной частью повести и переводом Вебера. Так, в дочосеровском варианте текста XIV в. удвоения содержатся в 41,2% строк, а во вставке XIX в. — в 56,8% строк. В «чосеровском слоговом варианте» расхождение еще разительнее: в тексте XIV в. удвоения содержатся в 14,8% строк, во вставке XIX в. — в 28,4% строк. Эти цифры не только выше, чем в «Повести о Фрейн» и «Орфее», но даже превышают данные «Ательстона», менее урегулированного в слоговом отношении, чем более поздние романы.

Отмеченное расхождение подтверждает слова Б. Томашевского о том, что «... ритм есть инерция, создаваемая цепью стихов. И эта инерция индивидуальна для поэта. Подделать слово — легко. Подделать ритм возможно лишь после тщательного изучения его» [19].

Переходим к сравнению использования в стихе поэтов XIII—XV вв. строк, не уложившихся в основной метр. Главным образом это строки с «пропущенным» междуиктовым безударным слогом (см. табл. 3).

Количество строк с «пропуском» одного безударного слога между двумя соседними иктовыми позициями в дочосеровских романах особенно значительно в произведении XIII в. «Флорис и Бланшефлер» и романах XIV в. «Сэр Орфей» и, особенно, «Повесть о Фрейн». Чосер не опускал безударные слоги даже в ранних своих произведениях.

Поэты XV в., подражая Лидгейту, почти все опускают пятый (безударный) слог в своих пятииктных строках. Исследователи стиха Лидгейта назвали строки с «недостающим» пятым слогом «перебитыми» (broken-backed lines). Они порицали Лидгейта за их использование, объясняя злоупотребление такими строками отсутствием таланта и вкуса [20]. Можно предположить, что здесь сказалось влияние на монаха Лидгейта латинских стихов, характеризовавшихся цезурой, а также дочосеровских среднеанглийских просодических образцов, хотя Лидгейт, как известно, был учеником и эпигоном Чосера (ср. Лидгейт и «Повесть о Фрейн»).

В расшатанном стихе Скельтона количество строк с «опущенным» безударным слогом охватывает больше 12% всех строк. Строки с «опущенным» безударным слогом встречаются в разной степени почти у всех поэтов XV в., реже всего — у шотландцев, отличавшихся большим вниманием к слоговой структуре строки. Так, у шотландского поэта конца XV в. Генрисона в его «Баснях Эзопа» безударный слог опущен в 4,3% строк, а в «Завещании Крессиды» — всего несколько раз на 625 строк. Последним автором, в ранних стихах которого встречались единичные «опущенные» безударные слоги, был поэт первой четверти XVI в. Томас Уайэтт.

Перейдем к характеру распределения сильных ударений по неиктовым и иктовым позициям ранних рифмованных стихов (см. табл. 6). Общее количество и дистрибуция по строке акцентно-слогового стиха внесхемных безударных и ударных слогов являются весьма показательными для особенностей его ритма.

В дочосеровских трехиктных и четырехиктных стихах XIII—XIV вв. акцентные утяжеления на неиктовых позициях сосредоточены в начале и в конце строки. В середине их количество падает. Такое распределение характеризует строки с «ямбическим» началом. «Хореические» строки имеют максимум только в конце строки. В более поздних «ямбических» че-

[19] Б. Томашевский, Пятистопный ямб Пушкина, сб. «О стихе», Л., 1929, стр. 249.

[20] См., например, E. P. Wilson, B. Dobrée, The Oxford history of English literature, 2 — Chaucer and the fifteenth century, Oxford, 1948, стр. 142; D. Pearsall, The English Chaucerians, в кн.: «Chaucer and Chaucerians. Critical studies in Middle English literature», ed. by D. S. Brewer, London, 1966, стр. 206.

Таблица 6

Примеры распределения сильных ударений по метрическим позициям стиха XIII—XIV вв. (в % от количества строк выборки)

Произведение	Неиктовые позиции				Иктовые позиции			
	1	3	5	7	2	4	6	8
«Флорис и Бланшефлер»	14,8	6,1	6,1	8,7	76,9	84,3	71,7	99,6
«Хавелок»	10,6	5,6	7,1	10,2	70,7	81,7	73,0	99,3
«Гай Варвик»	12,3	8,1	6,1	9,1	73,1	85,7	69,0	99,2
Чосер «Дом Славы»	15,7	10,3	9,4	9,3	75,0	86,7	78,0	99,5
Гауэр «Исповедь другу»	13,4	7,8	7,1	5,1	75,4	82,3	72,9	99,6

тырехиктных стихах внесхемные акцентные утяжеления сосредоточены только в начале строки, последовательно убывая к ее концу.

Понятие «пропуск сильного ударения» на иктовых позициях строки среднеанглийского стиха несколько условно. Это объясняется тем, что многосложные слова характеризовались более развитой, чем в новоанглийском языке, системой второстепенных ударений [21]. Кроме того, такие односложные слова, как некоторые местоимения, вспомогательные и модальные глаголы в рассматриваемый период развития английского языка не были, по-видимому, лишенными ударения в той же степени, как в новоанглийском языке. Однако, если оговориться, что для среднеанглийского стиха понятие «пропуск сильного ударения» на иктовой позиции строки означает лишь некоторое акцентное ослабление, можно проследить эти ослабления и заметить, что они возникают волнообразно, относительно чаще на второй и шестой метрических позициях и реже — на четвертой и особенно — последней, восьмой позиции четырехиктного стиха.

Количество внесхемных сильных ударений во всех проанализированных стихах удивительно единообразно. Так, отношение суммы внесхемных сильных ударений к количеству строк выборки равно в трехиктных «ямбических» строках «Короля Горна» 0,35, в четырехиктных «ямбических» строках «Флорис и Бланшефлер» — 0,34, в «Хавелоке» — 0,33, в «Гае Варвике» — 0,35, в «Повести о Фрейне» — 0,30, в «Исповеди другу» Гауэра — 0,34. От этих произведений несколько отличаются «Сэр Орфей» и «Дом Славы» Чосера. Отношение суммы внесхемных сильных ударений к количеству строк выборок из этих произведений равно 0,42 и 0,44 соответственно.

Количество акцентных ослаблений на иктовых позициях стиха значительно выше количества внесхемных сильных ударений. Отношение суммы внесхемных акцентных ослаблений к количеству строк выборок колеблется от 0,75 («Хавелок») до 0,60 (Чосер, «Дом Славы»).

Описанные здесь особенности метра и ритма романов XIII—XIV вв. не исчерпывают всех имеющихся у нас данных по структуре стиха этого периода. Однако за недостатком места мы вынуждены ограничиться приведенным выше материалом. Подведем некоторые итоги.

§ 6. **Выводы.** 1. На появление и развитие формы нового английского стиха, сменившего древнеанглийскую аллитерационную чисто тоническую, акцентную систему просодии, оказали влияние главным образом две группы причин: экстралингвистические и лингвистические.

В результате влияния романской системы просодии появилась рифма и постепенно из стилистического приема превратилась в структурный принцип английского стиха, придя на смену аллитерации. Влиянием ро-

[21] E. J. D o b s o n, English pronunciation 1500—1700, Oxford, 1957, стр. 445 и сл.

манского стиха объясняется тенденция к силлабичности в раннем английском рифмованном стихе. Изменение ритма строки древнеанглийского стиха, приведшее в сочетании с заимствованной силлабичностью к возникновению дольникового метра, было обусловлено языковыми причинами.

Фонетические и морфологические изменения в английском языке IX—XIII вв. выравняли ритм речи. Это привело к усилению альтернирующего ритма еще в позднем древнеанглийском стихе. Альтернирующий ритм стал более четким, когда количество слогов в строке стабилизировалось.

Факультативность произнесения в стихе конечного *-e*, все реже употреблявшегося в речи XIV в., способствовала еще большей слоговой урегулированности английского стиха XIV в., который и застал Чосер.

2. Стих конца XII — середины XIV вв. носил не просто акцентный и не просто слоговой, а акцентно-слоговой характер. Это был стих, свыше 75% строк которого имели равное количество структурнозначимых, иктовых слоговых позиций, а междуиктовые интервалы 1—2 слога.

Вероятность возникновения двусложного междуиктового интервала во всех стихах XIII—XIV вв. гораздо ниже вероятности односложного интервала. Так, в трехиктовых строках «Короля Горна» вероятность появления удвоенного междуиктового слогового промежутка равна 0,18 (отношение числа удвоений к числу всех междуиктовых безударных промежутков), в «Хавелоке» — 0,09, а в чосеровской «Книге Герцогини» — 0,02. Если же принять во внимание возможность элизии на стыках сочетаний слов типа *many a...* и стяжений в словах типа *ever, never, over*, вероятность удвоения междуиктовых интервалов в «Книге Герцогини» падает до 0,009.

3. Стих Кольриджа, в плане частоты возникновения в нем двусложных междуиктовых интервалов, является подражанием ранним английским дольникам: вероятность удвоений в его четырехиктных строках равна 0,04. У Шелли количество удвоений намного превышает ранние модели. Вероятность удвоения междуиктового слогового интервала в четырехиктных строках «Облака» равна 0,54.

4. Для всех, даже самых ранних рифмованных стихов «ямбическое» назало строки более типично, чем «хореическое». С увеличением урегулированности стиха количество «хореических» (усеченных на первый, предиктовый, слог) строк уменьшается.

5. Строки слогом, «опущенным» на пятой (междуиктовой) позиции, были в XIII—XV вв. относительно редким, но общепринятым ритмическим вариантом трех-, четырех- и пятиктных стихов.

6. В стихе всех поэтов XIII—XIV вв. наблюдается сходное количество внесхемных сильных ударений на неиктовых слоговых позициях, а также акцентных ослаблений на иктовых позициях строки. Отношение суммы количества внесхемных сильноударных слогов к количеству строк выборок колеблется в пределах от 0,3 до 0,4; отношение суммы количества внесхемных акцентных ослаблений к количеству строк выборок происходит в пределах от 0,6 до 0,7. Внесхемные сильные ударения сосредоточены у более ранних среднеанглийских поэтов в начале и конце строки, у более поздних — только в начале строки. Акцентные ослабления на иктовых позициях возникают волнообразно, относительно чаще — на первом и третьем, относительно реже — на втором и четвертом иктах.

7. Стих Чосера отличается от стиха его предшественников, главным образом, высокой точностью слогового состава строки, в частности, единообразным количеством иктов на строку и почти полным тождеством междуиктовых слоговых интервалов. Незначительное количество междуиктовых слоговых удвоений, «ямбические» начала строк и отсутствие пропусков слогов на междуиктовых интервалах делает даже ранние стихи Чосера силлабо-тоническими.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

Г. Ц. ПЮРБЕЕВ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ ЗВУКОВ В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

Строй монгольских языков, согласно установившейся традиции, связывается обычно с представлениями об исключительно развитой в них агглютинации, которая как способ конструирования слов прочно занимает отведенное ей историей монопольное место. Поэтому те или иные отклонения от ныне действующих грамматических норм отдельными исследователями расцениваются как исключения из общих правил, как случаи единичные, не играющие сколько-нибудь значительной роли [1].

Однако лингвистические факты, добытые монголистами за последние годы, и теоретические поиски, предпринятые с целью изучения некоторых, ранее не отмечавшихся или малоизвестных явлений (таких, как, например, фузия, символизация, многозначность аффиксов, флексия основ и др.), вносят существенные поправки в прежние взгляды на структуру монгольских языков [2]. В этих условиях для исчерпывающей и всесторонней характеристики морфологической структуры монгольских языков необходимо строго учитывать реальное соотношение разных грамматических приемов, представленных в их системе.

Исходя из этого, изложим здесь наблюдения над характером функционального чередования звуков в монгольских языках, используя информацию о той работе, которая была проделана в этой области после Б. Я. Владимирцова, и, по мере возможности, привлекая новый фактический материал [3].

Функциональное чередование звуков как своеобразный технический прием слово- и формообразования, именуемый «внутренней флексией», или «флексией основ», основано в монгольских языках на определенном виде спонтанных, не зависимых от фонетического окружения, чередований звуков, наблюдаемых чаще всего в пределах неразложимой основы и вызывающих лексико-семантическую и стилистическую дифференциацию слов. Примеры: монг. *арвалзах* «кипеть, шевелиться» (о насекомых)/*орвол-*

---

[1] См., например: Г. Д. Санжеев, Грамматические приемы в монгольских языках, «Труды [Московск.] ин-та востоковедения» (далее — МИВ), 2, 1940, стр. 204 и сл.; его же. Исключения в многольских языках, там же, 3, 1946, стр. 109 и сл.

[2] Об этом подробно см.: Т. А. Бертагаев, Морфологическая структура слова в монгольских языках, М., 1969.

[3] Ниже не рассматриваются формально-фонетические чередования типа калм. *цуһар/хуһар* «все», бурят. *эбдэхэ/эмдэхэ* «ломать, разрушать», монг. *уудэх/уусэх* «возникать, начинаться, происходить» как не обладающие реальной значимостью. При таком чередовании звуков варьируется только внешний облик слов, а их содержательная сторона остается неизменной. Об этом подробнее см.: Б. Я. Владимирцов. Сравнительная грамматика многольского письменного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика. Л., 1929, стр. 127—141; Б. Х. Тодаева, Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и морфология, М., 1951, стр. 36—37; Т. А. Бертагаев, указ. соч., стр. 131—179.

зох «ползать, пресмыкаться, извиваться» (о змеях); монг. *бамбаганах* «трястись, колыхаться, пружинить» (о трясине) / *бэмбэгэнэх* «трястись, трепетать, дрожать» (от страха); калм. *давших* «подниматься вверх» (о комлибо)/*девших* «1. прорастать, пробиваться кверху (о зелени); 2. усиленно развиваться, прогрессировать»; монг. *мандлах*, бурят. *мандалха*, калм. *мандлх* «подниматься, восходить, возрождаться» / монг. *мэндлэх*, бурят. *мундэлхэ* почтит. «рождаться, появляться на свет» (о выдающихся личностях или духовных особах).

Факты подобного рода обнаруживаются в той или иной мере почти во всех подразделениях урало-алтайских языков: финно-угорских, самодийских, тунгусо-маньчжурских, тюркских и монгольских [4].

В монгольских языках явление так называемой «флексии», в частности — использование деления гласных по способу образования в целях изменения социальной окраски слов и обозначения грамматического рода стало известно благодаря трудам Б. Я. Владимирцова [5].

Позднее, в процессе специальных исследований Т. А. Бертагаева со всей очевидностью было доказано, что чередование фонем не ограничивается только гласными двух рядов (гуттурального и палатального), а охватывает всю систему гласных и согласных, приобретая черты общемонгольские. Причем, если Б. Я. Владимирцов в чередовании гласных видел лишь средство выражения категории грамматического рода (точнее: пола) и числа (в личных местоимениях), то теперь известно, что назначение этих чередований гораздо шире. В качестве лексико-фонологического способа конструирования и изменения слов чередование звуков прослеживается как в именных, так и в глагольных частях речи.

Функциональные чередования звуков в монгольских языках, являясь по своему характеру фонематизованными, могут использоваться для выражения таких грамматических значений, как переходность — непереходность. Примеры: монг. *цоолох* «продырявливать, прокалывать, пробивать» / *цоорох* «продырявливаться, прокалываться пробиваться», *хатах* «сохнуть, засыхать; увядать, чахнуть» / *хатаах* «сушить, высушивать, вялить».

Пары слов, возникшие в результате закономерно чередующихся гласных или согласных в корнях и основах, представляют сходные звуковые комплексы с весьма близкими значениями.

Обращает на себя внимание то, что чередующиеся фонемы с артикуляционной стороны, да и с точки зрения их историко-фонетической эволю-

---

[4] Й. Балаша, Венгерский язык, М., 1951, стр. 51—52; Б. А. Серебренников, Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфологическом типе языков, сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.— Л., 1965, стр. 8; Н. М. Терещенко, К проблеме соотношения агглютинации и флексии в самодийских языках, там же; В. А. Горцевская, О флексии и словосложении в эвенкийском языке, «Докл. и сообщ. ИЯ [АН СССР]», XI, М.— Л., 1958, стр. 20—29; В. И. Цинциус, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949; стр. 44; И. Т. Мороз, Словообразование имен существительных в маньчжурском языке, Автореф. канд. диссерт., М., 1967, стр. 11—12; Д. Г. Киекбаев, Вариантные слова, или сингармонические параллелизмы, в башкирском языке, «Уч. зап. [Башкирск. пед. ин-та]», V, Серия филологич., 1; М. А. Черкасский, Тюркский вокализм и сингармонизм, М., 1965, стр. 42—70; Г. Д. Санжеев, Грамматика калмыцкого языка, М.— Л., 1940, стр. 26; его же, Сравнительная грамматика монгольских языков, I, М., 1953, стр. 98, 115—118, 149; Т. А. Бертагаев, Флексия основ в агглютинативных языках, «Сборник трудов по филологии [Бурят-монг. НИИКЭ]», I, Улан-Удэ, 1948; его же, Чередование фонем и сингармонизм в агглютинативных языках, сб. «Морфологическая типология...»; его же, Морфологическая структура слова..., стр. 87—99.

[5] См.: Б. Владимирцов, Следы грамматического рода в монгольском языке, «Докл. Росс. АН», Серия В, 1925, апрель — июнь; его же, Сравнительная грамматика..., стр. 127—141.

ции являются звуками смежными (по качеству и месту образования). Например, пары с чередованием фонем *а/э* (*е*), *о/ө*, *ү/э*, *б/м*, *д/с*: монг. *аарцаг* «таз, тазовая кость» / *ээрцэг* «тазобедренный сустав»; калм. *самрх* «мешать, перемешивать чай» (реже: другие жидкости) / *семрх* «мешать, перемешивать мелко нарезанные кусочки мяса»; монг. *шовгор*, бурят. *шобогор*, калм. *шовһр* «остроконечный, островерхий; конусообразный» / /монг. *шөвгөр*, бурят, *шүбэгэр* «острый, шилообразный»; калм. *нүүхлх* «делать едва заметные телодвижения, слегка ворочаться» (о человеке)/ *нээхлх* «качаться, раскачиваться, колебаться» (вообще); монг. *бултрах* «уклоняться, отделываться» / *мултрах* «выпутываться, вырываться, ускользать, увертываться; избавляться, освобождаться»; бурят. *обог* «1. фамилия; 2. род, племя» / *омог* «1. фамилия; 2. *перен.* местность»; монг. *дадах* «привыкать, приобретать навык, опыт» / *дасах* «привыкать, привязываться, приживаться».

Но нередки случаи, когда обе разновидности некогда одной и той же основы в семантическом отношении значительно больше отдалены друг от друга. Например: монг. *гангинах*, бурят. *гангинаха* «визжать, скулить» (о собаке) / монг. *гонгинох* «хныкать, пищать»; бурят *гонгинохо* «1. гнусавить; 2. ныть, хныкать, капризничать»; монг. *цомцрих* «бежать, согнувшись» / *цөмцрөх* «идти наклонившись, крадучись, прячась»; монг. *бултайх*, бурят. *бултайха*, калм. *бултах* «выдаваться, высовываться, выпирать» / / монг. *бүлтийх*, калм. *бүлтэх* «выпячиваться, быть выпученным» (о глазах); калм. *тасрх* «оторваться, оборваться» / *тесрх* «лопнуть» (о петле); калм. *бөк*, монг. *бөх* «борец, силач» / монг. *бэх* «крепкий, прочный; сильный».

Иногда встречаются и такие пары слов, между которыми смысловые связи выражены слабо, а порой заметно нарушены. Например: калм. *тохм* «род.; порода» / *төкм*[6] «объединение людей одного рода»; монг. *хожгор* «плешина, плешивый» / *тожгор* «облезлый, обтершийся».

Семантический объем каждого из пары слов, построенных на чередовании звуков, как правило, бывает неодинаковым: из двух слов, относящихся к различным фонетическим рядам, одно может обладать несколькими значениями, а другое — всего одним или двумя. Например: монг. *хоржогнох* «шуметь; стрекотать, тарахтеть; скрежетать» / *хорчигнох* «журчать» (о ручейке), др.-монг. *джабаг* = совр. монг. *заваг* «щель» (между войлоком стены и крышей юрты) / др.-монг. *загаг* = совр. монг. *зааг* «1. рубеж, стык; 2. межа; 3. граница»; др.-монг. *дэбэл* = совр. монг. *дэвэл*[7] «одежда» (вообще) / др.-монг. *дэгэл* = совр. монг. *дээл* «верхняя одежда с бортами и воротом (шуба, тулуп, халат)»; ср. еще: бурят. *дэгэл* «шуба, пальто», *дэглы* «женская накидка» (с разрезом сзади, надеваемая на шубу).

В некоторых лексических группах имеет место комбинированное чередование гласных и согласных, способствующее более резкому смысловому расхождению слов: монг. *зутах* «скудеть, становиться скудной» (о пище) / *зүдэх* «истощаться; изнуряться, изнемогать»; калм. *шуукрх* «тяжело вздыхать» / *сүүкрх* «сопеть», монг. *дүгрэг* «что-либо круглое» / / *төгрөг* «1. тугрик (денежная единица в МНР); 2. круг, кружочек»; калм. *цухрх* «пятиться, подаваться назад» / *цөкрх* «отступать перед чем-либо, отчаиваться» — здесь чередуются гласные *у* / *ү*, *ү* / *ө* *у* / *ө* и согласные *т* / *д*, *ш* / *с*, *х* / *к*.

---

[6] Устаревшее слово, которое употребляется только в специальной исторической литературе и в произведениях фольклора в составе выражения *өөрд улсын төр-төкм* буквально «ойратского народа государство-объединение».

[7] См.: Я. Цэвэл, Монгол хэлний товч тайлбар толь, Улаанбаатар, 1966, стр. 222.

Довольно часто слова из пары, связанной чередованием звуков в основе, четко распределяются по разным стилистическим сферам. Например, из двух семантически равноценных слов монгольского языка *дэлдэх* и *дэлсэх* «бить, стучать, барабанить» первое относится к стилю книжному, а второе — к нейтральному. См. также: зап. бурят *ажаа* «1. *уст.* матушка, 2. почтительное обращение к матери отца» / бурят. *эжы* «мать, мама, матушка»; монг. *сажих* «1. книжн. качать головой» (в знак возражения и отрицания) / *сэжих* «мотать головой, подкидывать концом рога» (о корове).

Стилистическая неоднородность и несовпадение семантической емкости слов, появившихся на базе чередования звуков, отражается непосредственно и на их синтаксической сочетаемости. Возьмем слова, вполне сопоставимые в плане чередования звуков: монг. *ахар* «1. короткий, низкий; 2. овечья шерсть осенней стрижки» и *охор* «1. короткий, невысокий, приземистый; 2. непродолжительный; 3. недалекий (о человеке)». По нормам монгольского языка из-за смысловой несовместимости невозможны, например, сочетания *ахар бодол*, *ахар санаа* при безупречно правильных *охор бодол*, *охор санаа* «недальновидность, несообразительность»; кроме того, *ахар* в соединении со словом *суул* дает неразложимую устойчивую единицу со значением «кончик», тогда как сочетание *охор суул* «короткий, куцый хвост» синтаксически свободно.

Семантические разновидности слов, связанные отношением чередования звуков, могут сосуществовать как в пределах одного языка или диалекта, так и в более широких границах, т. е. в нескольких генетически родственных языках. Примеры: калм. *аадмг* [8] «отжатая творожистая масса»; калм. *аадм* [9] «сушеный мелкий творог» / калм. *ээдмг* (*ээдм*), бурят. *ээдэмэг* (*ээдэм*), монг. *ээдмэг* (*ээдэм*) «заквашенное молоко, простокваша»; монг. *аажий* «бабушка, бабка» / монг. *ээж*, калм. *ээж* «мать, мама, матушка»; калм. *саржңнх* «шуршать, издавать шорох» / *сержңнх* «шелестеть, трепетать, чуть слышно шуметь» (о ветерке); калм. *шуурмг* «шкварки, выжарки» / *шуурмг* «род сушеного творога»; калм. *дота*, монг. *дотно* «близкий, родной; интимный» / калм., монг. *дөт*, бурят. *дүтэ* «ближний, прямой, кратчайший» (о пути); калм. *гоам* «невод, сеть» / *гуламн* «паутина», калм. *буг* «соринка» (растения) / *бог* «соринка (вообще), сор».

Случается и так, что из двух вариантных слов, противопоставленных по огласовке и сопровождающихся семантической филиацией, в одном языке или диалекте сохраняется лишь один вариант, а в родственном ему языке — другой [10]. Таковы, например, калм. *аармг* «накипь творожистой массы при перегонке молочной водки» / монг., бурят. *ээрмэг* «накипь пены на кислом молоке»; монг. *анзаарах* «примечать, замечать, обращать внимание» / монг. *анхаарах* «всматриваться, внимательно относиться, обращать внимание»; бурят. *хатуу*, калм. *хату* «крепкий, твердый прочный» / / монг. *хэтүү* «твердая подкожная опухоль в виде бубона» (у скота).

В монголистике неоднократно в разной форме высказывалось мнение о том, что сингармоническое чередование звуков как лексико-фонологическая система было присуще монгольским языкам в ранний период их развития и что к настоящему времени оно утратило былую созидательную силу [11]. Но тем не менее ее косвенное проявление можно видеть, по нашему мнению, на

[8] У. Э. Эрдниев, Пища и напитки калмыков, «Зап. [Калмыцк. НИИЯЛИ при Сов. Мин. Калмыцк. АССР]», 2, 1962, стр. 224.

[9] В указанном значении это слово отмечено в говоре донских калмыков: А. Ш. Кичиков, О говоре донских (бузава) калмыков, «Уч. зап. [Калмыцк. НИИЯЛИ при Сов. Мин. Калмыцк. АССР]», 5, Серия филологии, 1967, стр. 45.

[10] См.: М. А. Черкасский, указ. соч., стр. 71.

[11] См., например: Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика..., стр. 116—177; его же, Старописьменный монгольский язык, М., 1964, стр. 23.

примере семантической филиации диалектных форм, исторически восходящих к одному слову. В этом отношении особенно показательны примеры из калмыцкого литературного языка: дэрб. *хэв* «судьба, доля, счастье» < общемонг. *хуби* «часть, доля, судьба» > торг. *хув* «часть, доля чего-либо» [12].

Наблюдения над сущностью чередования звуков и представленный материал позволяют сделать вывод о достаточно широком развитии этого явления в монгольских языках. Поэтому, признавая за агглютинацией ведущее место в словообразовательной и словоизменительной системе монгольских языков, нельзя недооценивать роль и значение качественно иных приемов (в частности, функционального чередования звуков) и отношений в строе исследуемых языков. В связи с этим перед монголистикой встает сложная задача выявления и тщательного изучения всего того, что в монгольских языках и диалектах оказывается неагглютинативным, характерным для языков других типов [13].

---

[12] Пример взят из статьи: Г. Д. Санжеев, Исключения в монгольских языках, стр. 112.

[13] См. об этом: Г. Д. Санжеев, Место лингвистической реконструкции в монголистике, М., 1960, стр. 6 («Доклады делегации СССР на XXV Международном конгрессе востоковедов»).

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

Е. КУРИЛОВИЧ

ОПЫТ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ОДНОГО ЯЗЫКОВОГО ЗАКОНА *

В настоящей статье выдвигается идея о распространении некоторых закономерностей, наблюдаемых в истории языка, на другие семиотические области. Речь идет прежде всего о правиле, существенном для психических ассоциаций вообще и имеющем особое значение в тех случаях, когда знаки подвергаются воздействию контекста — материального и функционального. Характерные особенности языка (такие, как артикуляция и коммуникативная функция) так же, как и его конвенциональная природа, делают язык весьма выгодным объектом для подобных исследований, хотя сами эти черты и нивелируются при общей формулировке закона, который абстрагируется от материальной стороны знака и его специфических функций.

Начнем с нескольких примеров из истории языка, чтобы на их основе сформулировать необходимые общие понятия.

1. В семитских языках, как и в индоевропейских, прилагательное, выступающее нормально в функции определения, могло употребляться самостоятельно как abstractum. Ср. греч. *ἀγαθόν*, *κακόν*, лат. *bonum*, *malum*; польск., русск. *dobro* (старая форма прилагательного среднего рода); исп. *lo rojo* «красный цвет, красное» (*rojo* «красный») и т. д. Можно, следовательно, сказать, что форма семитского прилагательного (в одних случаях мужского, в других — женского рода) была амбивалентна, например, араб. *ḥasanatum* «красивая» и «красота» (как abstractum). Такая форма имела первичное (основное) значение прилагательного и вторичное (обусловленное контекстом) значение abstractum. Атрибутивная функция была первичной потому, что abstractum имело редуцированную парадигму прилагательного, содержащую одну родовую форму с флексией, относящейся как к женскому, так и мужскому роду. Здесь возникало отношение иерархии, основанное на инклюзии: сфера употребления abstractum (=всего лишь часть флексий прилагательного) включалась в сферу употребления прилагательного.

Обозначим отглагольное прилагательное от глагола *qatala* символом *qatal*. Парадигма глагола *qatala* (3-е лицо ед. числа) имеет в классическом арабском либо вокалические (*-a*, *-at*, *-ā*, *-atā*, *-ū*), либо консонантные (*-nā*, *-nā*, *-ta*, *-ti*, *-tu*, *-tum*, *-tunna*) окончания. Эти флексии соответствуют в целом прасемитскому состоянию.

В определенный момент в прасемитском произошло сокращение всех долгих гласных в закрытых слогах, например: *jaqūlu* «он говорит», *taqūlūna* «вы говорите» (муж. род), *taqūlna* «вы говорите» (жен. род), *qūlī* «говори!» (жен. род), *qūl* «говори!» (муж. род) и т. д. Краткая гласная в закрытом слоге могла, следовательно, интерпретироваться либо как краткая,

* Публикуемая статья Е. Куриловича напечатана в «Studia semiotyczne» (Wrocław — Warszawa — Kraków, 1970, стр. 23—29) под заголовком «Próba ekstrapolacji pewnego prawa językowego».

либо как сокращенная долгая. Иерархия этих двух форм зависела от сферы их употребления. Так, в приведенной выше парадигме *qatala*, *qatalta* и т. д. гласная во втором слове была либо краткой (*qatala*), либо амбивалентной (*qatalta*), т. е. сфера употребления краткости была больше, чем сфера долготы. При этом возникает отношение инклюзии (включения); см. рис. 1, где внутренний круг соответствует закрытым слогам с амбивалентным (в отношении количества) вокализмом; вертикальной штриховкой обозначена сфера краткости, горизонтальной — сфера долготы.

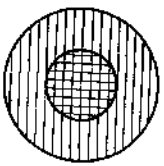

Рис. 1

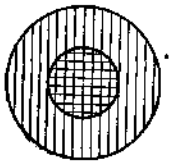

Рис. 2

Отношение инклюзии связывает отглагольное прилагательное с кратким вокализмом *qatāl* и другой отглагольный дериват *qatāl*, который может быть образован благодаря амбивалентности долготы — краткости гласных в глагольных формах с закрытым слогом (*qatalta*, *qataltum* и т. д.) Соответственно иерархии между кратким и долгим вокализмом *qatāl* (с кратким гласным) репрезентует первичную звуковую форму, а *qatāl* (с долгом гласным) — вторичную.

Таким образом, как на звуковом уровне, так и на уровне значения создается иерархия (опирающаяся на отношение инклюзии) между первичной и вторичной функцией, между первичной и вторичной звуковой формой:

	Первичная функция	Вторичная функция
Первичная звуковая форма	прилагательное с краткой гласной	abstractum с краткой гласной
Вторичная звуковая форма	прилагательное с долгой гласной	abstractum с долгой гласной

Функциональная (семантическая) амбивалентность сочетается здесь с амбивалентностью звуковой. На определенном этапе нейтрализация вокализма была использована для того, чтобы закрепить за каждой функцией особую звуковую форму (дифференциация).

Первичная функция (прилагательное) получила первичную звуковую форму, т. е. форму с краткой гласной *qatāl*. Вторичная функция (abstractum) стала выражаться вторичной звуковой формой с долгой гласной *qatāl*. Вторичная функция, т. е. значение abstractum, которое до сих пор было обусловлено контекстом, становится теперь автономным, приобретая особый грамматический показатель — удлинение гласной второго слога.

Таким образом, устанавливается связь между первичной функцией и первичной звуковой формой и между вторичной функцией и вторичной звуковой формой.

2. В греческом сложные слова, вторым элементом которых является основа на *-r* или *-n*, часто заменяют во флективной морфеме гласный *e* на гласный *o*. Например, πατήρ: ὁμο-πάτωρ «имеющий того же самого отца»; μήτηρ: ἀ-μήτωρ «без (не имеющий) матери»; φρήν «ум»: ὁμό-φρων «думающий так же»; ἄ-φρων «без (не имеющий) разума».

Семантическая функция сложных слов с существительным в качестве второго члена могла быть двоякой. Основное (первичное) значение соответствовало значению второго члена, т. е. *ὁμο-πάτηρ должно было прежде всего означать «тот же самый (идентичный) отец». Однако эти сложения могли употребляться и в качестве прилагательных, определяющих «экзоцентрически» другое существительное. Ср. например, в польском *biało-głowa* как прилагательное к *kobieta*, *baba* и т.п.; в этом случае сложное слово *białogłowa* означало не «голова», а «женщина» в отличие от словосложения *żywopłot* «забор». Следовательно, сложные слова с существительным в качестве второго компонента амбивалентны: их первичная (основная) функция была «эндоцентрической» (т. е. субстантивной, как и функция второго компонента в независимом употреблении), а вторичная (подчиненная) была «экзоцентрической» (т. е. атрибутивной). Между этими двумя функциями существовали отношения и н к л ю з и и: в изолированном употреблении второй компонент имел только значение существительного.

Определенные звуковые изменения, относящиеся еще к доисторической (индоевропейской) эпохе, обусловили звуковую амбивалентность некоторых падежных форм существительных типа πατήρ. В род. падеже ед. числа πατρός, дат. падеже ед. числа πατρί выпадение гласной между τ и ρ (гласной, которая появляется в πατέρα, πατέρες и т. д.) могло интерпретироваться и как выпадение *e*, и как выпадение *o*, поскольку первоначально существительные на -τωρ (как δώτωρ, Ἕκτωρ) также устраняли гласные между τ и ρ в род., дат. падежах ед. числа. Таким образом, при наличии форм πατέρα, πατέρες и т. д. формы типа πατρός, πατρί представляли собой в качестве первичных синкопу формы патер-, в качестве вторичных — синкопу формы патор- (отношение инклюзии), см. рис. 2, где внутренний круг соответствует род., дат. ед. числа с амбивалентностью синкопированной гласной; вертикальной штриховкой обозначена область гласного *e*.

Здесь также вторичная форма закрепилась за вторичной функцией, поэтому из *ὁμο-πάτηρ получаем в экзоцентрической функции ὁμο-πάτωρ (со значением ὁμο-πάτορος) «имеющий того же отца».

3. В литовском так же, как и во многих других языках, некоторые глаголы обнаруживают г р а м м а т и ч е с к у ю амбивалентность следующего рода: в одних случаях они имеют одновременно значение непереходности и каузативности, подобно франц. *sortir* «выходить» и «выводить», *descendre* «сходить вниз» и «спускать» или англ. *to stop* «останавливаться» и «останавливать что-л.», *to shake* «дрожать» и «трясти» и т. д. В других случаях такие глаголы могут обозначать и непереходное действие, и состояние, подобно лат. *tacēre* «замолчать» и «молчать», греч. νικᾶν «побеждать» и «быть победителем», φεύγειν «убегать» и «жить в изгнании» и т. д. Во многих случаях такого рода различия в значении выражаются в литовском с помощью унаследованного носового инфикса, например, *skriedžiù*, *skriẽsti* «поворачивать что-л.»: *skrindù*, *skristi* «поворачиваться», *splečiù*, *splẽsti* «раскладывать что.-л.»: *splintù*, *splisti* «ложиться, располагаться». С другой стороны: *miegù*, *miegóti* «спать»: inchoativum *-mingù*, *-migti* «засыпать», *siaučiù*, *siaũsti* «быть в ярости»: inchoativum *siuntù*, *siùsti* «впадать в бешенство».

Были, однако, в литовском глаголы, к которым носовой инфикс не присоединялся, а именно те, корень которых оканчивался на *r*, *l*, *n*, *m* + + согласный, например: *vert*, *tvenk*, *temp*. Если глаголы с таким корнем были амбивалентны, то соотношение каузативной и непереходной функции (соответственно: значения состояния и значения действия) устанавливалось у них по образцу тех глаголов, где обе эти функции имели собственное выражение. Как показывает направление деривации глаголов с носовым инфиксом, непереходный глагол с носовым инфиксом восходил либо к кау-

зативно-переходному глаголу (например, *skrindù* «поворачиваюсь» < < *skriedžiù* «поворачиваю что-л.»), либо к глаголу (непереходному) состояния (например, *siuntù* «впадаю в бешенство» < *siaučiù* «я взбешен»).

Следовательно:

φ_1 (первичная функция) каузативность-переходность: φ_2 (вторичная функция) непереходность.

Φ_1 (первичная функция) состояние: φ_2 (вторичная функция) действие.

Эта иерархия функций была обязательным, хотя и недостаточным условием дифференциации у глаголов, которые из-за характера своей основы не могли давать производных с носовым инфиксом. Дифференциация оказалась возможной только благодаря тому, что возникла амбивалентность некоторых групп согласных.

Начиная с определенного момента доисторического периода консонантная группа *st* могла быть результатом соединения корня на *t* (*d*) с суффиксом или флексией, начинающейся на *t* или *st* [1]. Следовательно, форма типа *vìršstas* (страдательное причастие прошедшего времени несовершенного вида от *veršiù* «поворачиваю») в отличие от таких форм, как *liktas*, *gìrtas* (страдательные причастия прошедшего времени несовершенного вида от *liekù* «оставляю», *giriù* «люблю»), была в звуковом отношении амбивалентной, причем первичной была, судя по *liktas*, *girtas*, трактовка *virt-tas*, а вторичной — *virt-stas*. Точно так же и инфинитивы *likti*, *girti* при *vìršti* позволяют предполагать амбивалентность последней формы (*virt-ti* или *virt-sti*).

Соотношение *virt-t-as* : **virt-st-as* [2] повлекло за собой в презенсе *virstù* наряду со старой формой *veršiù*, причем вторичная функция (интранзитивная) соединилась с вторичной формой *-st-*. Подобно этому *verkiù* «я плáчу» (состояние): *virkstù* «расплакаться» (inchoativum). Таково происхождение форм настоящего времени с суффиксом *-st-*, обозначающих непереходное действие в противоположность каузативным формам, с одной стороны, и глаголам состояния, с другой.

4. Польский пример. Различие, подобное русск. *узнаю* и *узнáю* (настоящее время: будущее время), должно было в польском исчезнуть уже хотя бы по причине стабилизации ударения в слове. К этому присоединились контракции: группа *-aje* подверглась стяжению в *a* (первоначально долгое). Отсюда, например, *poznasz*, *pozna*, *poznamy*, *poznacie*. Контракции не было в форме 3-го лица мн. числа, которая звучала и звучит *poznają*.

В формах *poznasz*, *pozna* и т. д. гласный *a* был амбивалентен: *он мог* манифестировать просто гласный *a* или же контракцию группы *aje*. В то же время имела место и функциональная амбивалентность. Формы *poznasz*, *pozna*, *poznamy*, *poznacie* после исчезновения акцентных различий (и контракции) имели значение как настоящего, так и будущего времени. Инклюзия в данном случае проявлялась в том, что презенс в принципе выражает вневременное действие, тогда как futurum означает будущее действие. Таким образом, презенс был первичной функцией польской парадигмы, а futurum — вторичной.

Следовательно, в определенный момент возникла иерархия на основе инклюзии в отношении как звуковой формы, так и семантической функции.

---

[1] И соответственно (*s*, *š*, *ž*, *sk*, *zg*, *žk*) + *t* и (*s*, *š*, *ž*, *sk*, *zg*, *žk*) + *st* одинаково давали *st*, *št*. *žt*, *kst*, *gzt*, *kšt*.

[2] Мы не хотим здесь вдаваться в морфологические детали, рассмотренные нами в книге «The inflectional categories of Indo-Iranica» (Heidelberg, 1964, стр. 51). Структура формы презенса *virstù* выводится из пропорции *virt-t-as*: *virt-st-as* = *virt-t-*: *virt-st-*. Но *virt-t-*: *virt-st-* равно *vert'-*: *virt-st-* (отсюда *veršiù*: *virstù*), поскольку отделение суффикса *t* в форме причастия восстанавливает глагольный корень в его основной форме (выступающей в презенсе).

По отношению в форме 3-го лица мн. числа *-ają* амбивалентность *a* в *poznasz*, *pozna* и т. д. интерпретировалась следующим образом: первичная звуковая форма *aje*, вторичная — *a*. Что же касается семантической функции, то здесь иерархия вытекала из соотношения презенс (нейтральное, немаркированное): futurum (маркированное). Результат — закрепление *aje* за настоящим временем, *a* — за будущим:

	Presens	Futurum
3 л. ед. ч.	*poznaje*	*pozna*
1 л. мн. ч.	*poznajemy*	*poznamy*
3 л. мн. ч.	*poznają*	(амбивалентна)[3].

Примеры, подобные приведенным здесь, можно легко умножить, причем следует заметить, что традиционные объяснения в исторических грамматиках с методологической точки зрения часто оказываются ошибочными. Опираясь на наши примеры, попытаемся формализовать и обобщить изложенное.

Пусть f обозначает звуковую форму (при этом речь может идти как об отдельной фонеме, так и о группе фонем, фонологическом признаке или просодеме), а φ — семантическую функцию. И f, и φ подвержены влиянию окружающего текста, или контекста. Для f это звуковой контекст, для φ — функциональный (семантический). В понятие функционального контекста входит и конситуация, чего обычно нет в случае звукового контекста.

Чрезвычайно важным понятием является нейтрализация, в результате которой возникают отношения инклюзии и иерархии элементов языковой системы. Два элемента f_1 и f_2 могут при определенных условиях контекста подвергнуться нейтрализации, состоящей в том, что оппозиция $f_1 : f_2$ устраняется в этих условиях в пользу f_1 (f_1 выступает на месте f_2). См., например, появление глухой согласной на месте звонкой в исходе польских слов *mag* (*mak*), *Bug* (*Buk*) и т. д. Подобно этому и функциональные элементы могут нейтрализоваться в определенных условиях функционального (семантического) контекста, ср. нейтрализацию различия между несовершенным (φ_1) и совершенным (φ_2) видами в настоящем времени. Различие между *wybieral* (φ_1) и *wybrał* (φ_2), между *będzie wybierał* (φ_1) и *wybierze* (φ_2) устраняется в контексте настоящего времени в пользу φ_1 (*wybiera*).

Разумеется, условия нейтрализации звуковых форм и условия нейтрализации семантических функций не зависят друг от друга.

Нейтрализация создает отношение инклюзии: f_1 и φ_1 появляются за пределами той зоны, в которой они отличаются от f_2 resp. φ_2 (или: в которой им противопоставляется f_2 resp. φ_2). Инклюзия влечет за собой иерархию: f_1 и φ_1 — нейтральные, или немаркированные, члены, f_2 и φ_2 — маркированные члены оппозиции $f_1 : f_2$ resp. $\varphi_1 : \varphi_2$.

Пусть форме f_1 соответствует функция φ_1 и φ_2, т. е. пусть форма f_1 в определенных контекстах имеет вместо функции φ_1 (первичной) вторичную функцию φ_2. Если теперь в каком-либо контексте наступит нейтрализация f_1 с каким-то иным звуковым элементом f_2 (в пользу f_1), то это приведет к дифференциации $f_1\varphi_1 : f_2\varphi_2$, т. е. к эмансипации функции φ_2, которая получит собственный формальный показатель (звуковой) f_2, тогда как до сих пор она была контекстуально обусловленной вторичной функцией формы f_1.

По отношению к $f_1\varphi_1$ комбинации $f_1\varphi_2$ и $f_2\varphi_1$ могут быть сочтены комбинаторными вариантами (либо функциональными, либо звуковыми), но со-

[3] Оппозиция окситонезы и баритонезы, засвидетельствованная в русском, была таким образом заменена оппозицией между формами без стяжения и формами со стяжением (за исключением 3-го лица мн. числа).

единение f_2 с φ_3 создает новый знак. Сочетание обоих обусловливающих контекстов, функционального и звукового, делает невозможным отождествление $f_2\varphi_2$ с $f_1\varphi_1$.

Важность сформулированного положения не ограничивается языковыми знаками. Оно сохраняет свое значение в случае (относительно) устойчивых ассоциаций, т. е. для любых знаков (предполагающих устойчивые ассоциации)[4]. Чтобы подтвердить общий характер этой закономерности, было предложено несколько элементарных экспериментов, которые в настоящее время проводит проф. В. Шевчук в Институте психологии Ягеллонского университета (Краков).

Испытуемому показывают несколько цветных геометрических фигур (например, желтый квадрат, белый эллипс, розовый треугольник, серый круг и т. д.), повторяя показ до тех пор, пока не образуются относительно устойчивые ассоциации определенной геометрической формы с определенным цветом.

Различия между фигурами при некоторых условиях могут быть нейтрализованы, например, круг, рассматриваемый под углом, может быть воспринят как эллипс («контекст угла»). С другой стороны, существует возможность нейтрализации различия между цветами, например, восприятия серого цвета как белого на черном фоне («контекст фона»). Обозначим через f_1f_2 геометрические фигуры, которые в определенном контексте нейтрализуются в пользу f_1. Обозначим через $\varphi_1\varphi_2$ цвета, которые в определенном контексте испытывают нейтрализацию в пользу φ_1. Эксперименты ставят своей целью показать, что $f_1\varphi_2$ (в контексте фона, нейтрализующего различие $\varphi_1 : \varphi_2$) и $f_2\varphi_1$ (в контексте угла, нейтрализующего различие $f_1 : f_2$) отождествляются испытуемым с $f_1\varphi_1$, в то время как $f_2\varphi_2$ (при двойном контексте нейтрализации) отличаются от $f_1\varphi_1$. В двух первых примерах ($f_1\ \varphi_2$ и $f_2\varphi_1$) нейтрализация осознается испытуемым, делающим (на основании f_1 resp. φ_1) выбор в пользу немаркированного члена, т. е. в пользу первичной «формы» (φ_1 resp. f_1). В последнем случае ($f_2\varphi_2$) сочетание обоих контекстов не позволяет отождествить комбинацию $f_2\varphi_2$ с $f_1\varphi_1$.

Перевела с польского *С. М. Толстая*

[4] Единственным ограничением является постулат, что материальный знак и его функция подвержены воздействию контекстов, материального и функционального, влекущему за собой нейтрализацию.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

И. М. ТРОНСКИЙ

ЯЗЫК ГОМЕРА *

Текст гомеровских поэм в той форме, в какой он сохранен нам византийской рукописной традицией, содержит не только те языковые плоды, амальгама которых составляет самую суть эпического наддиалекта, но и много гораздо более поздних наслоений. Это вполне естественно, поскольку из весьма внушительного числа рукописей, содержащих текст той или другой поэмы — около 200 для «Илиады» и около 75 для «Одиссеи» [1] — ни одна не старше X в. н. э.

Дошедший до нас текст гомеровских поэм, восходящий к аттической редакции, поступил в Аттику с основными своими лингвистическими особенностями из малоазийской или островной Ионии, где античная традиция локализует деятельность Гомера, возможно — с того самого Хиоса, на котором в VI в. до н. э. существовали возводившие себя к Гомеру «гомериды» [2], профессиональные исполнители произведений своего «предка». Действительно, преобладающий диалектный колорит поэм — ионийский, но он сопровождается различными примесями, что не могло остаться незамеченным уже в античные времена [3].

Чтобы продемонстрировать характер этого смешения и вопросов, возникающих при его исследовании хотя бы на одном небольшом связном тексте, возьмем первые семь стихов «Илиады». Это — отрывок «среднего» гомеровского уровня, без особенных архаизмов и без резко выраженных поздних явлений.

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος | οὐλομένην, ἣ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε, | πολλὰς δ' ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν | ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν | οἰωνοῖσί τε δαῖτα, Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή· | ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην | ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

---

* Публикуемая статья Иосифа Моисеевича Тронского (1897—1970) — основной текст его доклада, прочитанного в октябре 1970 г. на заседании Сектора индоевропейских языков Ленинградского отделения Института языкознания за несколько дней до смерти. И. М. Тронский предполагал продолжить работу над избранной темой. Акад. В. М. Жирмунский в материалах, направленных в редакцию нашего журнала, писал, что настоящая статья должна была лечь в основу главы будущей книги и что рукопись этого неоконченного труда готовится к печати. Акад. В. М. Жирмунский предполагал сопроводить статью «Язык Гомера» краткой характеристикой научного пути И. М. Тронского, но внезапная смерть помешала ему выполнить свой замысел (*Примеч. редакции*).

[1] Из них только семь содержат «Илиаду» и «Одиссею» вместе.

[2] Acusilaus, LF 2 Jac.

[3] Часто цитируемое в этой связи место из «Троянской речи» Диона Хрисостома (XI 23 — в иронической контексте «нападок» на Гомера) мало что дает языковеду. Дион исходит из представления, что нормальным «эллинским» языком является аттикизирующее койне, и, соответственно, усматривает в находимых у Гомера элементах любого диалекта «глоссы». При этом он перечисляет все три диалекта античной теории — эолийский, дорийский и ионийский,— хотя доризмов у Гомера в действительности нет.

Первое слово μῆνις имеет ионийскую форму, с η, восходящей к ᾱ (ср. дор. μᾶνις); то же в ст. 2 (οὐλομένην, ᾗ), 5 (βουλή), 6 (διαστήτην), 7 (Ἀτρεΐδης). Одной этой особенности, систематически проходящей через весь гомеровский текст, достаточно, чтобы определять его как ионийский в своей основе. Но этому противоречит в том же первом стихе слово θεά, которое не только имеет не-ионийскую форму (было бы *θεή как в собственном имени Λευκοθέη), но вообще не существует в ионийском диалекте. По-ионийски «богиня» — θεος, в женском роде, и это — архаическая особенность; новообразование θεᾱ распространилось только по дорийским и эолийским говорам. Поскольку доризмов у Гомера нет, θεά нашего текста должно рассматриваться как эолизм. В эпическом языке употребляется как θεά, так и θεός в женском роде, дифференцируясь ритмико-просодически, местом в стихе, и тем, что они входят в различные традиционные формулы (πότνα θεά, δεινὴ θεός и т. п.)[4].

Вполне согласуется с ионийским характером эпоса утрата «дигаммы» (ϝ), т. е. ψ, в таких формах, как ἀείδω, Πηληϊάδεω, Ἀχιλῆος (ст. 1), Ἀχαιοῖς (ст. 2), Ἄϊδι[5] (ст. 3). Ἀτρεΐδης (ст. 7), восходящих к *ἀϝείδω и т. д. Именно в ионийском диалекте, и в частности в малоазийской Ионии, имело место самое раннее выпадение ψ во всех позициях. В рукописях гомеровских поэм дигаммы нет. Но это совсем не значит, что она не оставила никаких отражений. Бесследно она исчезла в интервокальной позиции, к которой относятся все приведенные примеры, и где ее отсутствие или наличие просодически безразлично. Иначе в начальном положении. Стык гласных в словоразделе (hiatus) групп τε ἀναξ (ст. 7), недопустимый в обычных условиях, стал возможен только потому, что ἄναξ восходит к Fάναξ (ср. микенск. *wa-na-ka*). Так, вероятно, обстоит дело и с группой δὲ ἑλώρια (ст. 4)[6]. Исчезнувший в живой речи звук оставил рефлексы в просодии стиха. Высчитано, что в гомеровских поэмах имеются 3354 случая просодических следов дигаммы. И, рядом с этим, 617 мест, где та же просодия прямо свидетельствует о ее выпадении[7]. К этому противоречию системы гомеровского языка мы еще вернемся. Здесь важно установить сосуществование в традиционном языке эпоса слоев различной хронологической глубины, не связанных обязательно с диалектными различиями.

Форма ἀείδω вызывает еще одно замечание. Живая ионийская речь широко практиковала слияние гласных, но эпос остается в этом отношении весьма сдержанным и архаистическим: ἀείδω > ᾄδω (в позднейшей графике ᾴδω), но стяженных форм этого глагола в гомеровских поэмах еще нет. Одним из средств избежать контракции служит употребление более редких родственных слов; так, в ст. 5 ἐτελείετο образовано от τελείω (< *τελεσιω), поскольку соответствующая форма от τελέω либо была невозможна для стиха (ἐτελέετο), либо требовала контракции (ἐτελεῖτο). Однако формула с контракцией τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται встречается дважды в «Илиаде» и пять раз в «Одиссее».

Рядом стоящие формы родительного падежа в конце первого стиха «Илиады» иллюстрируют двоякое отношение эпического языка к одному

[4] H. Humbach, θεά und feminines θεός bei Homer, «Münchener Studien zur Sprachwissenschaft», 7, 1955, стр. 46—55.

[5] Очень возможно, что возведение Ἄϊδι к корню ϝιδ — не более, чем народная этимология, но в гомеровском эпосе, где шапка-невидимка именуется Ἄϊδος κυνέη («Илиада», V 845) это словопроизводство, по-видимому, принято певцами.

[6] P. Chantraine, Grammaire homérique, I, Paris, 1942, стр. 153.

[7] L. P. Palmer, The language of Homer, сб. «Companion to Homer», ed. by A. J. Wace and F. H. Stubbings, London, 1962, стр. 101.

[8] G. P. Shipp, Studies in the language of Homer, Cambridge, 1953, стр. 104—136.

к тому же фонетическому процессу. В форме Πηληϊάδεω произошла ионийская «количественная метатеза» (metathesis quantitatis) после ионийского же перехода $\bar{\alpha} > \eta$. Конечный элемент-$\bar{a}o > -\eta o > -\epsilon\omega$, которое произносится односложно ($\epsilon\omega$), в порядке синизесы. Иначе в форме Ἀχιλῆος, где группа ηo сохранена без «количественной метатезы».

Правда, в данном случае могла иметь место модернизация, и за -εω может скрываться встречающееся 167 раз в «Илиаде» более старинное (или эолийское) -$\bar{a}o$ с элизией -ο перед гласным началом следующего слова Πηληϊάδᾱ' Ἀχιλῆος. Но в других местах, например, в формуле Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω, конечный элемент-εω представляется бесспорно вошедшим в инвентарь эпического языка.

В ст. 2 οὐλομένην, где ου служит графическим обозначением долгого закрытого $\bar{o}$, представляет собой «поэтическую» форму вместо ὀλομένην, — с «метрическим» удлинением краткого закрытого $\breve{o}$ (ο) [9]. Мы имеем здесь дело с самостоятельной закономерностью поэтического наддиалекта, не находящей себе соответствия в территориальных диалектах.

Другой интересный случай автономной закономерности эпического языка мы находим в соотношении между формами дательного падежа множественного числа тематического склонения на οις (Ἀχαιοῖς, ст. 2) и -οισι (οἰωνοῖσι, ст. 5) [10]. Окончания эти имеют различное происхождение и еще в микенском принадлежали разным падежам: -οις служило конечным элементом инструментального падежа, а дательно-местный оканчивался на -οισι (> *oihi*, в микенской графике -*o-i*, с последующим восстановлением -ο- между гласными по аналогии с согласным склонением). При слиянии инструментального с дательно-местным огромное большинство диалектов выбрало для себя одну из форм, — чаще всего -οις, но в ионийском, памфилийском и лесбийском имеем -οισι. Эпический язык сохранил обе древние формы, сообщив им новое распределение -οισι перед начальным согласным следующего слова, -οις в прочих случаях, т. е. перед словом, начинающимся с гласного, и в конце стиха [11]. В этих последних позициях возможен и третий, наиболее поздний вариант -οισιν, с ионийским подвижным ν. Впрочем употребление ν ἐφελκυστικόν в конце стиха (в нашем тексте ст. 2—4 ἔθηκεν, προΐαψεν, κόνισσιν) не имеет твердой опоры в традиции текста: рукописи колеблются, и правило о постановке подвижного ν перед гласным началом следующего стиха фиксируется только византийцами, хотя иногда применяется и в более раннее время.

Глубокий, но весьма живучий архаизм гомеровского языка — факультативность приращения (аугмента) в претеритальных формах изъявительного наклонения, ἐ-θηκεν (ст. 2) с приращением, но προ-ΐαψεν (ст. 3), τεῦχε (ст. 4), δια-στήτην безаугментно; в ст. 5 можно колебаться, читать ли с рукописями δ'ἐτελείετο или δὲ τελείετο. Диалекты первого тысячелетия до н. э. не знают уже этой факультативности, — аугмент стал обязательным, — но с отсутствием приращения мы встречаемся в микенских надписях. Статистические исследования показывают, что в повествовательных частях эпоса преобладают безаугментные формы, а в речах и сравнениях, т. е. в стилистически более позднем слое, аугментированные, но при выборе между одними и другими образованиями играют роль также и другие факторы, например — длина слова [12].

[9] P. Chantraine, указ. соч., стр. 97.

[10] И. М. Тронский, Дательный падеж множественного числа основ на -о- в греческом языке, «Проблемы сравнительной филологии. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунского», М.— Л., 1964, стр. 94—103.

[11] Там же, стр. 102—103 об единичных исключениях.

[12] A. Platt, The augment in Homer, «Journal of philology», XIX, 1891, стр. 211—237; A. J. A. Drewitt, The augment in Homer, «Classical quarterly», VI, 1, 1912, стр. 44—59, № 2, стр. 104—120.

В ст. 4 находим ἑλώρια, морфологический дублет к ἕλωρα, засвидетельствованный только здесь, и ярко выраженную эолийскую форму дательного падежа множественного числа согласного склонения κύνεσσι (v), встречающуюся у Гомера четыре раза, — только в «Илиаде», — наряду с более обычным κυσί (v) (12 раз) [13]. Но особенно показательный случай гомеровской морфологической дублетности — родительный падеж единственного числа тематического склонения. Имеются две формы — на -οιο и на -οο. Как указывает П. Шантрен [14], первая встречается около 1800 раз, вторая 1880 раз. Однако замечено, что -οο в стиховом повышении перед гласным могло быть заменой древнего элидированного -οι (ο). С другой стороны, -οο в понижении перед согласным заместило, по-видимому, во многих случаях древнее -οο. Однако, если оставить в стороне эти случаи, и в «Илиаде» и в «Одиссее» есть много несводимых -οο. В нашем тексте сюда относится οὗ<*ὅο (ст. 6) от относительного местоимения, которое, однако, не имеет параллельной формы на -οιο.

Окончание родительного падежа на -οιο — эолийское окончание, сохранившееся в первом тысячелетии только в восточной Фессалии, но связывающее эпический язык с микенским; окончание родительного падежа -οο (<*οιο) имеют восточно-греческая (протоионийская) и западно-греческая (протодорийская) ветви диалектов; это οο стягивается либо в ου (ō), как в ионийско-аттическом, либо в -ω.

Синтаксические нормы позднейшей греческой прозы потребовали бы в таком тексте, как вышеприведенный, многократного употребления артикля. У Гомера он встретился лишь один раз, τὰ πρῶτα (ст. 6) для субстантивации порядкового числительного, употребленного в винительном падеже множественного числа среднего рода с адвербиальным значением «впервые». Возможность такой функции формы τά свидетельствует о том, что она уже стала в обыденной речи подлинным артиклем, и на это же указывают ионийские памятники VII в. (Архилох и др.). В этих условиях крайне редкое использование артикля у Гомера должно рассматриваться как архаизм поэтического наддиалекта. «Неупотребление артикля, — пишет М. Лейман, — уже в эпосе представляет собою поэтизм; обыденный язык прорывается в редких случаях постановки артикля» [15]. Здесь архаизм состоит в недопущении нового, развивающегося в языке. Архаизмом другого рода является двойственное число глагольной и причастной форм διαστήτην ἑσσάντε. Из всех диалектов греческого языка аттический *является наиболее консервативным в отношении двойственного числа.* У читателя, приступающего к Гомеру с навыками аттической прозы, ограниченное и даже путаное использование dualis'a в эпосе создает впечатление прогрессивного языкового развития, изживающего древнюю категорию. Однако по сравнению с живым ионийским, в котором от двойственного числа не осталось и следа, гомеровская трактовка dualis'a представляется далеким и мертвенным архаизмом. Высказывалось даже предположение, будто двойственное число было оживлено в гомеровском тексте аттической редакцией. В этой гипотезе нет нужды: она не учитывает в достаточной мере консервирующую силу эпической традиции. В разобранном тексте есть только одно «аттическое» явление — густое придыхание (2 ἥ, 4 ἡρώων, ἑλώρια, 6 οὗ), утраченное и в ионийском и в эолийском языке Лесбоса.

---

[13] В стихе 5 я принял чтение Зенодота δαῖτα. В связи с чаще встречающимся в изданиях чтением Аристарха πᾶσι можно сделать аналогичное наблюдение. Согласно словарю Эбелинга («Lexicon Homericum», ed. H. Ebeling, I—III, Lipsiae, 1880—1885), форму πᾶσι мы имеем у Гомера более, чем в 130 случаях, а πάντεσσι — 32 раза.

[14] P. Chantraine, указ. соч., стр. 194.

[15] M. Leumann, Homerische Wörter, Basel, 1950, стр. 12.

В заключение надлежит отметить фонетические варианты λ и λλ в формах Ἀχιλῆος (ст. 1) и Ἀχιλλεύς (ст. 7). *Происхождение этого имени собственного* неизвестно, и трудно сказать, являет ли двойственность его вариантов некую поэтическую вольность, адаптацию имени к требованиям метра, или эти фонетические дублеты действительно имелись в греческих говорах.

Разумеется, первые семь стихов «Илиады» содержат лишь ничтожную долю фонетико-грамматических особенностей, необходимых для характеристики гомеровского языка; тем не менее, некоторые основные, встречающиеся в массовом порядке явления уже прошли перед нами, и они позволяют дать некую предварительную характеристику лингвистической системы древнегреческого эпоса. Она предстает как наддиалект, далеко отходящий от территориальных греческих говоров VIII—VII вв. до н. э. (наиболее вероятная дата «Илиады» и «Одиссеи» в их завершенном виде), даже от ионийского диалекта этого времени, и находящийся с ними в очень сложных взаимоотношениях. Гомеровский язык — обширное вместилище словоформ и словосочетаний, разнодиалектных и разновременных, — не только по происхождению, но и по несовместимости их, несинхронности с точки зрения реальной истории греческой живой речи, — в иных случаях даже возникших в самом эпосе по внутренним законам его лингвистического развития. И все это сопряжено в единую систему, упорядоченную в ее семантических и ритмико-просодических противопоставлениях. Один из основных ее законов — просодическая неравноценность, за редкими исключениями, многочисленных возникающих в ней дублетов. Все рассмотренные нами изосемантические «пары», будь то лексические или фонетико-*морфологические*, θεά и θεός, ἐλίφριον и ἔλιψ, формы с учетом и неучетом начальной дигаммы, с единичным и геминированным согласным, с наличием и отсутствием аугмента или -ν, с чередованием падежных форм на -ῶν и -εω, -οις и -οισι, -σι и -σσι, -οιο и οῦ и т. д., — дифференцированы просодически, имеют различный состав кратких и долгих слогов или различную дистрибуцию гласных и согласных в начале и исходе слова. Каждое образование занимает свое особое место в стихе, и «дублеты» не могут быть взаимозаменяемы без изменения *рядом* стоящих слов. Избыточности здесь нет, это — заготовительные запасы для богатства и многообразия средств выражения.

Возвращаясь к вопросу о полидиалектных источниках этого многообразия, необходимо прежде всего остановиться на подчеркивавшемся уже в древности эолийском ингредиенте гомеровского языка [16]. Показательно, что изоглоссы, принадлежащие эолийской группе в целом и объединяющие лесбийский с фессалийским и беотийским [17], все без исключения встречаются в качестве побочных форм у Гомера. Сюда относятся в первую очередь: 1) губные отражения лабиовелярных перед гласными переднего ряда — эол. πίσυρες «четыре» рядом с ионийским τέσσαρες, φῆρες (=θῆρες) для обозначения фессалийских говоров; 2) окончание -σσι в дательном падеже множественного числа согласного склонения (κύνεσσι, см. выше).

[16] *Основной материал по этому вопросу собран был уже в диссертации Гинрихса* (G. Hinrichs. De Homericae elocutionis vestigiis Aeolicis, Jena, 1875). Также см.: P. Cauer, Grundfragen der Homerkritik, I, Leipzig, 1921, стр. 147—179; M. P. Nilsson, Homer and Mycenae, London, 1933, стр. 160—174; A. Thumb — A. Scherer, Handbuch der griechischen Dialekte, Heidelberg, 1959, стр. 209—214; A. Bartoněk, Zur Frage der Äolismen und Achäismen in der homerischen Sprache, сб. «Minoica und Homer», Berlin, 1961, стр. 1—9; V. Georgiev. Das Problem der homerischen Sprache im Lichte der kretisch-mykenischen Texte, там же, стр. 10—19; «Companion to Homer», стр. 97—106 (L. R. Palmer); G. S. Kirk, The songs of Homer, Cambridge, 1962, стр. 145—156.

[17] A. Thumb — A. Scherer, указ. соч., стр. 4.

Обе эти инновации интересны для нас тем, что они относятся к более позднему времени, чем микенские документы, и связывают гомеровский язык не с протоэолийским через микенский поэтический наддиалект, а с историческим эолийским первого тысячелетия до н. э. Их следует поэтому отделять от таких — тоже общеэолийских — явлений, как $ро < *\gamma$ (у Гомера ἤμβροτον наряду с ἤμαρτον, где $*\gamma > ар$) или патронимические прилагательные типа Τελαμώνιος Αἴας, которые засвидетельствованы для микенского. Некоторые гомеровские эолизмы не поддаются датировке: ἴα (=μία), перфектное причастие с суффиксом -ονϝ- (κεκλήγοντες рядом с обычным μεμαότες). К числу характерных эпических эолизмов относится геминация носовых в группах «s + носовой» — ἄμμες, ἔμμεναι, ἐορξέννης (Лесбос, Фессалия), κάλεσσα по аналогии с τέλεσσα (Лесбос, Беотия), инфинитивы на -μεν (Фессалия, Беотия), -μεναι (Лесбос), некоторые спорадические процессы, как, ζ-< δι-, например, ζάθεος (Лесбос), переход дигаммы во второй элемент дифтонга — εὔαδε, ταλαύρινος и т. п. (Лесбос). Рукописная традиция гомеровского текста сохранила также ряд случаев эолийского ударения (οἷος и т. д.) [18].

Все эти факты известны давно. Исходя из них, исследователи XIX в. склонны были даже относить за счет эолийского ингредиента все расхождения эпического языка с ионийским диалектом исторического времени. Дигамма и старое ϡ, древние общегреческие фонемы, у Гомера рассматривались с этой точки зрения не просто как архаизмы, а как воздействия эолийского языка [19]. С несколько большим правом находим это влияние в краткой форме предлогов (κάκ κεφαλῆς, κάϐ κεφαλῆς), в частицах αἰ и κε(ν). Бесспорным эолизмом является окончание -οιο, но оно принадлежит к протоэолийскому слою и роднит Гомера с микенским. При расширительном толковании эолизмы вырастали в почти равноправный с ионийским основной элемент лингвистической системы древнегреческого эпоса.

Для истолкования этого смешения представлялись два пути. Можно было бы предположить, что состав гомеровского языка отражает реальное диалектное смешение в тех районах малоазийского побережья, где ионяне соприкасались с эолянами и возникал смешанный говор [20]. В частности, ряд эолизмов зафиксирован на том самом Хиосе, где находились упомянутые уже «гомериды» [21]. С этой точки зрения эпический язык не представляет собой самостоятельное лингвистическое явление и только отражает диалектные взаимоотношения живой речи в некоторой местности, которая будто бы и явилась родиной эпоса, по крайней мере в его исторически известных формах. При этом совершенно недостаточно учитывается известный нам уже наддиалектный характер гомеровского языка, равно как и то, что в нем смешиваются явления не только разных говоров, но и разного времени. Эолизмы часто являются также и архаизмами и сосредоточены преимущественно в традиционных формульных сочетаниях, для которых ионийский диалект не представляет метрически равноценной замены. Но даже если принять указанную постановку вопроса о смешанных говорах, удовлетворительного ответа не получается. Там, где действительно имеются эолизмы в ионийских говорах, диалектное смешение совсем не похоже на гомеровское: хиосских эолизмов (ονϝ-)ους, род. падеж δέχων от δέχα и

[18] И. М. Тронский, Древнегреческое ударение. М.— Л., 1962, стр. 10.1

[19] По отношению к дигамме это было бы в какой-то мере продолжением античной традиции: греческие грамматики знают ее главным образом из лесбийской лирики и называют Αἰολικὸν δίγαμμα; это наименование долго сохранялось, даже после того, как Бентли установил следы дигаммы у Гомера.

[20] См., например: U. von Wilamowitz-Moellendorff, Über die ionische Wanderungen, «Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften», 1906, стр. 61 и сл.

[21] F. Bechtel, Die griechischen Dialekte, III, Berlin, 1924, стр. 32.

т. п.) [22] нет у Гомера, гомеровских нет на Хиосе. Огромное большинство исследователей придерживалось поэтому другой точки зрения, перенося вопрос о языковом смешении у Гомера из пространственного плана во временной, из области лингвистической географии в историческое развитие. Так возникла гипотеза о двух языковых стадиях греческого эпоса: позднейшей ионийской предшествует более ранняя, эолийская.

Еще в неопубликованных лекциях Фр. Ричля, относящихся к 1833—1834 гг., были сформулированы вполне трезвые — для своего времени — предположения о ходе развития эпического песнопения у греков [23]. Согласно Ричлю, героическое сказание о Троянской войне возникло в скором времени после самого исторического события, когда в Пелопоннесе господствовали ахейцы или эолийцы. Оттесненные дорянами, они перенесли сказание на свою новую родину, в Малую Азию. Там (вероятнее всего, в Смирне) Гомер составил на эолийском диалекте две небольшие, устно исполнявшиеся поэмы, зерно «Илиады» и «Одиссеи». В школах певцов-гомеридов (особенно на Хиосе) обе поэмы были расширены и переложены на ионийский, а в первой половине VIII в. они были записаны и дошли до нас без значительных изменений. Гипотеза Ричля, основанная на сообщениях Страбона о древнейшем населении Пелопоннеса и на легендарных биографиях Гомера [24], во многом устарела, но основные ее положения — о преемственности эпического песнопения от времени, изображенного в поэмах, до их окончательного оформления и об этапах развития эпоса — сохраняют свое значение и поныне.

Ричль не высказывал своего мнения в печати, и оно долго оставалось неизвестным. Когда Г. Гинрихс, на основании тщательного изучения эолизмов эпоса и их функции, обновил теорию эолийской прагомеровской поэзии (1875) [25], он еще не знал о своем предшественнике. Выводы Гинрихса были одобрены почти всеми гомероведами. Наблюдение Фика, что гомеровские эолизмы обычно не имеют просодически равноценной ионийской замены, привело к их истолкованию как реликтов, сохранившихся при переводе с эолийского на ионийский. Возникли даже попытки «восстановить» эолийскую «пра-Илиаду» и «пра-Одиссею» на основе совокупного использования лингвистических данных и результатов аналитической критики поэм. Фик и Бехтель исходили при этом из убеждения, что выделенные «разумной критикой» древние части «Илиады» и «Одиссеи» легко поддаются чуть ли не механическому переложению на эолийский диалект, в отличие от поздних частей, переполненных несводимыми уже на эолийский источник ионизмами. Опыты эти окончились неудачей и больше не возобновлялись. В наше время они могут представить только исторический интерес, как одно из многочисленных заблуждений гомероведения.

Теория разнодиалектных стадий греческого эпоса получила новое углубление в 1913 г., когда вышло в свет первое издание известной книги А. Мейе «Очерк истории греческого языка» [26]. Этот труд выдающегося французского лингвиста, значительно продвинувшего вперед понимание

---

[22] H. Jacobsohn, Der Aoristtypus ἆλτο und die Aspiration bei Homer, «Philologus», 67, 1908, стр. 360, примеч. 51.

[23] O. Ribbeck, Friedrish Wilhelm Ritschl. Ein Beitrag zur Geschichte der Philologie, I, Leipzig, 1879, стр. 129.

[24] Сообщение Зопира из Магнесии об эолийском диалекте гомеровской поэзии (F. Osann, Anecdotum Romanum, Giessen, 1891, стр. 5: τὴν δὲ ποίησιν ἀναγιγνώσκεσθαι ἀξιοῖ Ζωπύριος ὁ Μάγνης Αἰολίδι διαλέκτῳ, τὸ δ' αὐτὸ Δικαίρχως) не имеет свидетельской ценности (см.: W. Schmid, O. Stählin, Geschichte der griechischen Literatur, I, 1, München, 1929, стр. 73, примеч. 2)

[25] G. Hinrichs, De Homericae elocutionis vestigiis Aeolicis.

[26] A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, Paris, 1913.

исторического развития языков греческой литературы, заключает в себе содержательную главу о гомеровском языке. В заключительном разделе автор обращает внимание на многочисленные контакты гомеровского словаря с аркадо-кипрским («ахейским»). Действительно, ряд слов, встречающихся у Гомера или, кроме Гомера, в позднейшей поэзии, известны в прозаическом употреблении только из памятников аркадо-кипрского диалекта; таковы οἰ(ϝ)ος «единственный» (др.-перс. *aiva*), δέατο «казаться», частица αὖτάρ «с другой стороны» и др. Это было замечено еще в 80-х годах прошлого века [27], но старое наблюдение послужило теперь основой для нового вывода, правда очень осторожно формулированного. За эолийской стадией эпоса Мейе усмотрел возможность еще более древней «ахейской». Прямых данных об этом не было, но гипотеза содержала значительную долю внутренней исторической вероятности. Аркадский и кипрский — два расщепившихся диалекта, восходящие к говорам до-дорийского Пелопоннеса, к языку важнейших центров микенской культуры. Что столь значительная по размаху культура не обходилась без песнопений, в частности, эпических, и что певцы услаждали хозяев микенских дворцов, можно было постулировать и без прямых данных [28]. С другой стороны, тесные связи содержания гомеровских поэм с микенской культурой не оставляли сомнения в непрерывном и преемственном развитии эпического творчества от микенских времен вплоть до Гомера. К Мейе присоединились, и притом с большей уверенностью, чем это было у него самого, исследователь гомеровских формул, М. Парри [29] и ветеран изучения микено-гомеровских связей М. П. Нильсон [30]. Их труды укрепили убеждение гомероведов в том, что надлежит оперировать уже не двумя, а тремя стадиями греческого эпоса — «ахейской», эолийской и ионийской.

С отвлеченной точки зрения можно было бы оспаривать доказательность словарных сближений Гомера с «ахейским», предположив, что аркадская и кипрская лексика является не источником эпической, а, наоборот, заимствована из эпоса. Баура отверг эту теоретическую возможность [31]. Тем не менее она была вновь выдвинута Лейманом [32] в его «Homerische Wörter» — и вновь отведена, после подробного разбора, Руэйгом [33]; однако эта последняя полемика имела место уже после дешифровки крито-микенского письма В, которая радикально изменила всю постановку вопроса о диалектологической характеристике гомеровского эпоса.

Уже первая публикация Вентриса и Чедвика, в которой они извещали ученый мир о новом открытии, указывала, что новообнаруженная архаическая разновидность греческого языка, — авторы считали ее протоаркадо-кипрской, — близка к языку Гомера [34]. До дешифровки памятники гре-

[27] На это указывает А. Фик (A. F i c k, Die homerische Odyssee in der ursprünglichen Sprachform wiederhergestellt. Göttingen, 1883, стр. 324; е г о ж е. Die homerische Ilias nach ihrer Entstehung betrachtet und in der ursprünglichen Sprachform wiederhergestellt, Göttingen, 1886, стр. 548). О. Гоффман дает большой список аркадо-кипрских гомеризмов (O. H o f f m a n n, Die griechischen Dialekte in ihrem historischen Zusammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellen, I, Göttingen, 1891, стр. 276—283).

[28] Это подтвердила фреска, обнаруженная в Пилосе, см.: «American journal of archaeology», 60, 1956, табл. 41.

[29] M. P a r r y, Studies in the epic technique of oral versemaking, *II*: The Homeric language as the language of an oral poetry, «Harvard Studies in the classical philology», 43, 1932, стр. 1—50.

[30] M. P. N i l s s o n, Homer and Mycenae, London, 1933.

[31] C. M. B o w r a, Homeric words in Arcadian inscriptions, «Classical quarterly», 20, 1926, стр. 168—176; е г о ж е, Homeric words in Cyprus, «Journal of Hellenic studies», 54, 1934, стр. 54—74.

[32] M. L e u m a n n, Homerische Wörter, Basel, 1950.

[33] C. J. R u i j g h, L'élément achéen dans la langue épique, Assen, 1957.

[34] M. V e n t r i s, J. C h a d w i c k, Evidence for Greek dialect in the Mycennaen archives, «Journal of Hellenic studies», 73, 1953, стр. 18—103.

ческого языка, привлекавшиеся для сопоставления с эпосом, всегда относились к более позднему времени. Теперь стало возможным соотнести архаический наддиалект «Илиады» и «Одиссеи» с памятниками, предшествовавшими Гомеру по крайней мере на полтысячелетия и принадлежавшими той самой эпохе и среде, которая служила предметом эпических песнопений. Было бы неожиданно, даже странно, если бы традиционный язык греческого эпоса не восходил, — в той или иной мере, с теми или иными модификациями, — к фольклорному языку микенской эпохи; в этом случае пришлось бы подвергнуть пересмотру все привычные представления о ходе греческой истории. И действительность не обманула ожиданий. Стой поправкой, однако, что памятники, прочтенные Вентрисом и Чедвиком, явили нам не язык песенного фольклора микенского времени, а другую языковую разновидность, наддиалект административно-хозяйственных документов. Однако даже к этой разновидности гомеровский язык оказался близок — в грамматическом строе, в лексике, в именах собственных.

В истории греческого языка микенская стадия является предшественницей, хотя и не непосредственной, гомеровского состояния, которое может восходить к ней, как к одному из своих истоков. То, что у Гомера ослабевает, идет на убыль, становится архаизмом, в микенском зачастую остается нормой. Мы уже не говорим о таких недавних процессах ионийского этапа развития, как выпадение ϝ (дигаммы) или переход $\bar{\alpha} > \eta$ — в микенском эти фонемы еще не поколеблены. Возьмем падежную систему. В микенском сохранялись еще шесть падежей. У Гомера, как и во всех греческих говорах первого тысячелетия до н. э., их осталось только пять: инструментальный слился с дательно-местным. Однако, как мы уже указывали, гомеровский синкретический дательный падеж сохранил во множественном числе тематического склонения двойственность окончаний, принадлежавших различным падежам—дательно-местному (-οισι) и инструментальному (-οις), создав для них новое, просодическое распределение, и распространив эту двойственность на I склонение. Пережитком более древнего синкретизма дательного и местного падежей была в микенском вариантность окончаний в единственном числе атематического склонения -ει (древний дат. падеж) и -ι (древний местн. падеж) и след этого остался у Гомера в возможности расценивать ι не только как краткий, но и как долгий гласный. Полисемантическая форма на -φι, типа κεφαλῇφι, ὄρεσφι и т. д., дублирующая в эпосе у Гомера родительный и дательный падежи любого числа, является в эпическом языке глубоким архаизмом, ослабевающим от «Илиады» к «Одиссее» и вскоре совершенно отмирающим; в микенской системе она занимает твердое место и, в частности, служит для образования инструментального падежа множественного числа в атематическом склонении и склонении основ на -α. Основы на смычный и носовой, которые присоединяли к себе -φι в Кноссе и Пилосе, *po — pi* (< *πολ-φι), *po-ki-ja-pi* (< *Σφιγιαν-φι), в эпосе потеряли эту способность. Очень возможно, однако, что Гомер сохраняет остатки более широкого употребления этой формы, чем это имеет место в микенских документах [35]. Микенский конечный элемент родительного падежа множественного числа I склонения *-ᾱων* (графически... *a-o*) и родительного падежа единственного числа мужского рода I склонения -ᾱ-ο сохранились у Гомера в неизменной форме. С другой стороны, мы наблюдаем и сдержанное движение вперед. Тексты микенского времени обходятся совсем без артикля. Гомер пользуется им, но в гораздо более скромных размерах, чем это делают позднейшие авторы. Решающий поворот, превративший эмфатическое указательное местоиме-

[35] И. М. Тронский, Образования на -φι в гомеровском эпосе, «Eirene», 1, Praha, 1960, стр. 37—50.

ние в новую часть речи, уже наступил, но эпический стиль еще не допускает это новшество в значительных размерах. Аналогично с глагольным приращением (аугментом) в претеритальных формах: единичные случаи в микенских таблетках, а у Гомера довольно частое употребление, однако не только не обязательное, как это было бы впоследствии, но даже не преобладающее. Впрочем, в отношении как артикля, так и аугмента, жанровые отличия документального стиля от эпического препятствуют продуктивности сопоставления.

Приведенные параллели относятся к области общегреческих языковых явлений, без диалектной дифференциации. Они доказывают, что архаический язык Гомера, близкий преемник языка микенской эпохи, но диалектная окраска сравниваемых языковых состояний при этом еще не уточняется. В этом отношении более показательны другие сближения: родительный падеж единственного числа тематического склонения на *-οιο*, патронимические прилагательные типа Τελαμώνιος Αἴας, двоякое отражение слогового **r* с отглассовками α и ο, начальная группа πτ- — все это характерное для микенских таблеток сочетание диалектных явлений, свойственных центральногреческой (протоэолийской) и восточногреческой (протоаркадокипрской и протоионийской) ветвям древнегреческих диалектов находит свое продолжение у Гомера. Обращают на себя внимание частые личные имена на-σός; прилагательные с суффиксом -Fεντ-, которые у Гомера и в позднейшей литературе являются показателями высокого стиля, представляют собою в микенском обычные слова [36].

Дж. Чедвик указал 37 микенских слов, —при ограниченности словарного состава таблеток это не так уже мало, — которые фигурируют у Гомера в качестве редких «поэтизмов», и приписал их микенскому лексическому фонду эпоса [37]: αἰχμή, ἄναξ, δέπας, θοός, φάσγανον и т. п. Против этого резко возражал австралийский филолог Шипп [38]: по его мнению, никогда нельзя установить, откуда к Гомеру пришло слово, из микенского ли диалекта, или из другого, эолийского либо ионийского. Полемика эта бьет мимо цели, по крайней мере в той форме, которую ей придал сам автор. Если употреблять термины «эолийский» и «ионийский» в их точном смысле, обозначая ими диалекты первого тысячелетия, они не синхронны «микенскому», и микенские языковые элементы могли попадать к Гомеру только через промежуточный этап эолийской или ионийской традиции. Противопоставлять ранние этапы развития диалектных ветвей, протоаркадокипрский и протоэолийский, микенскому тоже нецелесообразно. Мы видели, что микенский — смешение этих ветвей и не содержит в себе ничего, что не принадлежало бы по крайней мере одной из них. Додорийская Греция с ее «ахейскими» государствами была едина и в экономическом и в культурном отношении, и единому наддиалекту хозяйственных записей Кносса и Пилоса, Микен и Фив соответствовал, вероятно, несколько особый, но столь же единый наддиалект устной поэзии. Долгая догомеровская традиция греческого поэтического языка проходила через свою микенскую стадию и многое из нее сохранила. Ценность аркадо-кипрских лексических параллелей к Гомеру, о которых мы выше говорили, состоит в том, что в замкнутой Аркадии и на изолированном Кипре, вдали от новых центров греческой культуры, возникших в послемикенское время, сохранилась в первом употреблении лексика второго тысячелетия, вошедшая некогда в эпиче-

[36] M. Lejeune, Les adjectifs mycéniens à suffixe *-went-*, «Revue des études anciennes», 60, 1958, стр. 5—26.

[37] J. Chadwick, Mycenaean elements in the Homeric dialect, сб. «Minoica Festschrift zum 80 Geburtstag von J. Sundwall», Berlin, 1958, стр. 116—122.

[38] G. P. Shipp, Essays in Mycenaean and Homeric dialect. Sydney. 1961, стр. 1—28.

ский язык и уже успевшая превратиться в архаизм в гомеровскую эпоху. Этим словарным фондом певцы пользуются не вполне свободно: старинная лексика бывает закреплена за традиционными формулами, занимающими определенное место в стихе [39].

Таким образом, мы имеем все основания согласиться с В. И. Георгиевым, когда он определяет гомеровский язык как заключительный этап развития «крито-микенского койне» [40].

Однако между микенским и гомеровским языком имеются некоторые расхождения, и притом весьма древние. Если отвлечься от незначительных и недостаточно проясненных деталей, дело сводится к двум моментам. Во-первых, в микенском сохраняется лабиовелярная серия смычных, которая в языке эпоса представлена своими ионийскими, а в единичных случаях эолийскими отражениями. Во-вторых, форма родительного падежа единственного числа тематического склонения оканчивается в микенских документах только на *-οιο*, между тем как у Гомера рядом с ней — и даже с небольшим численным перевесом — употребляется форма на *-ου* < *-οιο*.

Для тех многочисленных исследователей, которые относят переход лабиовелярных в губные и переднеязычные к послемикенскому времени и, с другой стороны, возводят *-ου* к *-οιο*, ни то, ни другое отличие эпоса от микенских документов не создает каких-либо трудностей: оба процесса, с точки зрения этих авторов, произошли между XIII и VIII вв. в порядке нормального фонетического развития. Однако вопрос не решается так просто. Фонетическое развитие лабиовелярных в послемикенскую эпоху приводило только к их эолийской лабилизации, и *-ου* восходит не к *-οιο*, а к **-οσο*. Упомянутые нами расхождения между микенскими текстами и Гомером не возникли в исторический промежуток времени, отделяющий эти сопоставляемые памятники. Это — основополагающие для диалектной структуры греческого языка различия, идущие из далекого прошлого, от общегреческой эпохи. Сохранение лабиовелярных и родительный падеж на *-οιο* характеризовали протоэолийскую ветвь, переход лабиовелярных в губные и переднеязычные и родительный падеж на *-ου* < ** -οσο* являлись отличительными чертами протоионийской и протокипрской ветвей совместно. Для того чтобы перейти от надписей Кносса и Пилоса к Гомеру, недостаточно простого фонетического процесса, — нужна трансплантация в иную диалектную среду, замена звуков и замена форм.

Такое предположение вполне допустимо. В «темный» период греческой истории, наступивший вслед за крушением «ахейских» государств, эпический язык мог подвергаться и, как мы увидим, действительно подвергался, различным диалектным влияниям. Совершенно естественно по отношению к бывшим лабиовелярным, что ионийский гомеровский эпос озвучен на ионийский лад. Формой на *-ου* > *-ο* эпический язык тоже мог обогатиться в своих странствиях. Однако это не единственная возможность и вряд ли самая вероятная.

Реальные говоры микенской Греции принадлежали к протоэолийским и к протокипрским ветвям, родственным протоионийским. Оба рассматриваемые нами диалектных противопоставления — и по трактовке лабиовелярных, и по форме родительного падежа ед. ч. тематического склонения — существовали внутри самих микенских говоров. Для того чтобы певец мог пользоваться формой на *-ου* рядом с формой на *-οιο*, не нужно было воздействий извне: обе существовали синхронно на территории микенской Греции. Единый язык микенских административно-хо-

[39] Этот вопрос подробно разработан в обстоятельной монографии К. Руйгэ (см. *примеч.* 35).

[40] V. Georgiev, Das Problem der homerischen Sprache im Lichte der kretisch-mykenischen Texte, сб. «Minoica und Homer», Berlin, 1961, стр. 19.

зяйственных записей обнаруживает черты, позволяющие определить его как наддиалект. Язык песнопений, предок эпического языка гомеровского времени, по-видимому, тоже имел наддиалектный характер. Но эти два разнофункциональные диалектные образования не должны были совпадать во всех деталях. В языке документов преобладает протоэолийское начало и соответственно форма на -οιο. Певцы обращались к разнодиалектной аудитории и, судя по позднейшей гомеровской практике, стремились обогатить свой языковой запас синонимическими формами разной просодической структуры. Можно считать весьма вероятным, что поэтический язык уже в микенские времена употреблял формы с пиррихическим конечным элементом -οο на равных правах с трохеическим -οιο [41]. Что же касается лабиовелярных согласных, то способ их произношения был просодически безразличен и не релевантен для певцов, которые могли даже, обращаясь к аудитории разных районов, в случае надобности варьировать фонетическую реализацию этих фонем.

Однако, как бы ни решался этот все же частный вопрос, гомеровский язык заставляет постулировать в качестве своего предшественника устно-поэтический язык микенского времени. Анализ традиции других, более поздних поэтических языков приводит к этому же выводу, независимо от гомеровского влияния на них. Письменных текстов на этом языке не сохранилось, и весьма сомнительно, чтобы такие записи когда-либо существовали. Не будучи засвидетельствована прямым образом, поэтическая разновидность греческого языка микенской эпохи может быть восстанавливаема только в гипотетическом порядке, но гипотеза эта является основополагающей для толкования всего последующего процесса развития греческих литературных языков, начиная с гомеровского. Именно этот язык, богатый и гибкий, если судить о нем по его преемнику, эпическому языку, язык с четкой грамматической структурой, прочными стилистическими традициями и способностью осваивать инородный материал, обеспечил грекам второго тысячелетия до н. э. победу в языковом столкновении с аборигенами южной части Балканского полуострова.

Смешение в лингвистической системе эпоса тех элементов, которые в послемикенское время характеризуют эолийские и ионийские говоры, частично восходит, таким образом, еще к микенскому поэтическому языку. С исторической точки зрения эти явления следовало бы именовать «микенизмами». В свете данных об этом языковом слое вопрос об эолизмах и ионизмах в гомеровском языке нуждается в пересмотре. В связи с тем, что ряд особенностей эпического языка, считавшихся раньше эолизмами, ныне перешли в разряд микенизмов (рефлексы *τ, патронимические прилагательные, формы на -οιο, -ᾶο, ᾶων, -φι и т. д.), возникла даже тенденция отрицать само существование эолизмов у Гомера [42]. Однако эолизмы, не засвидетельствованные в микенских памятниках, а иногда и возникшие заведомо в послемикенское время, в эпосе имеются: губные рефлексы *лабиовелярных перед гласными переднего ряда, геминация плавных и носовых*, дательный падеж множественного числа на -εσσι, инфинитив на -μεν и т. д. Для того чтобы объяснить столь явную эолизацию эпического языка, надо обратиться к развитию эпического творчества в «темные века» греческой истории.

Около 1200 г. пал Пилос; примерно через 75 лет разрушены были Микены. Причины распада микенского общества остаются не выясненными.

[41] Такую возможность принимает также и Кирк, но в рамках иной историко-лингвистической концепции (G. S. Kirk, The songs of Homer, Cambridge, 1962, стр. 143).

[42] K. Strunk, Die sogenannten Äolismen der homerischen Sprache, Diss., Köln, 1957.

Прежде считалось само собою разумеющимся, что оно пало под натиском дорийцев. В настоящее время объяснение это представляется не столь несомненным, с тех пор как установлено, что дорийские поселения на месте прежних микенских говоров возникали лишь через несколько десятилетий после их разрушения. Но каковы бы ни были здесь причинные соотношения, крушение микенского мира и заселение восточного Пелопоннеса и южных островов дорийцами — явления, исторически связанные. Этнический облик юга Балканского полуострова обновился в результате притока новых грекоязычных племен и их перераспределения. «Ахейское» население Пелопоннеса сохранилось в горной Аркадии. В других местах оно смешалось с дорийцами, окрасив диалект соответствующей области чертами «ахейского» субстрата (Арголида, Лаконика, Крит). Третьи, наконец, выселились на Кипр, в Аттику и оттуда в Ионию. Переселения происходили и к северу от Истма: западногреческие племена распространялись в Беотию и Фессалию. В этой новой обстановке выкристаллизовались эолийские и ионийские диалекты исторического времени. На развалинах некогда единой микенской цивилизации отдельные области развивались самостоятельно, но не обособленно, и притом в едином направлении. В «темные века» греческое общество начинает новый путь своего развития, производственного — на основе изготовления железных орудий, социального — с земледельческими общинами, перерастающими впоследствии в полисы, идеологического, который приводит к созданию новой религиозно-мифологической системы «олимпийских» богов, художественного, которое после промежуточного «субмикенского» периода вырабатывает протогеометрический, а затем геометрический стиль. Но к какой бы сфере жизни мы ни обратились, микенское прошлое продолжает участвовать в ней своим наследием.

Поэтический язык — одна из наиболее важных частей этого наследия. «Темные века» сохранили его в устной традиции вплоть до гомеровских времен, — но по каким путям? Некоторые современные исследователи, например Т. Уэбстер [43] и С. Уитмэн [44], указывают на Афины как на единственный избежавший разрушения микенский городской центр, где в 1100—950 гг. могла сохраняться традиция профессионального поэтического языка и откуда она могла перейти в Ионию. Но ни сюжетно-мифологическая сторона «Илиады» и «Одиссеи», ни их языковая система не содержит следов какой-либо древнеаттической стадии эпоса. Основные герои *аттического мифа, Кекроп, Фесей (Тезей) и другие, лишь отдаленно* связаны с теми мифологическими циклами, которые отражены у Гомера; выступающие в «Илиаде» афиняне играют в ней совсем второстепенную роль, и Писистрату пришлось прибегнуть к интерполяции, для того чтобы ввести в гомеровский текст некоторое прославление Афин (например, «Илиада» II 553—555, 558). Если бы Афины играли роль в праистории эпоса, аттические герои занимали бы там гораздо более значительное место. С другой стороны, *языковые аттикизмы гомеровской вульгаты* характеризуют не самый гомеровский текст, а только его рукописную традицию. Путь через Афины не приводит к цели.

Между тем, «Илиада» ясно показывает, какие области ахейского мира в ней особо акцентированы. С одной стороны, мы имеем группу пелопоннесских фигур, связанных с основными центрами микенской культуры. Это царь Микен Агамемнон, верховный вождь собравшейся под Троей ахейской рати, его брат, царь Спарты Менелай, жену которого похитил виновник троянской войны Парис, престарелый царь Пилоса Нестор, далее ар-

[43] T. B. L. Webster, *From Mycenae to Homer*, London, 1958.
[44] C. H. Whitman, Homer and the heroic tradition, Cambridge (Mass.), 1958.

госец Диомед, критянин Идоменей, саламинец Аякс. Не исключена возможность, что по крайней мере часть этих персонажей — носители исторических имен микенских деятелей. Всему этому кругу противопоставлен главный герой «Илиады» фессалиец Ахилл, полусказочный фольклорный богатырь, с чертами юного умирающего бога. Область Ахилла, Фтиотида, не имеет глубоких микенских связей, но находится рядом с той самой «Элладой», с которой связано позднейшее имя греческой территории и греческого народа. Известно значение Фессалии в выработке религиозно-мифологической системы греков первого тысячелетия до н. э. Исследователи неоднократно обращали внимание на ее роль также и по отношению к героическим сказаниям [45]. Фессалия, особенно ее восточная часть, была менее всего затронута разрушениями и переселенцами конца второго тысячелетия. Не следует думать, что Афины были единственным сохранившимся от микенской эпохи городом. Фессалийский Иолк тоже оставался нетронутым. Не удивительно, что именно на этом ареале нашло свое продолжение поэтическое искусство микенской эпохи. Для гомеровского эпоса она уже является только историческим воспоминанием, неким отправным пунктом, героическим прошлым, к которому отнесено действие сказаний. Как это часто бывает в истории эпоса, воспевается то, чего уже нет, и что окутано дымкой предания. Но самые предания оформились уже в «темные века», и выдающееся место в этом процессе принадлежит Фессалии. С континента эпические песни распространились на Лесбос и далее, в малоазийскую Эолиду.

Эолийская окраска, которую приобрел микенский поэтический язык, является, таким образом, вполне естественной; она обоснована историческим процессом развития микенского песнопения, переместившегося на северо-восток. Скорее можно спросить себя о другом: почему этих эолизмов в гомеровском тексте так мало? Ответ, думается, должен быть двоякий. Во-первых, многие эолийские черты были устранены на последующем ионийском этапе развития эпоса. За ничтожными исключениями эолизмы, не поддержанные микенской традицией, сохранились лишь тогда, когда в ионийском не было для них равноценной просодической замены. В этом отношении Фик был прав. Но не менее важно другое. Надо полагать, что этот прямо не засвидетельствованный, известный нам по своим пережиточным остаткам внутри гомеровского текста поэтический язык эолийского эпоса вовсе не следовал за живой эолийской речью во всех деталях. Как и его предшественник, поэтический язык микенского времени, он оставался наддиалектным. «Эолизация» этого языка состояла в его новой окраске, в примеси к нему эолийских диалектизмов, в обогащении его новыми формами. Общеэолийские явления, как мы видели, всегда попадали в эпический язык хотя бы на правах новых вариантов наряду с уже существовавшими. От использования особенностей отдельных диалектов певцы, по-видимому, воздерживались. Странствующему аэду приходилось иметь дело с носителями разных диалектов, и он старался быть общепонятным.

На малоазийском побережье и близлежащих островах эолийская эпическая поэзия была освоена ионийцами, устремившимися около 1000 г. (или немного ранее) через Эгейское море. К концу «темных веков» это была наиболее передовая область Греции. Сызнова возникало рабовладение, пошедшее на убыль в послемикенское время, развивались полисы, проходило непосредственное соприкосновение с культурами Востока, возродилось письмо, отныне уже не слоговое, а алфавитное, — и здесь, на более

[45] W. D. Geddes, The problem of the Homeric poems, London, 1878, стр. 236; P. Cauer, Grundfragen der Homerkritik, I, Leipzig, 1921, стр. 224—295; G. S. Kirk, The songs of Homer..., стр. 150—156.

высокой ступени эпического творчества, были созданы гомеровские поэмы.

На своем ионийском этапе эпический язык опять получил новую диалектную окраску. Безболезненно проходили и просодически иррелевантные замены, η вместо ᾱ, 3-е лицо ед. числа имперфекта ἦν вместо ἦς. Сложнее было с другими фонетическими процессами, которые определяли облик ионийского диалекта в первом тысячелетии, но при этом изменяли просодические параметры языка, как-то: с выпадением неслогового ϳ (дигаммы), количественной метатезой, ростом контракций. Явления эти плохо датируются, но все они, по-видимому, относятся к последним векам, предшествующим Гомеру. К гомеровскому времени, т. е. к VIII—VII вв., в живой ионийской речи все это установилось, но в эпический язык проникало чрезвычайно медленно. Отсюда получалась характерная для гомеровского языка не только разнодиалектность, но и амальгама старого и нового, при решительном количественном преобладании старых форм. Значительно меньшую роль играют ионийские морфологические инновации: ν ἐφελκυστικόν, претеритальное окончание 3-го лица мн. числа -σαν, вместо -ν (ἔστησαν наряду с ἔσταν), местоимения ἡμεῖς и ὑμεῖς (без придыхания, придыхание — аттицизм) и т. п.

А. Мейе в своем «Очерке истории греческого языка» заканчивает главу о гомеровском языке замечанием, что язык этот, созданный в Азии эолийцами и ионийцами совместно и заключающий в себе, быть может, даже «ахейские» элементы, именно в силу своей многодиалектности стал общим достоянием всех эллинов. «Древнейший поэтический язык Греции, — писал Мейе, — тот язык, который оказал влияние на все прочие, не имеет четкого диалектного характера, не принадлежит никакому отдельному диалекту, и им пользуются все греки» [46]. Замечательному французскому исследователю, столь много сделавшему для правильного истолкования лингвистической системы Гомера и ее места в общем процессе развития греческого языка, представлялось, по-видимому, что гомеровская полидиалектность является неким побочным продуктом миграции эпоса из «ахейских» областей в эолийские, а затем в Ионию. Читателю настоящей статьи предлагается иная концепция: наддиалектный характер греческого поэтического языка отнюдь не историческая случайность. Это его исконное свойство во все периоды, доступные наблюдению или хотя бы поддающиеся исторической реконструкции; оно сохранится и впоследствии, сопровождая все многовековое развитие греческой поэзии.

[46] A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, Paris, 1920, стр. 132.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА «СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ»

Вышли в свет первые три номера научно-теоретического журнала «Советская тюркология», органа АН СССР и АН АзербССР[1] (периодичность — 6 номеров в год). В редакционную коллегию, возглавляемую известным диалектологом акад. АН АзербССР М. Ш. Ширалиевым, вошли виднейшие представители тюркского языкознания и филологии, крупнейший востоковед ныне покойный акад. Н. И. Конрад, литературоведы и литераторы.

Как явствует из программы журнала, изложенной в статье главного редактора М. Ш. Ширалиева и ответственного секретаря редакции С. Г. Асадуллаева «Советская тюркская филология и задачи журнала „Советская тюркология"», на страницах этого нового издания «будут освещаться вопросы фонетики, грамматики и лексики тюркских языков, их исторического развития (историческая и сравнительная грамматика и лексикология), а также вопросы истории литературного языка и диалектов, стилистики и теории перевода, вопросы культуры речи»; одновременно предполагается уделять особое внимание «вопросам теории и методологии языкознания, исследуемых на материале тюркских языков» (СТ, 1, стр. 10). Кроме того, большие задачи ставятся перед СТ также в области изучения литератур и фольклора тюркоязычных народов: журнал призван «способствовать становлению и утверждению новой отрасли советского литературоведения — тюркского литературоведения» (СТ, 1, стр. 11).

В соответствии с намеченными задачами в журнале выделены два основных раздела — «История и теория языка» и «Вопросы истории и теории литературы». Естественно, что из них наиболее устойчив от номера к номеру, обширен и значителен по объему представленного в нем материала раздел «История и теория языка».

Как эта обширная программа, вполне отвечающая состоянию отечественного языкознания и охватывающая большой круг важных языковедческих проблем осуществляется в первых трех номерах СТ за 1970 год?

Как бы развитию и конкретизации изложенной М. Ш. Ширалиевым и С. Г. Асадуллаевым программы служит проблемно-критическая статья Э. В. Севортяна «Несколько замечаний к тюркологическим исследованиям по грамматике» (СТ, 3). Анализируя серии появившихся в последние десятилетия монографий, кандидатских и докторских диссертаций по ряду важных грамматических проблем, Э. В. Севортян показывает, сколь необходимо «перемещение центра тяжести исследований с классификационных поисков и описаний в область изучения и описания свойств, связей и отношений грамматических единиц (частей речи, предложения, словосочетания и т. д.) с другими единицами, частями или сферами языка» (СТ, 3, стр. 5).

Критически относясь к априорным установкам, которые лежат в основе предлагавшихся классификаций, и, в частности, к преобладанию семасиологического аспекта при рассмотрении грамматических явлений, автор раскрывает всю бесплодность такого теоретизирования на примере существующих классификаций тюркских частей речи. Подлинно научная классификация, по мнению Э. В. Севортяна, не может быть создана, пока на материале тюркских языков не разрешена проблема грамматической формы и тесно связанная с ней проблема грамматических категорий. Перспективным направлением он считает изучение «взаимоотношений грамматической категории и ее лексического носителя, или более широко — взаимоотношение грамматики и лексики и тесно связанное с этим функционирование грамматической категории» (СТ, 3, стр. 11).

Э. В. Севортян намечает также конкретные пути в исследовании таких важных проблем тюркской грамматической нау-

[1] «Советская тюркология», Баку, 1970, 1—3 (далее в тексте — СТ).

ки, как словообразование, аналитическое словообразование в широе — большая область аналитизма в тюркских языках в ее типологических схождениях и расхождениях с аналитизмом в иносистемных языках.

Многообещающей областью тюркологических разысканий автор признает ареальные отношения внутри тюркских языков. По его мнению, однако, «пока не ясно, какие именно вопросы необходимо решать в ареальных темах. Надо ли, например, заниматься в этих работах главным образом описанием форм, их значений и употребления в языках, образующих ареальную группу, или же изучение ареальных объединений должно вестись по иному плану с сосредоточением главного внимания на фактах, доказывающих ареальную общность исследуемых языков, позволяющих... определить исторические изменения в ареальных группах и направление таких изменений...» (СТ, 3, стр. 16). Думается, что такое противопоставление намеченных двух планов исследования вряд ли оправдано: одно совсем не исключает другое. Напротив (если последовательно продолжить высказанные в статье Э. В. Севортяна мысли), только изучение каждой подсистемы форм, принадлежащих той или иной грамматической категории, в их системных взаимоотношениях, в их функциональных и количественных характеристиках для каждого из языков данной ареальной группы как раз и позволит «установить, происходит ли нарастающее сближение или же, наоборот, расхождение между языками одной ареальной группы...» (СТ, 3, стр. 16). Для того, чтобы добыть факты, показывающие степень ареальной общности исследуемых языков, необходимо тщательно сопоставлять в этих языках даже и внешне вполне совпадающие формы, выясняя при этом частоту их употребления в том или ином языке, объем их функций, а также их соотношения с другими однокатегориальными коррелирующими формами (такой анализ легче всего произвести в области глагольных имен, причастий и деепричастий).

Статья А. Н. Кононова «П. М. Мелиоранский и отечественная тюркология» (СТ, 1) — образец того, как нужно находить современные аспекты в научном наследии тюркологов прошлого и пути его актуального применения[3]. П. М. Мелиоранский показан как ученый, который «поразительно быстро стал на мало кем из тюркологов достигнутую высоту современных лингвистических методов и взглядов» (А. Н. Самойлович). Характеризуя ученого прежде всего как тюрколога-лингвиста, в то же время обладавшего глубокими знаниями тюрколога-историка, А. Н. Кононов категорически высказался против «полного и решительного отрыва тюркского языкознания от истории... культуры тюркоязычных народов» (СТ, 1, стр. 23).

О необходимости исследовать историю тюркских языков и в особенности тюркских литературных языков с учетом всего контекста исторических и географических факторов пишет Э. Н. Наджип в статье «О средневековых литературных традициях и смешанных письменных тюркских языках» (СТ, 1). Статья эта не совсем обоснованно отнесена к разделу «Вопросы истории и теории литературы» — на самом деле в ней трактуются спорные вопросы истории тюркских литературных языков, та самая языковедческая проблематика, которая в программе журнала числится в ряду требующей неотложного и пристального изучения (СТ, 1, стр. 8—9).

Поднимая чрезвычайно острые и актуальные вопросы преемственности, соотношения, взаимовлияния и взаимодействия тюркских литературных языков в различные исторические периоды, Э. Н. Наджип решительно выступает против «поспешных заявлений, какие у нас нередко делаются о принадлежности данного памятника тому или иному из современных тюркских народов» (СТ, 1, стр. 87). Важные вопросы, намеченные Э. Н. Наджипом, естественно, почти невозможно окончательно разрешить в одной журнальной статье. Желательно было бы обсудить на страницах СТ эту проблематику, причем один из способов широко привлечь специалистов к обсуждению — это дискуссия в форме ответов на вопросы составленной для этих целей анкеты, которая бы затрагивала по пунктам наиболее спорные вопросы истории тюркских литературных языков[4].

Непосредственно к этой же тематике относится статья Э. Р. Тенишева «Новый источник чагатайского языка раннего периода» (СТ, 1), в которой сообщается о найденных автором трех старых рукописных саларских книгах («Jbādet», «Qysea-i Qurban», фрагмент из «Истории саларов») и приводится ряд характерных особенностей их языка. Прозаический язык старых саларских книг, датируемый раннечагатайской порой, автор рассматривает как недостающее звено в развитии среднеазиатско-тюркского письменного литературного языка, который

[3] Здесь уместно отметить большую роль А. Н. Кононова как организатора ежегодных тюркологических конференций в Ленинграде. Самая тематика этих конференций побуждает тюркологов среднего и молодого поколений ближе заняться разработкой богатейших глубинных хронологических пластов отечественной тюркологии.

[4] Ср. опыт журнала ВЯ в этом деле: анкета «Об образовании восточнославянских национальных литературных языков» (ВЯ, 1959, 4).

для того времени был представлен пока исключительно поэтическими произведениями с их жанровыми ограничениями в отношении языковом.

Сюда же примыкает подборка сообщений, относящихся к древней истории тюркских языков. М. А. Хабичев в статье «О древнетюркских рунических надписях в аланских катакомбах» (СТ, 2) сообщил о найденных и прочитанных им надписях из катакомб на территории Карачаево-Черкесской автономной области, А. А. Раджабов в статье «Об Онгинском памятнике» (СТ, 2) предложил свои уточнения к датировке и переводу надписи этого памятника. Л. Ю. Тугушева в статье «Древние уйгурские стихи» (СТ, 2; в разделе «Вопросы истории и теории литературы») опубликовала один из образцов древнеуйгурского стихотворения, написанного фольклорным семисложным стихом, по древнеуйгурской рукописи из собрания ЛО ИВ АН СССР (примерно VII в.); текст и перевод автор снабдила стиховедческим и лингвистическим комментариями, указателем слов.

Ленинский номер (СТ, 2) открывается статьями А. М. Дадашзаде «Образ В. И. Ленина в литературе» и Т. А. Эфендиевой «Ленинские идеи — основа языкового строительства в нашей стране». В статье Т. А. Эфендиевой, построенной на анализе работ В. И. Ленина по национальному вопросу, ленинских высказываний о языке, успехи, достигнутые в языковом строительстве СССР за годы Советской власти, показаны на примере достижений АзербССР в этой области. Материалы этой статьи перекликаются и удачно дополняются обзорной статьей Л. А. Покровской «О состоянии изучения и развития гагаузского языка» (СТ, 2).

В рецензируемых трех номерах СТ опубликовано большое число статей, материалов и сообщений по различным отраслям тюркского языкознания.

Теоретической фонетике, которую Э. В. Севортян назвал «самым узким местом отечественной тюркологии» (СТ, 3, стр. 3), посвящены статьи Г. П. Мельникова «Причины нарушений симметрии в системе киргизских гласных» (СТ, 1) и М. И. Трофимова «О влиянии длительных согласных на слогоделение в уйгурском языке» (СТ, 3). В статье Г. П. Мельникова, оснащенной многочисленными рисунками и схемами, названные причины наглядно вскрываются на основе разработанной автором методики одновременного учета как фонологических противопоставлений гласных, так и их фонетических особенностей, и построенных в результате пирамидальных моделей тюркского и киргизского вокализмов. М. И. Трофимов трактует вопросы о применимости учения Ф. де Соссюра о слогоделении к материалам новоуйгурского языка и вместе с тем, преодолевая известное упрощение в его концепции, стремится учесть влияние длительных согласных, обладающих слогообразующими свойствами (сонанты, спиранты), на слогоделение.

Разнообразна тематика статей по морфологии. Б. А. Серебренников в статье «О некоторых частных деталях процесса образования аффикса множественного числа *-lar* в тюркских языках» (СТ, 1), исходя из известной гипотезы о сложности строения этого аффикса, полагает, что некогда *-lar* был использован в склонении имен существительных с притяжательными суффиксами, наиболее же древний вариант *-la* пережиточно сохранился в склонении без притяжательных суффиксов. При анализе фонетических вариантов аффикса мн. числа автор опирается на данные статистической фонетики, прежде всего — о частотности консонантных сочетаний.

Х. Г. Нигматов в статье «О глагольных корнях типа СГС и СГ по материалам Словаря Махмуда Кашгарского» (СТ, 3) на основе реконструкции ряда корней типа **šo-* (ср. *tol-* «наполняться»), **jā-* (ср. *jāz-* «навьючивать») приходит к выводу, что некоторые ныне неразложимые корни типа СГС исторически являются производными от корней типа СГ и в качестве конечного согласного имеют застывший морфологический формант, который в известной мере продолжает сохранять в составе слова свое значение.

К. М. Люблимов в обширной статье «Система грамматических времен в современном турецком языке» (СТ, 2) делает попытку сопоставления временных форм и обобщения их в единую систему, анализа взаимосвязи и взаимообусловленности этих форм; здесь, однако, не ставится такой важный и актуальный вопрос, как «место и соотношение аналитических и синтетических форм в системе глагола» (СТ, 3, стр. 15). Сторонник именного характера турецкого глагольного спряжения, автор считает необходимым здесь «прежде всего... отметать формы спрягаемых существительных и прилагательных в настоящем и прошедшем времени» (СТ, 2, стр. 52). Исходя из того, что существительные и прилагательные не могут спрягаться в будущем времени (глаголы имеют «будущее-настоящее время»), а также из того, что в «будущем-настоящем времени, образуемом спряжением причастия будущего времени в настоящем времени», «причастие будущего времени восходит опять-таки к желательному наклонению (*yaza* + *cak*)» (СТ, 2, стр. 64—62), автор отказывает турецкому языку в наличии будущего времени («турецкое спряжение — двувременное», стр. 63). Думается, что подобные утверждения возможны только с позиции полного равнодушия к вопросам четкого разграничения синхронии и диахронии. Точно так же относить форму прошедшего времени на *-di* в современном турецком языке «к разряду именных, суб-

стантивных основ» (СТ, 2, стр. 55) — значит смешивать вопросы генезиса глагольной формы и занимаемого ею положения в современной глагольной системе.

Статья Ф. Р. Зейналова «Категория модальности и способы ее выражения в тюркских языках» (СТ, 2), относясь в целом к разделу морфологии, тяготеет в то же время к синтаксическим описаниям. Четко отделяя модальные слова от прочих средств выражения модальности, автор характеризует их как особую переходную лексико-грамматическую категорию, имеющую много общего с частицами и синтаксически выполняющую аналогичную функцию.

Вопросам синтаксиса в журнале посвящено, пожалуй, наибольшее число статей.

Г. А. Абдурахманов в обзорной статье «Изучение синтаксиса тюркских языков» (СТ, 1) рассматривает труды советских тюркологов по синтаксису словосочетания и по синтаксису предложения и намечает здесь круг задач, требующих неотложного и всестороннего исследования.

Один из вопросов синтаксиса словосочетания трактуется в статье Н. З. Гаджиевой «Природа изафета в тюркских языках» (СТ, 2). Вопреки мнению С. С. Майзеля, автор видит в I (безаффиксальном) типе изафета адъективированное словосочетание; доказывается позднее развитие III (генитивного) типа изафета. Сюда же может быть отнесена статья М. Б. Финкельштейна «Структурные особенности некоторых узбекских синтаксических конструкций» (СТ, 3), где анализируются узбекские лексико-грамматические соответствия русским именным сочетаниям с существительным в твор. падеже + предлог *с*.

В журнале нашли отражение вопросы синтаксиса многих типов предложения. Дж. С. Ахмедов в статье «Выражение отрицания предикативами с констатирующей функцией в современном азербайджанском языке» (СТ, 2), анализируя употребление *jox* и *dejil*, передающих разные аспекты отрицания, считает предикативные отрицательные формы констатации маркированными по отношению к соответствующим положительным формам.

В статье А. Н. Баскакова «Сложносочиненные союзные предложения в современном турецком языке» представлена попытка классификации этих предложений «по характеру отношений между частями сложного предложения» (СТ, 3, стр. 18): выделяются сложносочиненные предложения а) с лексическими коррелятами, б) с морфологическими коррелятами, в) с синтаксическими коррелятами; кроме того, дана классификация этих предложений и по чисто семантическому принципу.

А. З. Абдуллаев в статье «Пути возникновения сложноподчиненных предложений в тюркских языках» (СТ, 3) полагает, что одна разновидность сложноподчиненных предложений («одноядерные») возникла на базе распространения простого предложения, другая разновидность их («двуядерные») генетически восходит к сложносочиненным предложениям. Пренебрежение к хронологии — как к абсолютной, так и к относительной, делает уязвимыми синтактико-генетические построения автора. В самом деле, в статье не указаны хронологические рамки исследования, и в одном ряду приводятся примеры из памятников древнетюркской письменности, из словаря Махмуда Кашгарского, «Китаб-и Деде-Коркуд», из современной турецкой прозы и т. п. Все это приводит к смещению исторической последовательности процессов — так, автору кажется, что после того, как утверждаются различные типы придаточного предложения с относительными местоимениями [4], эти местоимения «начинают употребляться в составе деепричастного оборота» (СТ, 3, стр. 55), между тем как примеры такого употребления приводятся только из памятников древнетюркской письменности. Думается, что фактом такого использования относительных местоимений засвидетельствовано как раз то переходное состояние, при котором относительные местоимения, находившиеся в начале своего развития как средства союзной связи, были индифферентны к структуре оборота, который они присоединяли к главному предложению.

Характеризуя сложноподчиненные предложения с относительными местоимениями как «древнейшие первоначальные структуры» (СТ, 3, стр. 53), А. З. Абдуллаев заключает, что «данная разновидность сложноподчиненных предложений возникла путем соединения вопросительного предложения с повествовательным» (стр. 54). Такой путь представляется до чрезвычайности прямолинейным и семантически мало оправданным. Во всяком случае, синтаксическое изучение такого памятника рубежа XV—XVI вв., как «Бабур-наме», показало, что одним из условий перехода вопросительного местоимения *kim* в относительное явилась утрата им падежной парадигмы: в придаточном определительном предложении, вводимом посредством *kim*, при необходимости использовался косвенный падеж анафорического местоимения или же пов-

[4] Вызывает недоумение, что «сложноподчиненные предложения с союзными словами (относительными местоимениями) (разрядка наша.— *Г. Б.*) и показателем (*-sa/-sä*)» зачислены А. З. Абдуллаевым в группу «бессоюзных» (СТ, 3, стр. 53).

торно употреблялось определяемое имя в надлежащем падеже [5].

Разнообразны в журнале и материалы, которые можно отнести к разделу лексикологии. А. А. Юлдашев в статье «Конверсия в тюркских языках и ее отражение в словарях» (СТ, 1) разбирает спорный вопрос, ставший помехой в лексикографической работе. Он видит в конверсии «отнюдь не функциональное явление, а словообразование» (СТ, 1, стр. 76) и полагает, что в тюркских языках конверсия не идет на убыль, «а наоборот,... вовлекает в словообразование и заимствования, и производные слова» (там же).

Такая популярная в настоящее время дисциплина, как фразеология, представлена двумя статьями. А. Т. Кайдаров в статье «О фразеологических вариантах в уйгурском языке» (СТ, 2) наряду с лексическими вариантами именно-глагольных идиоматических выражений рассматривает в плане лексического варьирования также пословицы и поговорки. В статье Э. А. Умарова «К истории одного фразеологизма из словаря В. В. Радлова» (СТ, 1) прослеживается по старым письменным памятникам и современным тюркским языкам выражение *jüs süby* «честь, авторитет», учитываются его более поздние варианты и эквиваленты.

Конкретным материалом насыщены статьи И. Г. Добродомова «К истории культурных терминов тюркского происхождения» (СТ, 3) и Д. С. Сетарова «Тюркизмы в русских названиях птиц» (СТ, 2), проблематика которых определена широко ведущимися сейчас подготовительными работами в области создания словарей тюркизмов славянских языков.

Прекрасная подборка статей, представляющих интерес как с терминологической, так и с фразеологической точек зрения, а одновременно — и с точек зрения исторической и этнографической, опубликована в разделе «Ономастика, топонимика, этнонимика» (раздел появился в № 3). Мы имеем в виду, прежде всего, статьи В. М. Насилова «Ономастика охотничьего быта тувинцев, уйгуров и казахов» и Л. П. Потапова «К семантике названий шаманских бубнов у народностей Алтая»; сюда же тематически примыкает статья Х. Д. Бакаевой «О золотом шитье Бухары и связанных с ним терминах». В этом же разделе напечатаны сообщения А. Гусейнзаде «О происхождении топонима *Баку*» и Г. П. Супруненко «Из древнекыргызской ономастики».

В трех рецензируемых номерах СТ совсем не представлена диалектология. Между тем, на страницах журнала было бы полезно помещать не только обзорные и обобщающие статьи, касающиеся вопросов составления диалектологического атласа тюркских языков и принципов составления диалектологических словарей (как это намечено в программе, см. СТ, 1 стр. 7). Безусловную ценность составили бы и публикации вполне конкретных материалов — небольших словарей того или иного диалекта (говора), тематических подборок диалектной лексики (например, ботанические названия в одном из говоров, зоологические названия или бытовая лексика и т. п.), особо характерных фрагментов диалектных текстов.

В соответствии с программой журнала на его страницах освещаются вопросы, связанные с алтаистикой. В обзорно-обобщающей статье Н. А. Баскакова «Основные направления в изучении алтайской семьи языков» (СТ, 1), оснащенной подробной библиографией, охарактеризованы генетическая теория родства алтайских языков (Г. Рамстедт) и теория их типологических схождений (В. Котвич). В статье справедливо отмечается целый ряд уязвимых мест в гипотетических реконструкциях, предложенных Рамстедтом; в то же время несколько завышенными выглядят методологические упреки в адрес Рамстедта — в том, например, что им «не дана полная характеристика языка-основы (разрядка наша.— *Г. Б.*), не всегда выяснены отношения форм общеалтайского языка к соответствующим формам современных конкретных языков...» (СТ, 1, стр. 31; см. еще стр. 31—32): думается, что все это вряд ли под силу выполнить одному исследователю. В качестве позитивной части статью заключает схема общего процесса дифференциации и интеграции алтайских языков, которая уже известна читателям из доклада Н. А. Баскакова на I алтаистической конференции (ЛО Института языкознания АН СССР), опубликованного в ВЯ [6].

Намеченные в программе СТ проблемы взаимодействия тюркских языков с другими языками, начиная с древнейших времен до наших дней, на страницах журнала освещаются в двух статьях. М. Р. Федотов в статье «О чувашском каритивном аффиксе *-сăр* (*-săr*), *-сĕр* (*-sĕr*) и его рефлексе в некоторых финно-угорских языках» (СТ, 3) критикует точку зрения, в соответствии с которой отож-

[5] Подробнее об этом — в нашей статье о синтаксисе сложноподчиненного предложения в языке «Бабур-наме» (сб. в честь Е. И. Убрятовой, в печати). На этом материале та же синтаксическая особенность отмечалась еще А. Казем-Беком (см. его «Общую грамматику турецко-татарского языка», 2-е изд., Казань, 1846, стр. 118, 434—435).

[6] См.: Н. А. Баскаков, Ареальная консолидация древнейших наречий и генетическое родство алтайских языков, ВЯ, 1970, 4.

дествляются аффиксы *-sirä* и *-siz-ä* и на основе сопоставления нескольких слов постулируется чередование *r* ~ *z* в языке древнетюркских памятников. Привлечение финно-угорских заимствований из чувашского на *-sär* позволяет автору предположить, что в тюркских языках переход *z* (δ) в *r* произошел до IX в. н. э.

В статье Н. С. Джидалаева «О диахронии тюрко-дагестанских языковых контактов» (СТ, 3, помещена в разделе «Языковые связи») диахронические уровни тюркского языкового влияния на лакский язык выделяются в зависимости от характера звуковых трансформаций, которым подвергались тюркизмы в этом языке. При подборе тюркских эквивалентов, по-видимому, не всегда учитывалось, что тюркизм в иносистемном языке может сохранять черты более древней формы.

В разделе «Вопросы теории и истории литературы», помимо уже упоминавшихся выше, опубликованы статья И. В. Стеблевой «Рифма в тюркоязычной поэзии XI в.» (СТ, 1) и М. А. Сейидова «Заметка о гуннской мифологии» (СТ, 2). Внимание И. В. Стеблевой привлекли погрешности в рифме, наблюдаемые в «Кутадгу билиг» и в словаре Махмуда Кашгарского: именно они помогают проследить путь становления тюркоязычной точной рифмы. Автор пытается наметить два ареала развития тюркской стихотворной практики в соответствии с преобладающим воздействием арабской и персидской литературы или же поэзии монголов. Уязвимой стороной статьи М. А. Сейидова являются предлагаемые им этимологии вроде *basil* (этноним) «< *bas* + *il/el* „побеждающий народы", „покоритель земель"» (СТ, 2, стр. 108, примеч. 9), *jabgu* (сословное звание) — «из соединения слова *jab/jap* со словом *gu*»: в результате якобы возникает значение «великий строитель, творец, повелитель» (стр. 114). Эти этимологии сомнительны уже потому, что глагольная основа в чистом виде может выступать только в повелительном наклонении, формы которого, как известно, никак нельзя отождествить с Nomina agentis; к тому же, тюркским языкам известны императивные личные имена, но не этнонимы и пр. Тем не менее, эти и подобные этимологии фигурируют в статье как «дополнительное подтверждение принадлежности гуннов к тюркоязычным племенам древности» (стр. 116). В разделе «Исследование народного творчества», появившемся в № 3 СТ, напечатана статья С. Каскабасова «Герои казахской волшебной сказки».

В каждом номере СТ публикуются рецензии на новые книги по разным отраслям тюркского языкознания, которые вышли в свет как в центральных, так и в республиканских издательствах Советского Союза [7], а иногда — и за рубежом [8]; раздел этот именуется то «Критика и библиография», то просто «Рецензии».

В разделах «Научная жизнь», «Personalia», «Хроника» освещаются все наиболее важные с точки зрения тюркологии события в нашей стране; материалы этих разделов в будущем послужат важным подспорьем при создании истории советской тюркологии.

Журналу, в силу его специфики, пришлось столкнуться с целым рядом полиграфических трудностей. Из номера в номер СТ призывает тюркологов к единообразию в использовании транскрипции регулярно публикуя в виде приложения список диакритических знаков и таблицы принятой в журнале МФТ в ее соответствиях существующим тюркским алфавитам на кириллической основе и некоторым арабским литерам. Тем не менее авторы ряда статей (даже и фонетической — М. И. Трофимов) еще придерживаются традиции транскрипционного разнообразия, существенно осложняя работу редакции. Можно было бы назвать бросающиеся в глаза опечатки [9] и другие огрехи; однако справедливость требует отметить, что от номера к номеру журнал все успешнее преодолевает технические трудности, заметно совершенствуется его полиграфическая база, повышается издательская культура. Знакомству зарубежного читателя с СТ способствует содержание номера, публикуемое на английском языке.

Завершая обзор трех рецензируемых номеров СТ, следует признать, что намеченная редколлегией журнала программа успешно выполняется на достаточно высоком уровне. Наряду с теоретическими, обобщающими и обзорными статьями в СТ печатаются материалы и сообщения, в которых представлены разработки конкретных, иногда, может быть, и

---

[7] Рецензия А. А. Юлдашева на кн. С. Н. Иванова «Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана» (СТ, 2) несколько раньше была опубликована в ВЯ (1970, 4).

[8] Из последних журнал откликнулся на книгу д-ра Надира Вазин Пура «Структура глагола в тюркских языках», написанную на персидском языке и потому труднодоступную для тюркологов.

[9] Отметим только наиболее досадные. В определении *словосочетания*, цитируемом из «Грамматики башкирского языка» Н. К. Дмитриева, допущена обессмысливающая замена слова: словосочетание — «это форма для выражения статических отношений между п р е д л о ж е н и я м и» (СТ, 1, стр. 43; следует читать: «между п р е д м е т а м и»). См. также O. Böhtling (СТ, 1, стр. 49) вместо O. Böhtlingk или: И. К. Бунин (СТ, 2, стр. 45) вместо И. К. Бунина.

частных вопросов тюркского языкознания; свое место в журнале заняли и публикации древнетюркских текстов, вновь найденных рунических надписей и т. п.

Тематика каждого из трех номеров разнообразна. На будущее редакции журнала можно было бы пожелать подбирать в номер тематически более тяготеющие друг к другу материалы; во всяком случае такие материалы в рамках одного номера целесообразней печатать рядом, а не вразброс (ср., например, синтаксические статьи А. Н. Баскакова и А. З. Абдуллаева — СТ, 3; сообщения А. А. Ражабова и М. А. Хабичева о чтениях древнетюркской руники — СТ, 2, и т. д.).

Радует то, что журнал не стремится к «единообразности» идей в своих публикациях по тем или иным отраслям тюркологии и охотно предоставляет свои страницы сторонникам противоположных точек зрения (например, в отношении конверсии — Э. В. Севортян и А. А. Юлдашев).

Издание нового научно-теоретического журнала открывает перед советскими тюркологами доселе невиданные перспективы и возможности для постановки и всестороннего делового обсуждения актуальных и спорных проблем тюркского языкознания, литературоведения, фольклористики, для теоретического осмысления узловых проблем тюркской филологии.

Г. Ф. Благова

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1971

РЕЦЕНЗИИ

Э. А. Макаев. Структура слова в индоевропейских и германских языках. — М., изд-во «Наука», 1970. 286 стр.

Автор обращает внимание на необходимость исследовать как структуру, так и семантику германской лексики с внутригерманской точки зрения. Он справедливо замечает, что общегерманская лексика не является механической суммой этимологий, установленных на основе современных германских языков (стр. 18—31). «Переплетение словообразовательных и словоизменительных рядов» (стр. 11), т. е. лексикализация и грамматикализация — это главные факторы изменений в лексике. Современное состояние индоевропейской семасиологии и этимологии исключает возможность построить общую теорию семантической экстраполяции (стр. 40, 47—48). Здесь надо добавить, что успехи в этой области зависят от теории универсалий, но только относительно эволюции грамматических категорий, в малой степени относительно лексики. Теория универсалий — важнейшее орудие внутренней реконструкции. Книга, однако, посвящена главным образом структуре германского корня, о словах же речь идет только в кратких I и V главах. Эволюция структуры корня в германском — это явления перегинтеграции (морфологического переразложения) и окрощения форм слова.

Анализируя во II главе структуру корней в германском, автор опирается на полный материал этимологических словарей, приведенный in extenso: 1) Фика — Торпа, 2) Иоуханнессона, 3) частично Покорного,— но большей частью на собственные выборки из этимологических словарей индоевропейских и германских языков (стр. 63—117). Списки эти будут полезны и для исследований в будущем.

II глава, занимающая почти половину книги (стр. 51—181), в значительной степени посвящена критике известного труда Э. Бенвениста, написанного в 1935 г. («Origines de la formation des noms en indo-européen»). Там же находим и критическую оценку «ларингальной» теории и защиту индоевропейского происхождения вокализма *a* и глухих придыхательных.

Эволюция унаследованных индоевропейских корней в германском, возникновение новых корней является результатом процессов перегинтеграции, главным образом абсорбции корнем древних суффиксов и префиксов, причем следует отметить, что детерминативы (глава III, стр. 182—216), происходящие из суффиксов, представляются в общем менее древним пластом, чем префоманты (из префиксов). В исследованиях до сих пор часто не различались индоевропейские и германские детерминативы, так что индоевропейские детерминативы определялись тоже как германские, хотя в германском они являются уже составной частью фонологической структуры корня. Примером такого ошибочного метода служит монография Ф. Шехта («Der Ursprung der indogermanischen Deklination», 1947, стр. 182—184).

Вытеснение древних корней расширенными *объясняется стремлением к морфологической* кумуляции, к распространению избыточного признака. Пустой с семантической точки зрения детерминатив становится составной частью корня. На стр. 199—208 находим список германских корней, в которых индоевропейский детерминатив больше не вычленяется, на стр. 208—211 — германских корней, в которых вычленение еще допустимо. В любом случае вследствие процессов инкорпорации, внедрения детерминативов в состав корня, увеличивается число четырех- и пятиэлементных типов корня в германском (стр. 199). Но, с другой стороны, нельзя заключать, что в общегерманском детерминативов вовсе не было, т. е. что в германских корнях детерминативы никогда не вычленяются.

В IV главе (стр. 217—253) исследуется так называемое *s-mobile* в германских языках. Сначала приводятся примеры из древнеиндийского, греческого, италийского, славянского, балтийского языков (стр. 217—224), затем германский материал (стр. 224—242) и таблица типов чередования *s* : нуль, например: герм. *sk-* ;

: *h-*, *sk-* : *k-*, *sp-* : *f-* и т. д. (стр. 242—243). В германском языке *s*-mobile превышало в отношении его частотности и многообразия типов аналогичные явления в других индоевропейских языках. Автор выделяет две группы примеров, одну — с *s*-mobile германского происхождения, вторую — с *s*-mobile индоевропейским, но отсутствующим в германском. Вопреки некоторым взглядам, согласно которым *s*-mobile объясняется внешним сандхи или влиянием субстрата, автор разделяет мнение компаративистов, считающих его древним индоевропейским префиксом.

В V главе (стр. 254—273) автор возвращается к проблеме структуры слова (в индоевропейском и в германском). Он справедливо критикует взгляды Мейе, пытающегося характеризовать статус слова в индоевропейском на основе морфологических критериев (стр. 254—258). Здесь находим и критику его взглядов относительно роли проклитик и энклитик (стр. 262—263) и наличия префиксов (стр. 272). Опорой префиксального характера *s*-mobile служат, по автору, другие примеры чередования начальной согласной с нулем, а именно *g*^{u} : *u̯*, *k* : нуль, *n* : нуль (стр. 265—271).

Много места занимают в книге списки и таблицы, много места посвящено также и критике теорий, которые лишь косвенно связаны с поставленной автором задачей. Так, например, критика труда Э. Бенвениста через 35 лет после его опубликования несколько опоздала и не вносит много в тематику книги в собственном смысле. Что касается статического, а не динамического характера теории Э. Бенвениста, то с этим, думаю, автор ее сам согласился бы ныне. Э. А. Макаев справедливо критикует сложившуюся в индоевропеистике практику, когда в форме I $T_1eT_2T_3$ T_3 называется детерминативом, а в форме II $T_1T_2eT_3$ *e* T_3 — суффиксом (стр. 159). Речь идет или о двух разных распространениях корня T_1eT_2, т. е. о детерминативе T_3 и суффиксе $-eT_3$, где наличие суффикса ($-eT_3$) влечет за собой нулевую ступень корня (T_1T_2-), или же о двух формах корня (T_1eT_2 и T_1T_2e) и только об одном и том же распространении (T_3), которое называем суффиксом.

Теория Э. Бенвениста относится к раннеиндоевропейскому периоду, когда связь между $T_1eT_2T_3$ и $T_1T_2eT_3$ (так называемый Schwebeablaut) была еще жива и продуктивна. К этому периоду следует отнести и дифференциацию основных морфологических типов, ср.: 1) T_1eT_2 : T_1T_2e; 2) T_1eT_2 - T_3 : T_1T_1e - T_3; 3) T_1eT_2 - T_3 : : T_1eT_2-T_3e.

Типы 1, 2 характерны для флексии «открытой» (например, род. падеж ед. числа *-i̯-ēs*, *-u̯-ēs*, *-n-ēs* и т. д.), тип 3 — для флексии «закрытой» (например, род. падеж ед. числа *-ei-s*, *-eu-s*, *-en-s* и т. д.). Из типа 2 возникают атематические суффиксы: /T_1eT_2/-T_3, /T_1T_2-/eT_3, из типа 3 — тематические суффиксы: /T_1eT_2-/T_3e. Кроме того, тип T_1eT_2-T_3 является и источником детерминативов (T_3).

Для анализа германских корней эта теория имеет минимальное значение, так как Schwebeablaut перестал быть продуктивным морфологическим процессом в конце индоевропейской эпохи (ср.: J. Kuryłowicz, Indogermanische Grammatik, II, стр. 221—223) и ограничен преимущественно корнями *set*. Неправильным представляется утверждение, что если теория Э. Бенвениста верна в отношении индоевропейского, то она должна быть тоже верна в отношении германского языка (стр. 130).

Что касается критики «ларингальной» теории (стр. 138), то Э. А. Макаев, конечно, прав, выступая против малонадежных ее применений, но впадает в обратную крайность, оспаривая, вместе с Уайэттом и Кейпером, связь хеттского *ḫ* с этой теорией (стр. 147). Ведь как раз эта фонема отвечает главным требованиям «ларингальной» теории: 1) исчезает перед гласной (хет. *ḫanti* = греч. ἀντί, лат. *ante*; глагольное окончание *-ḫa* = = др.-инд. *-a*, греч. *-α*); 2) стягивается с предшествующей краткой в долготу (хет. *paḫš* = лат. *pās-tor*, слав. *pas-ti*); 3) переходит в гласную между согласными (хет. *taraḫzi* < *tarḫzi* = вед. *tar-ī-tṛ́-*).

Итак, в хеттском засвидетельствован по крайней мере один из элементов, отвечающий требованиям «ларингальной» теории. Из того факта, что в большинстве случаев протетические гласные греческого и армянского языков являются гласными позднего происхождения (например, перед *r*-), не вытекает (стр. 175), что они никогда не отражают древних «ларингальных» (ср., например, греч. ἄϝημι «дуть», хет. *ḫuu̯ant* «ветер», лат. *ventus*, гот. *winds*). Но аттическая редупликация здесь не причем. Что касается фонетической невероятности теории (стр. 138), то можно здесь указать на потерю в аккадском всех ларингальных и фарингальных звуков (ʔ, *h*, ʕ, *ḥ*, *g*) за исключением *ḫ*, влекущую за собой контракции и изменения тембра гласной.

Однако для учения о германском корне все это вряд ли имеет значение. В равной мере не имеет значения проблема отличающегося от *o* вокализма *a*, а также проблема происхождения глухих придыхательных. В рассуждениях Э. А. Макаева выступают некоторые фонологические недостатки. Ссылаясь на Трубецкого, Хоккета и ван Вельтена (стр. 143 и примеч. 83), Э. А. Макаев не допускает возможности существования системы гласных без гласной нижнего подъема *a*, т. е., например, следующей системы:

[i]	[u]
[e]	[o]

Реконструировать мы можем только **фонологическую** систему, ее **фонетическая** реализация в общеиндоевропейском нам недоступна, а ее транскрипция условна. Можно, например, пользоваться и такими символами:

[i]	[u]
[ä]	[å]

Утверждение Трубецкого и других правильно, но только с **фонологической** точки зрения: нет гласных среднего подъема без гласных верхнего и нижнего подъема; если существуют только два уровня, как, например, в общеславянском, то один высокий (верхний подъем), а другой низкий (нижний подъем). Являлась ли общеславянская гласная нижнего подъема **фонетическим** *o* или *a* — вопрос не только неразрешимый, но и второстепенный.

Главным источником *a* в греческом, италийском (латыни), кельтском, армянском языках надо признать и.-е. *Ho* и *ə*, которые совпадают в большинстве индоевропейских языков с унаследованным *o* (в индоиранском *ə* > *i*). Но в греческом и т. д. количество *a* значительно увеличилось благодаря переходу *r̥*, *l̥*, *n̥*, *m̥* в *ar*, *al*, *an*, *am* перед гласной (кроме того, в армянском и перед согласной; *r̥*, *l̥* > *ra*, *la* в греческом; *n̥*, *m̥* > *an*, *am* в бриттском). Но по сравнению с *r̥*, *l̥*, *n̥*, *m̥* перед **согласной**, группы *ar*, *al*, *an*, *am* перед **гласной** содержали **избыточное** *a*, которое распространяется и перед согласной в морфологических категориях со ступенью нуль.

Так, например, в латыни находим ступень *ar*, *an* рядом с фонетическим *or*, *en* и т. д., в кельтском *ar*, *an* рядом с фонетическим *ri*, *en* и т. д.

Соотношение $T_1\bar{e}T_2$: нулевая ступень $T_1\breve{a}T_2\acute{e}$ (перед гласной) может тоже повлечь за собой $T_1\bar{e}T_2$: $T_1\breve{a}T_2\bar{e}$, так как переход $T_1\bar{e}T_2 > T\breve{a}T = \bar{e} >$ нуль $> \breve{a}$ (устранение *ē*, появление вставного *ā*). Ср. примеры в Indogermanische Grammatik, II, стр. 243—248.

Когда цитируются примеры с и.-е. *ă* (Э. А. Макаев, стр. 144—145), следует проанализировать их с точки зрения «южноевропейской» апофонии *e/o* : *a*, существующей рядом со старым чередованием *a/o* : нуль. Прежде всего надо элиминировать слова с дифтонгами, фонологически неопределенными, например: историческое *ai*, *au* < *ai*, *au* или *ai*, *aū* после исчезновения возможной ларингальной (арм. *taigr*, греч. αὖος и т. п.). Затем следует принять во внимание слова с возможным чередованием *e/o* : нуль, например: и-е. **ĝhons-* «гусь», **sol-* «соль», **nos-* «нос», ср.:

им. ед. **ĝhóns(s)*
вин. ед. **ghónsm̥*
род. ед. **ĝhn̥sós* > **ghansós*
дат. ед. **ĝhn̥séi* > **ĝhanséi*

Оттуда и распространение в корне вокализма *a* слабых падежей: греч. (дор.) χᾶν, χᾱνός, лат. *anser*, в то время как в балт. (литов.) имеем переход **ĝhonsm̥* > > *žąsį* (основа на *i* и сохранение древнего вокализма *o* сильных падежей). Таким образом, разница между греч. χῆνα и литов. *žąsį* та же, что между гот. *tunþu*, лат. *dentem* и др.-англ. *tǫþ*, греч. ὀδόντα.

Подобным образом объясняется лат. *sāl*, *sălis*: слав. *solь*; лат. *nāres*, *nāsus* : слав. *nosъ*.

Для **kasnos* > лат. *cānus* принимает нулевую ступень **kā̂sen* вместо **ksen* аналогично как в лат. *caret* = оск. *kasit* от **k̂es* (греч. κεάζω «расколоть») или лат. *sacēna* (рядом с *scēna*) < *secare* «резать». В др.-инд. *śaśá-* и, вероятно, в др.-в.-нем. *haso* «заяц» налицо полный вокализм *o*.

Слово *(*d*)*ak̂ru* «слеза» имеет, кажется, древний префикс, но его *a* объясняется так же, как *a* в **kasnos* (другая возможность: первичное *a-* < *Ho-* как в ἀντί = = хет. *ḫanti*). Нулевая ступень $T_1\text{ə}T_2\acute{e}$ вместо $T_1T_2\acute{e}$ допустима, конечно, и в северных языках (литов. *aśarà*, др.-в.-нем. *zahar*), ср. «Indogermanische Grammatik», II, стр. 245, § 314.

Вполне вероятно приписать слово «борода» **ареальной** (**европейской**) лексике: ср. греч. μυστάκιον «ус», которое распространилось по всей Западной Европе (итал. *moustaccio*, исп. *mostacho*, франц. *moustache*, англ. *moustache*). Ср. «L'apophonie en indo-européen», стр. 194—195 и замечание Э. А. Макаева (стр. 164) об интерференции языковых миров, приводящей к многочисленным заимствованиям лексем.

Ввиду морфонологических и ареальных соображений существование в индоевропейском различия между *o* и *a* кажется весьма сомнительным.

Что касается долготы *ā* (< *Hō* или *ŏH*), то она, конечно, отличается от *o* там, где существует различие *ă* : *ŏ*. В германском и славянском языках тождество *ă* = *ŏ* повлекло за собой и тождество *ā* (т. е. древнего *Hō*, *ŏH*) с *ō*, откуда герм. *ō*, слав. *ā*. В восточнобалтийском *ā* могло сохраниться благодаря возникновению новой долготы **ē̥* (литов., латыш. *ie*). Ср. восточнобалтийскую систему долгих гласных:

ī	*ū*
ē̥ (< и.-е. *ei*, *oi*)	*ō̥* (< и.-е. *ō*)
ē̥ (< и.-е. *ē*)	*ā* (< и.-е. *Hō*, *ŏH*)

Наоборот, в древнеирландском *ā* совпало с *ō* (несмотря на различие *ă* : *ŏ*) вследствие перехода дифтонгов *eu*, *ou*

в *ō*, откуда

ī	*ū*
ē (< и.-е. *ei*)	*o* (< и.-е. *eu*, *ou*)

ā (< и.-е. *ō*)

Эта система долгих гласных, совпадающая с унаследованной, соответствует пятичленной системе кратких.

Возражения автора против относительно позднего, а именно индоиранского, возникновения глухих придыхательных являются недостаточными по фонологическим причинам. Приходится здесь учесть следующие обстоятельства:

1. Факт, что и.-е. *T* (глухие) и *Dh* (так называемые звонкие придыхательные) находятся в фонологической оппозиции, т. е. отличаются только о д н и м фонологическим признаком, а не двумя (как др.-инд. *t* и *dh*.) Ср. несовместимость *T* в начале и *Dh* в конце корня или наоборот. Ср. также чередование *-t-* и *-dh-* в таких суффиксах, как *-tlom* и *-dhlom* (лат. *-culum*: *-bulum*; литов. *-klas* : слав. *-dlo*). Транскрипция (др.-инд.) *gh*, *dh*, *bh* не должна приводить нас здесь в заблуждение.

2. Этому противопоставлению *T* : *Dh* соответствует диссимиляция *Dh* — *Dh* в *T* — *Dh* в греческом языке. Но переход др.-инд. *Dh* — *Dh* в *D* — *Dh* совершился во время, когда система согласных располагала уже четырьмя членами *t/d* : : *th/dh*. Диссимиляция *Dh* — *Dh*, *Th* — *Dh* в древнеиндийском считается поздней, судя по иранскому *xumba* (<**khumbha-*), в др.-инд. *kumbha-*.

3. Ограничение дистрибуции глухих придыхательных. Они в противоположность звонким никогда не появляются перед суффиксами или окончаниями на согласную (*-s-*, *-t-*), а исключительно перед гласными и сонантами. Перед согласными обязательно *-i-*, например: *śnathi-s-*, *śnathi-tā-*, *śnāthi-tṛ-* (но, например *ābhutsi* < *budh*, *baddhā-* < *bandh*, *dāgdhṛ-* < *dah*). Обстоятельство, что сфера употребления древнеиндийского маркированного члена *Dh* шире сферы употребления *Th*, свидетельствует, по-видимому, о том, что древнеиндийское противопоставление *Th* : *Dh* не является древним, т. е. унаследованным из индоевропейского.

Автор справедливо отмечает две главные черты германского корня, отличающие его от индоевропейского (стр. 36, 181),— положительную (наличие корней с геминированной согласной) и отрицательную (отсутствие корней двусложных). Ср. «Indogermanische Grammatik», II, стр. 330, § 422; «Language», 43, 1967, стр. 446. Относительно геминации следует различать: 1) фонетическую (ср. III класс сильных глаголов); 2) морфологическую («Indogermanische Grammatik», II, стр. 343—345); 3) экспрессивную (там же, стр. 346—348).

Что касается структурных моделей корня в общегерманском (Э. А. Макаев, стр. 169—171, 181), то надо предпочесть классификацию, опирающуюся на структуру начальной и конечной г р у п п с о г л а с н ы х. Как известно, коренная гласная образует вместе с конечной группой одно целое, обусловливающее количество слога, в то время как начальная группа вовсе не влияет на его количество. Конечные группы заключают в себе детерминативы, начальные же — *s*-mobile и другие, случайные преформанты. В чередовании гласных играют роль конечные группы, предшествующий сонант только частично.

Для определения детерминативов (стр. 195, 206, 207) автор предлагает несколько правил, между прочим и существование «достаточно тесных семантических связей между производящей основой и производной формой, содержащей детерминатив». Это, конечно, довольно субъективный критерий, но вряд ли его можно заменить другим. Наверно, очень редки будут случаи, для которых возможно построение семантической пропорции «корень$_1$: корень$_1$ + (данный) детерминатив = корень$_2$: корень$_2$ + (данный) детерминатив» с и д е н т и ч н о й модификацией значения.

Такие структурально-семантические пропорции характерны обычно только для суффиксов. Для «префиксов» же (*d-*, *k-*, *n-*) мы их совсем не находим. Это значит, что статус этих мнимых «префиксов» соответствует статусу детерминативов. Если с функциональной точки зрения мы отличаем в конце слова детерминативы от суффиксов, придется и мнимые «префиксы» считать детерминативами и согласиться с Мейе, что индоевропейский не знал настоящих префиксов (др.-инд. *a-*, *su-*, *dus-*, этимология которых ясна, являются первично, так же как и глагольные приставки, первыми ч л е н а м и с л о ж е н и й, но не префиксами).

Среди преформантов *s*-mobile занимает особое и, по крайней мере в германском, значительное место. Существование других преформантов менее надежно. Для чередования g^{u}- : *u̯*- (стр. 265—267) принять можно не больше, чем два из цитированных примеров, так как лат. *v-* (*vetāre*, *va dum*) может соответствовать и.-е. g^{u}- или *u̯*-. Для *k-* находим тоже только два достоверных случая (греч. ὀστέον: слав. *kostь*; др.-инд. *ajā-*, литов. *ožkā*: слав. *koza*), в то время как все остальные противопоставления (ἄρυον: κάρυον, αὐλός : καυλός и т. д.) свойственны только греческому. Преформант *d-* засвидетельствован в **dakru* : **ak͡ru* «слеза», и, может быть, в гот. *dags* «день»: др.-инд. *ahar*. Но в др.-инд. *tsárati* (литов. *selė́ti*) «приползать», гот. *tandjan* (др.-прл. *ad-annai*) «зажигать», др.-в.-нем. *zongen* (гот. *at-augjan*) «показать», др.-в.-нем.

zagên (гот.* *agan*) «робеть» налицо нулевая ступень глагольной приставки **ad*, так что с исторической точки зрения все эти примеры являются сложениями.

Но во всяком случае настоящие преформанты, если примем их индоевропейское существование, когда-то были элементами с семантической функцией, и приходится согласиться с автором, что теории, которые для объяснения их происхождения ссылаются на сандхи, должны быть отвергнуты. Это касается, между прочим, теории Эджертона (стр. 252), неправильно опирающейся на метрическое сандхи Ригведы. Приписывать разговорному языку правила сандхи, обязательные в метрических произведениях,— большая методическая ошибка, испортившая тоже частично данную Эджертоном новую формулировку правила Зиверса.

Как объяснить продуктивность преформанта *s*-mobile? (Кстати, в список на стр. 224—243 следует включить и другие примеры: *gellan* : *skellan* и т. д. ср. L'apophonie стр. 378.)

Дело в том, что когда *s*-mobile, потеряв семантическую функцию, перестало быть настоящим префиксом, т. е. когда отношение, например, *ker* : *s* + *ker* перешло в *ker* : *sker*, семантическое подчинение *s* + *ker* исчезло, но структуральное подчинение формы *sker* форме *ker* осталось благодаря синкретизму *k* и *g* (*h*) (вообще взрывных) после *s*-:

ka- : *g* (*h*)*a-*
|_*ska*_|

Это значит, что *ska-* являлось маркированным по отношению к *ka-*, *gha-* и т. д. Между *ka-* и *ska-*, *ga-* и *ska-* благодаря нейтрализации глухих и звонких после начального *s-* возникло своего рода отношение «структуральной деривации». Даже при совершенном семантическом тождестве форма с *s-* стала являться экспрессивной. Это объясняет тоже и продуктивность *s*-mobile. Ничего подобного не существует в случае других преформантов (*a-* : *d-a-* и т. д.). Только отношение *ka-* : *ska-*, *ga-* : *ska-* можно назвать чередованием в собственном смысле, но не отношение *a-* : *da-*, *o-* : *ko-* и т. п.

Что касается сути дела, труд Э. А. Макаева — важный вклад в германское языкознание. Исследование структуры германского корня самого по себе, без постоянного отношения его к индоевропейскому, является задачей, которой до сих пор уделялось слишком мало внимания. Книга Э. А. Макаева — это возражение против смешения хронологических планов, о котором автор говорит в заключении (стр. 274—278), приводя пример известной монографии Ф. Шпехта о индоевропейском склонении. Можно полагать, что и здесь прогресс в области синхронии бросит свет на определенные проблемы морфологии.

Библиография богата, много информации находится в заметках и ссылках. Предметный и именной указатели значительно облегчают пользование книгой.

Опечатки и ошибки сравнительно немногочисленны:

Стр. 7 — *stiwiti* (род. и дат. ед. ч.); 10 — литов. *semiù*; др.-инд. *ámatram*; арм. *aman*; греч. ἁμίς; 15 — др.-исл. *módir*; 22 — др.-англ. *grǽtan* (*grétan*); 44 — *wǽg* «волна» (!); 57 — *agunos*; 136 — Laryngalthorie; 141 — с продленной ступенью *ē*; 156 — др.-инд. *arítra-*; 168 и 206 — forme de fondation; 176 — *daśábhir*; 179 — *bruv-ī-mahi*; 185 — др.-инд. *śáma-* «домашний»; 186 — и.-е. *mu̯-t-*; др.-исл. *smjǫr*; 191 — др.-англ. *bord*; 193 — др.-англ. *grindan*; герм. *rēd*; авест. *rāδaiti*; 217 — *sākám*, *nasya*; 265 — литов. *angà*; 268 — литов. *ožkà*.

Стр. 137 — лат. *lūna* <* *louqsnā* заменительное продление (?); 150 — автор (Е. К.) никогда не предлагал ларингальной интерпретации закона Бругмана, а только указывал на то, что др.-инд. 3-е лицо *ca-kār-a*: 1-е лицо *ca-kār-a* соответствует этому закону, в то время как возникновение самого закона морфонологическое (впрочем, ср. L'apophonie..., стр. 336—337); 151 — trilitère, bilitère являются во французской терминологии традиционным выражением подобно тому, как, например, нем. indogermanisch; 173 — положение Шмитта — Брандта, будто полная ступень, по сравнению с нулевой, являлась вторичным образованием, неверно с исторической точки зрения. Но это не «возврат к практике индийских грамматиков» (Макаев, стр. 173), ибо у них дело касается синхронии, т. е. взаимного отношения основных и производных форм, образования слов с древней ступенью *o* и *e* («Indogermanische Grammatik», II, стр. 281—288 и 308—311).

Е. Курилович

М. А. Бородина. **Современный литературный реторомансний язык Швейцарии.** — Л., изд-во «Наука», 1969. 231 стр.

Диалекты и говоры всех романских языков, в том числе реторомансного, отражены в лингвистических атласах, монографиях, словарях и других исследованиях. И все же по сравнению с другими романскими языками реторомансний изучен слабо.

Рецензируемая монография М. А. Бородиной существенно восполняет этот пробел. Она посвящена сравнительному изучению сурсельвского и верхнеэнгадинского вариантов современного реторомансного литературного языка Швейцарии, распространенных в кантоне Граубюнден. Сопоставление структур двух основных вариантов швейцарского реторомансного языка проводится впервые не только в советском, но и в зарубежном языкознании.

Реторомансний язык лишь с 1938 г. наряду с официальными языками Швейцарии — немецким, французским и итальянским (имеющими здесь «швейцарские» особенности) — стал четвертым национальным языком. Это язык маргинальный, переходный; он соединяет зоны французского и итальянского языков. В нем сосуществуют архаичные формы, которые хорошо сохраняются в периферийной языковой зоне, с элементами адстрата и иистрата — результатом длительного и тесного контакта с другими языками.

В книге рассматриваются в основном две проблемы: 1) вариантность литературного языка и соотношение литературного языка и диалектов; 2) заимствования из родственных и неродственных языков и вопросы генотических связей и типологических схождений. Решение этих вопросов имеет и практическое значение: оно позволит выработать рекомендации для установления единой современной нормы реторомансного литературного языка, имеющего ныне пять — шесть вариантов.

В I главе «Реторомансний язык» дается его краткая внешняя история. Из нескольких названий («курсний», употребляемое Ф. Дицем, «романшский» или «ромонтшский», как называет его большинство его носителей, «ладинский», как его именуют в Италии, «ретийский» — в немецкой литературе) самым распространенным стал термин «реторомансний», введенный Т. Гартнером. Реторомансний язык занимает узкую полосу от юго-восточной части Швейцарии (по границе Северной Италии вдоль Австрии) до Триестского залива. Он подразделяется на три группы: 1) западный реторомансний, или швейцарский, который М. А. Бородина называет граубюнденским, 2) центральный реторомансний (ладинский, тирольский или триентский), распространенный в горном районе Тироля, 3) восточный реторомансний (фриульский) — в долине реки Тальяменто. Последние две группы находятся в Италии. Между всеми частями имеются иноязычные вкрапления.

Говорящих на реторомансном языке, по статистике 1959 г., 402 тыс. человек. Несмотря на то, что на граубюнденском варианте говорит лишь 52 тыс. человек, именно он является национальным языком. Граубюнденская группа говоров делится на две ветви — сельвскую и энгадинскую. Первая (ее называют еще «романшской» или «романшской») подразделяется на сурсельвскую (или обвальдскую), сутсельвскую (или субсельвскую) и сурмиранскую подгруппы, а энгадинская (или ладинская) группа говоров подразделяется на верхнеэнгадинскую, нижнеэнгадинскую и мюнстерскую подгруппы.

Преподавание в школе, печать и радиопередачи ведутся на пяти вариантах (кроме мюнстерского). Наиболее древний литературный язык реторомансов — верхнеэнгадинский, а сурсельвский — язык, который лег в основу национального языка реторомансов Швейцарии. Эти два варианта в силу политических, культурно-экономических и исторических условий признаются единым литературным реторомансним языком. В рецензируемом последовании предметом описания являются именно эти два варианта.

Реторомансний язык изучен хорошо швейцарцами (А. Видмер, Р. Виели, А. Веллеман, А. Декуртинс, Г. Каханнес, С. М. Нэй, А. Шорта, В. Шейтлин), а также итальянцами (Гр. Асколи, К. Баттисти, К. Тальявини), австрийцами (Г. Куэн), немцами (Т. Гартнер, Э. Бёмер, И. Хубшмид, Г. Рольфс), русскими (И. И. Луньяк. М. В. Сергиевский, В. Ф. Шишмарев, М. А. Бородина), румынами (М. Илиеску, Ф. Седяну, В. Арвинте) и др. Девятнадцать граубюнденских реторомансних пунктов обследовано для «Лингвистического и этнографического атласа Италии и Швейцарии» по широкой программе (2000 вопросов).

Считают, что реторомансний язык существует с X в. Самый древний фрагмент реторомансной швейцарской письменности восходит к X—XI вв. Литература на реторомансном языке появляется только с XVI в. Самостоятельность реторомансного языка была признана 20 февраля 1938 г. в результате голосования швейцарского народа, после многих десятилетий филологических и политических дискуссий (К. Сальвиони, К. Баттисти, Я. Юд, В. фон Вартбург, К. Мерло, Г. Рольфс и др.).

II глава посвящена особенностям звукового строя энгадинской речи по сравнению с сельвской. Система гласных фонем реторомансного литературного языка ко-

личественно ближе к французской, чем к итальянской (соответственно 20 гласных, 16 и 7), а в качественном отношении занимает промежуточную позицию (например, отсутствует назализация и имеется большое количество дифтонгов, как в итальянском, существует противопоставление по долготе и краткости, как во французском). В системе согласных наличествуют звуки, которых нет во французском и итальянском (например, среднеязычный щелевой [ç] и др.).

Главы III—XIV посвящены морфологическим особенностям ретороманского языка (в основном сельвского варианта). Атрибуция рода существительных значительно отличается и от французского, и от итальянского. В ретороманском, замечает М. А. Бородина, нет различия между атрибуцией рода в письменном и в устном языке. Множественное число образуется чаще всего прибавлением *-s* к единственному числу, но этот *-s* произносится: *di* «день», *dis* «дни», *femna* «женщина», *femnas* «женщины». Существительные, оканчивающиеся на *-s*, флективно не меняются (*nas* «нос»). Некоторые существительные имеют третью форму числа — собирательную (*pêr — pérs — péra* «груша»), а отдельные существительные не имеют формы множественного числа, а только собирательную (*il glatsch* «лед», *ils glatscha* «льды»). Следует отметить, что и в итальянском языке есть небольшая группа существительных мужского рода, имеющая две формы множественного числа, из которых одна имеет собирательное значение.

Качественные прилагательные в большинстве случаев препозитивны (*in bien bab* «хороший отец»), относительные — постпозитивны (*la scola cantunala* «кантональная школа»). Абсолютная форма суперлатива с окончанием *-ischem, -issima* возможна, как и в итальянском (*quista glisch ais clerischma* «этот свет очень яркий»). Несколько прилагательных образуют степени сравнения аналитически и супплетивно (*bien — pli bien, meglier — il pli bien, il meglier*). Своеобразной чертой ретороманского, подчеркивает автор, является передача посредством существительного, выражающего отвлеченное качество и употребленного без предлога, очень высокой степени качества (*in buontad vin* «отличное вино», дословно «доброта-вино»).

Из особенностей количественных числительных привлекает внимание неизменяемость названий единиц при присоединении их к названиям десятков, сотен, тысяч, изменение в роде числительного «два» (*duos, duas* в сельвском варианте) в отличие от итальянского и французского языков. Числительное «сто» (*tschien, tschient*) не имеет множественного числа (*duatschien, duatschient* соответственно в сельвском и в энгадинском), как и в итальянском языке, в отличие от французского. Не имеет множественного числа и 1000 (*melli* в сельвском, *milli* в энгадинском, например, *dieschmelli* и *deschmilli*).

В ретороманском и в итальянском языках, а также в отдельных диалектах французского языка бытуют двойные формы местоимения 2-го лица (*tü dormas-t, dormas-t tü, te finira ti, i finire te*).

В индикативе в ретороманском языке, как и во французском и в итальянском языках, восемь времен. Однако ретороманская система времен имеет иной состав и формообразование. Так, в сельвском варианте нет простого прошедшего и соответственно сложного предпрошедшего, отличен по форме плюсквамперфект. В сельвском варианте оба будущих времени образуются аналитически, а в энгадинском будущее I образуется синтетически. В сюбжонктиве в сельвском, как и во французском и в итальянском языках, шесть временных форм (настоящее, три прошедших и два будущих), а в энгадинском — четыре времени (настоящее и три прошедших).

Система наречий, предлогов и союзов ретороманского языка содержит известное количество соответствий с итальянским языком и с французским. В одних случаях речь идет о заимствованиях, в других — о типологически сходном развитии.

Система междометий ретороманского языка мало отличается от системы других романских языков, но в ее материальном составе содержится много заимствованных иноязычных лексем, наблюдается большая вариативность форм и т. д.

Словообразование исследуется в главе XV. Система аффиксов ретороманского языка восходит к латинской системе. Имеются также заимствованные немецкие аффиксы (вместе с соответствующими немецкими словами). Семантика некоторых аффиксов иногда несколько отлична от соответствующих аффиксов других романских языков.

Структуре предложения посвящена глава XVI. Рассматриваются основные типы предложения: повествовательные (в утвердительной и отрицательной формах), простые — нераспространенные и распространенные, сложносочиненные, сложноподчиненные с различными придаточными, сложносочиненные с подчинением, периоды, вопросительные, восклицательные и побудительные предложения, обособления членов предложения, личные, неопределенно-личные и безличные предложения. Сопоставляются параллельные тексты — комедия Мольера «Скупой» в подлиннике и в переводе на ретороманский и итальянский. К примеру, в отличие от ретороманского, во французском и в итальянском в вопросе, выраженном сложноподчиненным предложением с придаточным определительным, используются инверсия и отрицательные конструкции.

К специфическим чертам ретороманского

синтаксиса относятся: сильная тенденция к бессоюзности при сложном подчинении; ограниченное употребление безличных предложений; отсутствие презентативов; использование индикатива вместо сослагательного наклонения в придаточных предложениях после глаголов, выражающих радость, опасение и другие эмоции и др. Основные особенности синтаксического строя ретороманского языка по сравнению с французским и итальянским языками, суммирует автор, состоят в том, что он обнаруживает ряд более архаичных черт, в силу которых ретороманский располагает большей свободой в расстановке членов предложения, большими выразительными возможностями. Главы о словообразовании и структуре предложения написаны совместно с А. А. Смольевским.

В «Заключении» подчеркивается самостоятельность ретороманского языка, выполняющего все функции национального языка (язык художественной литературы, периодических изданий, школы, науки, администрации и др.).

Автор монографии отличает «варианты национальных языков» от «вариантов литературных языков» — региональных литературных языков. Национальные варианты более нормированы, что отражается на их структурных особенностях.

Не менее сложно и соотношение «регионального литературного варианта» и «диалекта», которые связаны между собой исторически и взаимообусловлены синхронно.

По сравнению с другими романскими литературными языками ретороманский обладает большей вариативностью, пишет автор. Из шести вариантов национального языка самыми устойчивыми являются верхнеэнгадинский, наиболее старый литературный язык, и сурсельвийский, самый распространенный по количеству населения, на нем говорящего. Их различия обусловлены адстратными и субстратными явлениями, отсутствием единого политического и культурно-экономического центра.

В энгадинском имеются гласные *ü*, *ö* (*güstar* «выравнивать», *gröss* «главная часть»), отсутствующие в сельвском; сочетание *s-ch* также характеризует энгадинский. В гласных энгадинского варианта последовательнее проходит дифференциация по открытости и закрытости, по долготе и краткости.

В сельвском варианте исчезло простое прошедшее индикатива, имеющееся в энгадинском; значительно большее употребление имеет вспомогательный глагол *vegnir* «становиться»; в сельвском чаще, чем в энгадинском, употребляются постпозитивные безударные местоимения; в сельвском варианте более распространены сложные предлоги, наречия и аффиксальные конструкции и др.

На территории Романии, устанавливает М. А. Бородина, нигде нет столь близкой связи между литературным языком и диалектами, как это наблюдается в ретороманском языке Граубюндена. Нигде не сохранилась также столь большая диалектная раздробленность: на маленькой территории с населением примерно в 50 тыс. человек дифференцируется более 20 местных говоров, различия между которыми столь значительны, что создалось несколько литературных вариантов. Существование нескольких литературных вариантов ретороманского сблизило литературный язык с диалектами. Связь между двумя основными вариантами осуществляется постепенностью перехода одного варианта в другой (через нижнеэнгадинский, сурмиранский и сутвельсвийский). Две литературные нормы национального языка — явление не единичное в системе языков (известны две нормы норвежского национального языка — лансмол и риксмол, две нормы армянского национального языка — восточная и западная, две нормы осетинского языка — иронская и дигорская и др.).

Региональных вариантов литературного языка, в отличие от национального, может быть несколько, утверждает автор. В ретороманском, как отмечалось выше, таких вариантов пять или шесть. На протяжении развития французского литературного языка существовали региональные литературные языки в Пикардии, Нормандии, Лотарингии и Валлонии.

Переходным явлением между литературным региональным языком и диалектом следует считать «литературный диалект», каковым является монстерский вариант ретороманского языка. Таким образом, предварительная схема развития разных вариантов в языке, по мнению М. А. Бородиной, следующая: диалект — литературный диалект — региональный литературный язык — вариант национального языка — другой национальный язык [1].

Ретороманский литературный язык, столь детально исследованный М. А. Бородиной, нарушает представление об ограниченной способности языков к заимствованию. Многое зависит, очевидно, не столько от структуры языков, сколько от тех условий, в которых оказываются два языка разноязычных структур, в данном случае романской и германской. Одно государство, единая экономика, политика, культура, тесный многовековой контакт ретороманских говоров с германскими привели к своеобразному

[1] В дискуссии по этой проблеме на X Международном конгрессе лингвистов приняли участие М. Караджиу-Марионяну, М. Илиеску и П. Ивич. См.: «Actes du X-e Congrès international des linguistes», II, Bucarest, 1970, стр. 63—65.

явлению в интерференции языков — к «инстрату».

Для контактирования фонетики, морфологии и синтаксиса, пишет М. А. Бородина, существенно не то, является ли язык, из которого заимствуется, языком родственной или неродственной структуры, а в какой мере два языка повседневно сосуществуют в быту, в школьном обучении, как государственные языки. При этих условиях основной язык может заимствовать из инстратного языка иноязычной структуры самые неожиданные элементы, о которых в теории заимствований обычно говорится, что они не подлежат или почти не подлежат проникновению. Такой тесный контакт имеет место в «языковых островах», например, швейцарских французов в Шабо [2], итальянцев в Керчи [3], молдаван в Украинской ССР, в РСФСР, в Абхазии, в Казахстане и в Киргизии [4].

Длительный (более чем тысячелетний) тесный контакт романских и германских элементов привел к тому, что в ретороманском языке образовались германизмы в произношении (*sp* /*šp*/, *st*/*št*/), в графике (*ü*, *sch*/*š*/) и даже в морфологии (исчезновение простого прошедшего времени в сельвском варианте, образование будущих времен индикатива и сюбжонктива в том же варианте ретороманского, аффиксальные конструкции, система наречий, предлогов и союзов) (см. стр. 75, 77, 112—113, 120, 166). Заимствование структурных особенностей смежных диалектов немецкого языка, заключает автор, возможно при условии, что либо заполняется слабое место в системе, либо имеются сходные явления — аллофоны или алломорфы. При «инстратном» контактировании (длительном и тесном) двух языков увеличивается и количество лексических заимствований, степень их распространения и усвоения. Слова, заимствованные из немецкого языка, образуют словообразовательные ряды по романской модели.

Рецензируемое исследование М. А. Бородиной вносит существенную поправку в генеалогическую классификацию романских языков, согласно которой вся территория Романии делится обычно на западную и на восточную по признаку сохранения конечного *-s* на западе и его отсутствия на востоке и по озвончению интервокальных *p*, *t*, *k* только на западе. По этой классификации ретороманский относится обычно к западной группе романских языков.

Система личных местоимений ретороманского языка тяготеет к востоку. Как и в восточнороманских языках, в личном местоимении 3-го лица мужского рода множественного числа сохраняется латинская форма *ille* в виде *ei*, в сурсельвском — в виде *i*, в сутсельвском и в сурмиранском — в форме *igl*. В литературном ретороманском возможны *ei* и *els*, а в молдавском и румынском соответственно только *ей* — *ei*. В данном случае ретороманский занимает промежуточную позицию между восточной и западной Романией.

По распределению ударных и безударных форм личных местоимений в 1 и во 2-м лице множественного числа ретороманский язык тяготеет к восточнороманским. Ср. в молдавском и в румынском *ноуэ* — *noiă*, *воуэ* — *voiă* — ударные формы, *не* — *ne*, *ни* — *ni*, *вэ* — *vă*, *ви* — *vi* — безударные формы.

Некоторые формы безударных объектных местоимений стоят в ретороманском и в восточнороманских языках только в проклизе (ср. дательные *ымь* — *îmi*, *ыць* — *îți*, *ый* — *îi*), другие же формы могут быть и в проклизе, и в энклизе (ср. безударные винительные *мэ* — *mă*, *не* — *ne*, *те* — *te*, *ыл* — *îl* и др.).

По признаку конечного *-s*, по которому ретороманский классифицируется как западный, он не всегда тяготеет к западнороманским языкам. В сельвском варианте в причастиях прошедшего времени, употребленных предикативно, мужской род множественного числа оканчивается на *-i*. В Энгадине и во Фриуле также на *-i* оканчиваются многие существительные множественного числа. В сельвском в глаголах в 1-м лице множественного числа также отсутствует конечное *-s*.

Ретороманский сближается с восточнороманскими языками и отсутствием протетического гласного (*scriver* — *skrévi* и *скрие* — *scrie*, но франц. *écrire*, исп. *escribir*, порт. *escrever* и т. д.), а также аналитическим образованием будущих времен, наличием особого типа имен ambigens (в единственном числе — мужского рода, во множественном числе — женского рода) и др.

Таким образом, становится очевидным недопустимость классификации языков или деления диалектов (говоров) по одному лишь признаку. Например, попытки разграничения диалектов румынского

---

[2] M. A. Borodina, Le parler de Chabag, RLR, 107—108, 1963.

[3] А. А. Касаткин, М. П. Акимова, Материалы о южноитальянских говорах в Крыму (диалект Бишелье), «Труды Архива АН СССР», 21, М.—Л., 1965, стр. 145—153.

[4] Р. Удлер, Унеле тоталурь але експедицией диалектоложиче ын Цинутул Приморией ши режиуня Омск дин РСФСР, РСС Киргизэ ши РСС Казахэ, «Лимба ши литература молдовеняскэ», 1964, 1, стр. 66—68; Р. Я. Удлер, Консерватизм и эволюция островных говоров молдавских поселений Украины и Кавказа (По материалам Молдавского лингвистического атласа), «Проблемы диахронии в изучении романских языков», Минск, 1967, стр. 165—167.

языка по территориальным вариантам аффрикаты *ǯ* или аффрикаты *č* привели к разным результатам [5].

В конце книги для того, чтобы дать представление о «живой ткани» исследуемого языка, приведены образцы ретороманских текстов, а также песни с нотным приложением, расшифрованные с пластинок доц. Ленинградской консерватории Н. П. Корыхаловой.

Книга снабжена предметным и именным указателями.

Для иллюстрации положений, изложенных в тексте, в рецензируемой монографии приведены карты, составленные по К. Пульту, по М. Гришу, по «Лингвистическому и этнографическому атласу Италии и Швейцарии» Я. Юда и К. Яберга, по А. Видмеру и др., а также многочисленные таблицы.

Несколько замечаний. Утверждение о том, что различные написания в рамках одного и того же варианта иногда бывают связаны с разным вероисповеданием, вызывает недоумение. Так, в сурсельвском различаются написания, принятые у католиков и у реформатов (стр. 27). Отличия, обусловленные вероисповеданием, пишет автор, имеются и в системе местоимений литературного сельвского варианта (стр. 61). Очевидно, речь идет о заимствовании отдельных форм из соседнего диалекта или литературного варианта.

Один из сложных разделов в работе — это фонетическая и фонологическая характеристика набранных сельвского и энгадинского вариантов. Хотелось бы более развернутой характеристики среднеязычного взрывного /ḫ/, а также фонемы /h/. Не дается характеристика сочетаемости графем, и, в частности, не установлены особенности инлаута, ауслаута и инлаута (стр. 31, 40, 41, 64).

Следовало бы более подробно остановиться на теории стратов (инстрат — адстрат, субстрат — суперстрат) применительно к исследуемому ретороманскому материалу (стр. 171—174).

«*Современный литературный ретороманский язык Швейцарии*» М. А. Бородиной является, несомненно, одним из лучших трудов по ретороманскому языку. Специалисты по романскому и общему языкознанию, ознакомившись с трактовкой автором проблем вариантности литературного языка, соотношения литературного языка и диалектов, заимствования из родственных и неродственных языков, формирования единой литературной нормы с учетом данных лингвистической географии и диалектологии (территориальной и социальной), классификации языков и диалектов и др., приблизятся к разрешению аналогичных задач относительно других языковых единиц.

Р. Я. Удлер

[5] См.: I. Ghetie, Cu privire la repartiția graiurilor dacoromâne. Criterii de stabilire a structurii dialectale a unei limbi, «Studii și cercetări lingvistice», 1964, 3, стр. 323, 332.

У. С. Зекох. Система склонения в адыгейском языке.— Майкоп, Адыгейск. отд. Краснодарск. кн. изд-ва, 1969, 224 стр.

Система склонения в адыгейском языке впервые подвергается обстоятельному и всестороннему исследованию в рецензируемой монографии.

Цель своей работы У. С. Зекох видит в том, чтобы «охарактеризовать состояние адыгейского склонения в синхронном и диахронном планах» (стр. 3). Немало внимания в книге уделяется анализу фактов живой разговорной речи, поэтому к монографии приложены образцы текстов, записанных на основных диалектах адыгейского языка с комментариями и подстрочными переводами (стр. 160—224) [1].

В первой главе «История разработки вопроса об адыгейских падежах» (стр. 5—55) дается обзор и критический анализ литературы вопроса (в частности, трудов Л. Люлье, У. Берсея, Р. Эркерта, А. Дирра, Н. Яковлева, Д. Ашхамафа, Г. Рогава). Отмечая достижения и недостатки лингвистических наблюдений в изучаемой области, автор показывает на конкретном материале несовместимость использовавшихся иноязычных схем склонения с фактами адыгейского языка. Из-за недостатков применявшейся в прошлом методики исследования, адыгейское склонение зачастую рассматривалось сквозь призму европейской деклинационной системы. Ныне существующие традиционные концепции относительно синтаксиса адыгейских падежей, по мнению У. С. Зекоха, несут на себе следы влияния теорий, построенных применительно к иносистемным языкам.

Во второй главе «Семантико-морфологическая характеристика системы склонения» (стр. 56—94) падеж рассматривается как морфологическая единица, определяемая единством двух планов — плана

[1] В целях максимально точной передачи на русском языке структурных особенностей адыгейских слов автор часто выходит за рамки требований дословного перевода и калькирует грамматический состав этих слов; по этой причине остались в проигрыше смысл и синтаксис перевода отдельных адыгейских фраз.

ыражения и плана содержания. Глава предварена критическими замечаниями о терминологии адыгейского склонения и обоснованием необходимости предлагаемых новых терминов.

Основная часть главы содержит описание следующих падежей: патетивный, эргативный, относительный, творительный и адессивный. В системе личных местоимений выявляется также сравнительный падеж. Тем самым У. С. Зекох внес поправку в ранее высказанное им положение о четырехчленности именного склонения и пятичленности системы склонения личных местоимений [2], корректируя тем самым распространенное мнение о бедности адыгейских имен и местоимений формами склонения.

Сравнительный и адессивный падежи в адыгейском языке впервые выделены автором, который языковыми фактами доказывает реальность их существования.

Говоря о различных моделях склонения адыгейских имен, автор отмечает, что *слова этой части речи изменяются ныне по* двум типам склонения, тогда как на более ранних этапах развития адыгейского языка они склонялись по одной модели. Однотипное склонение было присуще адыгейскому языку, когда имена изменялись в нем по падежной парадигме с так называемой «осевой структурой».

Подробное описание падежного склонения адыгейских имен позволяет сделать вывод, что «адыгейское склонение... аглютинативно по своей природе, но ему присущи и некоторые флективные свойства» (стр. 78).

Индивидуальность адыгейского языка У. С. Зекох видит и в принципах образования некоторых адыгейских падежей по моделям вроде «эргатив плюс падежный аффикс», «сравнительный падеж плюс падежный суффикс» и т. д. (стр. 81-82). К своеобразным чертам адыгейского склонения следует отнести также впервые отмеченное в монографии употребление в бжедугском диалекте усеченного творительного падежа для выражения предиката — «творительный предикативный» (стр. 85—86).

Образование патетивного, эргативного и относительного падежей (в их определенной форме) сопровождается появлением гласного элемента *ы/э* между согласным исходом основы имени и согласным окончанием. Этот гласный элемент до сих пор считался этимологически объяснимым. Однако автор полагает иначе: «Для облегчения произношения смежных согласного исхода основы и согласного окончания, артикуляционного перехода от первого к последнему появляется между ними гласный элемент, который не входит ни в состав основы, ни в состав окончания. Его невозможно объяснить этимологически» (стр. 88). Этот гласный звук обозначается термином «вокалическая вставка». Он появляется как в собственно адыгейских словах, так и в недавних заимствованиях. Примеры: *лъэпкъ-ы-р* «племя», *пэпэт-ы-р* «утка», *коммунизм-э-р* «коммунизм», *космонавт-ы-р* «космонавт» и др.

К числу наиболее неразработанных в адыгейском языкознании относится синтаксис падежей. В третьей главе «Некоторые вопросы синтаксиса адыгейских падежей» рассматриваются следующие вопросы: а) существует ли грамматическое подлежащее в адыгейском языке?, б) эргатив в функции обстоятельственного члена предложения, в) относительный падеж в функции обстоятельственного члена предложения, г) относительный падеж в роли приглагольного определения, д) адессивный падеж в роли обстоятельственного члена предложения и е) имеется *ли в адыгейском языке примененное определение?*

Недочеты существующих интерпретаций синтаксических функций адыгейских падежей автор объясняет, прежде всего, несовершенством методики синхронного анализа языка, неправильностью применяемых критериев определения синтаксических функций падежей (resp. членов предложения). В книге убедительно показано, что логико-семантическое истолкование синтаксических эквивалентов адыгейских падежей оказывается недостаточным, точно так же, как разграничение падежей путем постановки к ним смысловых вопросов. У. С. Зекох возражает также против механистического выведения схемы членов адыгейского предложения с опорой на синтаксические модели иносистемных языков. Между тем в русском и адыгейском языках форма имени логического субъекта характеризуется в предложении принципиально различными синтаксическими чертами: в русском — независимое положение в структуре предложения, синтаксическое значение субъекта действия, роль организующего центра предложения и выражение посредством самодовлеющей формы имени — именительным падежом (nominativus); в адыгейском — зависимое положение в структуре предложения, синтаксическое значение объекта действия, роль управляемого элемента предложения и выражение посредством зависимой формы имени. На этом основании автор говорит о своеобразии синтаксического эквивалента логического субъекта в адыгейском предложении, об отсутствии в адыгейском языке подлежащего как синтаксической категории.

Думается, что потребуется специальное исследование семантико-структурных особенностей простого предложения для того, чтобы всесторонне обосновать отсутствие

[2] См. об этом: У. С. З е к о х, О системе склонения в адыгейском языке, «Уч. зап. Адыгейск. НИИЯЛИ», II, 1963.

грамматического подлежащего в адыгейском языке.

Касаясь вопроса о синтаксической функции относительного падежа в приглагольной позиции, автор отмечает атрибутивную природу этой функции. Возражая против интерпретации атрибутивной функции относительного падежа качественных слов в приглагольной позиции как наречной категории, У. С. Зекох полагает, что такое истолкование невозможно уже из-за отсутствия в адыгейском языке так называемых «классических» наречий, по аналогии с которыми словоформы, используемые в приглагольной атрибутивной функции, могли бы застыть в образе морфологически неизменяемых слов.

Таким образом, согласно концепции автора, в состав адыгейского простого предложения входят: главный член (т. е. «выражение логического предиката»), агентивное дополнение, активное дополнение, поясняющее дополнение, приглагольное определение и обстоятельственный член (стр. 109, 139).

В адыгейском языкознании до сих пор остается спорным вопрос о грамматической природе падежных форм качественных слов в присубстантивной позиции. Часто такие формы наделяются самостоятельной атрибутивной функцией, и на этом основании говорят о существовании в адыгейском языке приименного определения, а слова, употребляющиеся в функции этого члена предложения, выделяют в категорию имени прилагательного.

У. С. Зекох полагает, что в адыгейском языке качественное слово в присубстантивной позиции сливается с предметным в одно сложное слово с общим грамматическим оформлением и объединяющим их динамическим ударением. По его мнению, «адыгейские языковые образования типа *джэнэ-фыжьыр* [«белое платье».— *З. Б.*] по своим словообразовательной и словоизменительной моделям обнаруживают известное сходство с русскими сложными словами вроде *первоисточник, первоэлемент* и т. д.» (стр. 137). С этой точки зрения, естественно, невозможно говорить о существовании в адыгейском языке приименного определения как синтаксической категории и имени прилагательного как отдельного грамматического класса слов. По тем же мотивам автор отрицает существование в адыгейском языке и другой группировки слов, которая обычно квалифицируется как имя числительное.

Таким образом, по мнению автора, адыгейские слова предметной, качественной и количественной семантики составляют один лексико-грамматический класс слов, который называется категорией имени. Но здесь, естественно, напрашивается вопрос: в чем же заключается их общность и их различия? Представляется необходимым проанализировать и определить семантические, структурные и грамматические особенности этих группировок слов и тем самым внести ясность в понимание сущности такой объемной и сложной части речи, как «категория имени». К сожалению, этого нет в работе — правда, автор специально такой задачи перед собой в рецензируемой книге не ставил. Хочется надеяться, что У. Зекох посвятит этой важной для адыгейской грамматики теме специальное исследование и покажет, какие общие признаки присущи названным лексико-семантическим группировкам слов на грамматическом уровне адыгейского языка, определит критерии выделения частей речи, предложит их классификацию.

В этой же главе автор останавливается на вопросах выделения границы сложного слова в адыгейском языке, отмечая, что «основными признаками, по которым сложное слово выделяется в адыгейской речи, являются а) общее слагаемым частям композиты грамматическое (морфологическое) оформление и б) объединяющее слагаемые части композиты динамическое ударение» (стр. 139).

В четвертой главе «К генезису и истории адыгейских падежей и падежных суффиксов» (стр. 140—159) разбираются вопросы, одинаково важные и трудные для адыгейского языкознания — прежде всего, из-за отсутствия письменных памятников. Стремясь реконструировать древнее состояние адыгейского склонения, автор собрал и систематизировал ценный фактический языковой материал по истории адыгейского склонения и падежных аффиксов, который будет полезен исследователям адыгских языков.

По мнению У. С. Зекоха, парадигма из трех падежей — общего, относительного и творительного — представляет наиболее древнюю ступень развития адыгейского склонения.

В адыгейском и кабардинском языках имеются патетивный, эргативный, относительный и творительный падежи, тогда как сравнительный и адессивный известны только адыгейскому. На этом основании автор выделяет в формировании адыгейской системы склонения два хронологических наслоения: «а) наслоение периода адыгской языковой общности, когда оформились такие падежи, как патетивный, эргативный, относительный и творительный; б) наслоение периода после дифференциации адыгских языков, когда в адыгейском, в отличие от кабардинского, образовались сравнительный и адессивный падежи» (стр. 143).

В развитии падежей выделяются три этапа: а) семантический (адессив), б) семантико-синтаксический (эргативный, сравнительный, относительный и творительный падежи) и в) синтаксический (патетив) (стр. 144). При этом подразумевается, что семантические отношения

представляют низшую ступень падежной абстракции, семантико-синтаксические — промежуточную, синтаксические — высшую.

Переходя к объяснению генезиса морфологических показателей падежей, автор вполне убедительно этимологизирует суффиксы эргативного, относительного и адессивного падежей. Его объяснение происхождения суффикса пятетивного падежа, по нашему мнению, нуждается в дополнительной аргументации.

Исследователи адыгских языков обычно возводили суффикс творительного падежа *-kIэ* к слову *kIы* «ручка, рукоятка». У. С. Зекох считает, что суффикс этого падежа и союз *«кIи»* имеют общее происхождение. Привлекаемый к анализу материал из адыгских и других родственных им языков подтверждает эту точку зрения.

Рецензируемая монография ценна постановкой и решением важных теоретических проблем адыгейского языкознания, глубиной анализа языковых фактов, умелым привлечением фактов из разносистемных языков. В целом монография представляет собой значительный вклад в адыгейское языкознание; ее с интересом и пользой прочтут все, кто занимается изучением адыгских языков.

З. У. Блягоз

D. St. Worth. **Dictionary of Western Kamchadal.** — Berkeley — Los Angeles, University of California Press, 1958. 320 стр.

Д. С. Уорт уже давно занимается изучением ительменского языка. Помимо серии статей, посвященных отдельным вопросам ительменского языка, им опубликованы тексты, записанные в 1910—1911 гг. русским ученым В. И. Иохельсоном [1]. Рассматриваемый здесь словарь — вторая крупная работа Д. Уорта по ительменскому языку. Констатируя, таким образом, что интерес к ительменскому языку в США *постоянен*, можно надеяться, что научная разработка его будет продолжаться.

Выход в свет словаря Д. Уорта — значительное событие в палеоазиатоведении уже потому, что перед нами — первый словарь ительменского языка. До этого были опубликованы отдельные списки ительменских слов и форм, более или менее обширные, но не претендующие на обработку материала. К тому же и качество записи весьма несовершенно, так как авторы списков не были лингвистами и не знали ительменского языка практически. Из таких списков Д. Уортом были взяты в качестве источников списки С. П. Крашенинникова [2], А. Эрмана [3] и список польского врача Б. Дыбовского, изданный И. Радлинским [4]. В ряду указываемых Д. Уортом источников находится также статья С. Н. Стебницкого «Ительменский язык» [5], которая, вероятно, служила Уорту скорее справочником по *фонетике и морфологии* ительменского языка, поскольку собственно словарного материала в ней очень мало [6]. Главным *источником для словаря* явились записанные В. И. Иохельсоном тексты; они составляют основной корпус материала словаря (около 80%).

Д. Уорт вынужден был ограничить свою задачу составлением словаря западного ительменского «языка», так как только по этому «языку», представляющему группу западных диалектов, имеются записи достаточно обширных текстовых материалов. Из существовавших во времена Крашенинникова трех групп диалектов ительменского языка — западной, восточной и южной — *две последних* полностью утрачены еще в XIX в., и сколько-нибудь представительных материалов по этим группам не имеется. Привлекать же для сопоставления с лексикой западных диалектов те *ничтожные списки* слов восточной и южной групп, которые были оставлены предшественниками, Д. Уорт не счел возможным, и это ограничение,

---

[1] «Kamchadal texts collected by W. Jochelson», by D. S. Worth. 's-Gravenhage. 1961.

[2] С. П. Крашенинников, Описание земли Камчатки, 1-е изд.— СПб., 1755, 4-е изд.— М.— Л., 1949.

[3] A. Erman, Reise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Oceanen in den Jahren 1828, 1829 und 1830, Tl. I, Bd. 3, Berlin, 1848.

[4] «Słowniki narzeczy ludów kamczackich», «Rozprawy Akademii umiejętności». Wydział filologiczny. Serya II, t. I—1891—1892, t. II—1893, t. IV—1894.

[5] Сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.—Л., 1934.

[6] Строго говоря, эти материалы принадлежат не столько С. Н. Стебницкому, сколько В. Г. Богоразу. Как указывает сам С. Н. Стебницкий (указ. соч., стр. 85, прим. 1), его статья «представляет перевод и систематизацию материалов по ительменскому языку, данных для сравнения с луораветланским языком в работе проф. В. Г. Богораза „Chukchee"» («Handbook of American Indian languages», by F. Boas, pt. II, Washington, 1922).

наложенное им на материал словаря, представляется разумным и оправданным.

Имеющийся в распоряжении Д. Уорта материал был подвергнут серьезной лингвистической обработке. Словарь Д. Уорта — это корневой словарь, состоящий из двух частей: ительменско-английского словаря, где приводятся в алфавитном порядке ительменские корни с подробной разработкой каждой словарной статьи, и англо-ительменского списка корней. В словарной статье первой части представлен корень во всех его разночтениях (происходящих от несовершенства записи), примеры форм, из которых он выделен, текстовые иллюстрации на употребление каждой формы, отсылки к другим корням, связанным с данным корнем этимологическими и семантическими узами. Эти ряды корней во второй части сополагаются рядом с соответствующими английскими словами.

Разумеется, этот принцип составления словарной статьи невозможно было провести до конца последовательно. Д. Уорт связан имеющимся материалом, расширить который за счет полевых изысканий у него не было возможности. Поэтому наряду с корнями Д. Уорт вынужден приводить и просто нерасчлененные формы, которые встречаются в его материале всего один раз (чаще всего это формы из списка Дыбовского — Радлинского, не зафиксированные в текстах Иохельсона). Д. Уорт не рискует членить такие формы, что отнюдь не следует ставить ему в упрек. Необходимо еще раз подчеркнуть, что достоверность имеющихся в распоряжении Д. Уорта источников неравноценна, и то, что он не пытается «исправлять» Дыбовского, Иохельсона и других, вполне понятно и оправданно. Серьезный ученый вряд ли возьмет на себя смелость утверждать, как, по его мнению, должны были быть «правильно» записаны формы языка, существовавшего сто — двести лет назад, особенно если речь идет о малоизученном языке. Поэтому записи предшественников без искажений воспроизводятся в словаре Д. Уорта, и если в этих записях имеются ошибки, то Д. Уорт во всяком случае не несет за них ответственности.

Однако при выделении корней из ительменских форм Д. Уорту не всегда удавалось избежать ошибок. Чаще всего они были действительно неизбежны из-за ограниченности материала по данной форме, но имеются случаи, когда Д. Уорт мог бы их избежать. Фонетические и морфологические сведения об ительменском языке у С. Н. Стебницкого не слишком подробны, но все же вполне достаточны: приводятся почти все необходимые парадигмы и аффиксы.

Разбирать все недочеты и неточности словаря здесь нет нужды, поэтому ограничимся несколькими примерами; при этом будем касаться только тех случаев, когда Д. Уорт мог получить правильные результаты.

Корни глаголов, имеющиеся в словаре, почти всегда выделяются Д. Уортом из нефинитных форм с циркумфиксами *k-...-knen* ~ *knan* (непереходный глагол) и *k-...-ʔin* ~ *ʔan* (переходный глагол). Эти формы — самые частотные глагольные формы в текстах. С. Н. Стебницкий о них специально не упоминает, хотя в приложенном к статье коротком тексте таких форм множество [7]. Тем не менее, Д. Уорту ясен формальный характер начального *k*, и при выделении корней он его отбрасывает. Но почему-то это происходит не всегда, например: *kniŋ* «грузить» (стр. 123) (правильно *niŋ*), *kti* «вносить» (стр. 129) (правильно *ti*). У корня «закрывать, накрывать» (*k*)*eip* (стр. 109) начальный *k* осторожно взят Д. Уортом в скобки; между тем приведенные тут же примеры позволяют заключить, что начальный *k* не относится к корню (правильно *eip*). С другой стороны, иногда начальный *k* усекается Д. Уортом неправомерно, например *ɭa* «тонуть» (стр. 134) (правильно *kɭa*).

Самая досадная неудача постигла Д. Уорта при выделении корня «ходить» (у Уорта *al* — стр. 9). На этот корень, как свидетельствует и сам словарь, у Д. Уорта имелось множество примеров. Из этих примеров не трудно было бы выделить подлинный корень *ɭale* — тем более, что в распоряжении Д. Уорта имелись этимологически связанная с этим корнем форма *ɭalaŋ* «пешком» (стр. 137) и (правильно выделенный!) корень *ɭalxte* «ползать» (стр. 137), которые должны были бы привлечь его внимание.

Иногда путаница в словаре происходит из-за недостаточно точных представлений о морфофонемике ительменского глагола. Один характерный пример. «Корни» *qocx*, *qosc*, *qozin*, по Уорту, имеют значение «приходить» (стр. 218). На деле, однако, ни одна из этих форм корнем не является: все три — финитные формы двух разных глаголов: *qocx* < *oc* «звать» (кстати, этот корень выделен правильно на стр. 185, и среди примеров имеется та же форма *qocx* «позови его!»); *qosc* и *qozin* < *k' oɭ* «приходить» [8] (этот корень выделен тоже в общем правильно, стр. 124—125). *qosc* и *qozin* — формы настоящего времени, 2 и 3-го лица ед. числа соответственно. В ительменском глаголе конечные *l* ~ *ɭ* корня регулярно выпадают перед *s* ~ *z* (показатель настоящего времени), почему

---

[7] См.: С. Н. Стебницкий, указ. соч., стр. 104.

[8] В этом корне представлен *k* глоттализованный (*k'*). В. И. Иохельсон различал только *k* и *q*, тогда как существуют еще *k'* и *q'* (см.: С. Н. Стебницкий, указ. соч., стр. 87).

и корневой элемент выступает здесь в форме *qo* (вернее, *k'o*). Отпадение *t* ~ *l* перед *s* ~ *z* С. Н. Стебницким не отмечено, и, естественно, Д. Уорту было трудно заметить его на ограниченном материале.

Что касается именных корней, то при их выделении иногда не отделяются падежные показатели. Например: *senk*, *sink* (стр. 229) значит не «лес», а «в лесу» — форма локатива, что и подтверждается примером, приводимым тут же; не отделяется показатель творительного падежа *ļ* в *kļxiknenļ* (стр. 121) и *kilexezuļ* (стр. 114). Встречаются в словаре и просто небрежности. Типичный пример: *tkapez* «запор» («bolt») (стр. 257) — в камчатском говоре русского языка слово «запор» значит не столько «замок», сколько «рыбья ловушка», и Д. Уорт об этом знает, так как, во-первых, в этом последнем значении слово *tqapas* (или *tkapez* — путаница происходит от несовершенства записи) имеется у В. И. Иохельсона [9], во-вторых, оно зафиксировано в самом словаре со значением «рыбья ловушка» на стр. 110, под корнем *(k)eip* (сопоставление *eip* и *tqapas*, на наш взгляд, сомнительно).

Досадно, что в словаре представлены не все слова из списков Крашенинникова, Дыбовского — Радлинского и Эрмана. Вообще список источников Д. Уорта, достаточно полный, мог бы быть расширен. Вряд ли можно упрекать Д. Уорта за то, что он не учел современных записей ительменских слов, сделанных в Советском Союзе, так как они частью не опубликованы, а частью труднодоступны [10]. Имеются, однако, более старые источники, содержащие значительные записи ительменских слов. Таков незаслуженно преданный забвению словарь Палласа [11], в котором имеется до 200 ительменских слов, а также книга В. Н. Тюшова «По западному берегу Камчатки» [12]. В этой книге целая глава (гл. IX «Заметки о камчадальском языке») посвящена словарным записям автора, сделанным в разные годы на западном побережье Камчатки; записи сопровождаются интересными фонетическими и грамматическими наблюдениями. Было бы полезно учесть эти источники при последующих возможных переизданиях словаря.

Тем не менее для специалистов по ительменскому языку словарь Д. Уорта представляет безусловный интерес. Не говоря уже о том, что в словаре обобщены и систематизированы материалы, отчасти труднодоступные, а отчасти и вовсе не известные ранее (имеются в виду неопубликованные полевые материалы В. И. Иохельсона, которые — правда, в незначительном объеме — представлены в словаре); морфологический и этимологический анализ этих материалов имеет большую ценность сам по себе. В словаре имеется немало тонких и остроумных этимологических сопоставлений; например, корень *tx* (стр. 263) в слове *atxatx* «свет» Д. Уорт связывает с тем же корнем в глаголе *intxaz* «зажигать». Разумеется, следует пользоваться словарем с осторожностью, но это диктуется скорее качеством материала, которым пользовался Д. Уорт, нежели качеством анализа этого материала.

Своими работами Д. Уорт внес заметный вклад в палеоазиатоведение. В заключение хотелось бы выразить пожелание, чтобы в дальнейшем контакт американских и советских лингвистов, изучающих палеоазиатские языки (в частности, ительменский), стал более тесным: такое сотрудничество, несомненно, будет плодотворным.

А. П. Володин

---

[9] «Kamchadal texts...», стр. 86, 87.

[10] См., например: Т. А. Молл, Очерк фонетики и морфологии седанкинского диалекта ительменского языка, «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 167, 1960; А. П. Володин, Глагол в ительменском языке. Автореф. канд. диссерт., Л., 1966. Очерк А. П. Володина и А. Н. Жуковой «Ительменский язык» («Языки народов СССР», V, Л., 1968) вышел в свет почти одновременно со словарем Д. Уорта и потому, разумеется, не мог быть им учтен.

[11] «Linguarum totius orbis vocabularia comparativa», I—II, Petropoli, 1786 [1787], 1789.

[12] «Зап. ИРГО по общей географии», XXXVII, 2, СПб., 1906.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 17 по 23 августа 1970 г. в г. Таллине проходил III Международный конгресс финно-угроведов[1]. Работу по подготовке и проведению конгресса возглавил Всесоюзный оргкомитет, в состав которого вошли ученые и общественные деятели Москвы, Ленинграда, Эстонской ССР, Карельской, Марийской, Мордовской, Коми и Удмуртской АССР; его председателем является академик АН ЭстССР П. А. Аристэ, ответственным секретарем — директор Института языка и литературы АН ЭстССР Э. Я. Сыгель. К открытию конгресса, помимо программы, были изданы два тома тезисов секционных докладов и сообщений, полные тексты пленарных докладов; финно-угроведческие центры Москвы, Эстонии, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Коми и Марийской АССР подготовили брошюры о развитии финно-угроведения в этих центрах. На конгрессе была организована выставка научной литературы по финно-угроведению, изданной за истекшее пятилетие (1965—1970). Всего на выставке экспонировано 855 публикаций, полученных от 18 научных учреждений и вузов из восьми республик Советского Союза (346 наименований) и из восьми зарубежных стран, прежде всего из Финляндии (169) и Венгрии (135). Самым обширным на выставке был раздел литературы по языкознанию — 324 издания, по фольклору — 104, литературоведению — 104, этнографии — 83, археологии и антропологии — 39 и т. д. Уже по этим цифрам можно судить об интенсивности исследований в различных отраслях мирового финно-угроведения.

В работе Конгресса приняли участие 505 человек из 16 стран, в том числе 295 зарубежных ученых. Официальными рабочими языками Конгресса были немецкий, русский, английский, французский. Ряд докладов был прочитан на финском, эстонском и венгерском языках.

Кроме пленарных заседаний, на Конгрессе работали 14 секций: общего финно-угорского языкознания, прибалтийско-финских языков, саамского языка, волжских языков, пермских языков, угорских языков, самодийских языков, литературы, фольклора, археологии, антропологии, этнографии, верований и обрядов, народной музыки. Всего на Конгрессе был прочитан 271 доклад, из них зарубежными учеными — 136.

III Конгресс был самым представительным из состоявшихся ранее не только по количеству докладов, но и по широте охвата научных дисциплин. В области языкознания впервые были охвачены все группы финно-угорских языков: в самостоятельные секции выделены волжские, пермские языки и саамский язык. Если на двух предыдущих конгрессах абсолютно преобладало языкознание, то на конгрессе в Таллине значительно возросла роль нелингвистических дисциплин, увеличилась количественная и качественная весомость докладов по этнографии, археологии, антропологии, а литературоведение впервые заняло надлежащее место (на конгрессе в Хельсинки оно входило в программу лишь формально). На конгрессе по-прежнему преобладало сравнительно-историческое направление и ориентация на усиление комплексной разработки проблем.

На пленарных заседаниях конгресса было прослушано шесть докладов[2], из них четыре языковедческих. Академик Э. Итконен (Финляндия) выступил с подробным анализом состояния современных исследований в области фонетики и морфологии финно-угорских языков. Академик Д. Лако (Венгрия) посвятил свой доклад Яношу Шайновичу — венгерскому основоположнику сравнительного изучения финно-угорских языков. Проф. Б. Викман (Швеция) информировал конгресс о состоянии исследования саамского языка в Швеции. Проф.

[1] Первый Международный конгресс финно-угроведов состоялся в 1960 г. в Будапеште, второй — в 1965 г. в Хельсинки.

[2] Полные тексты пленарных докладов опубликованы в журнале «Советское финно-угроведение», 1970, 3.

В. И. Лыткин (СССР) прочитал доклад «О вокализме непервого слога финно-угорских языков». С докладом по фольклористике выступил академик Д. Ортутай (Венгрия). Проблемы этногенеза финно-угорских народов по данным антропологии освещались в докладе К. Марк (Таллин).

Из всех финно-угроведческих дисциплин, представленных на конгрессе, языкознание занимало ведущее положение — более половины всех докладов и сообщений (150) было посвящено языковедческой тематике. В семи лингвистических секциях, наряду со сравнительно-историческим направлением, широко были представлены и синхронические исследования, фонологические, типологические, лингво-географические и ареально-лингвистические разработки. В результате складывается уточненная картина о финно-угорском (шире — уральском) языке-основе, о его диалектном членении, о ранней истории финно-угорских языков и их контактах с другими языками.

В секции общего финно-угорского языкознания рассматривался широкий круг наиболее общих вопросов как в историческом, так и синхроническом планах. В докладах освещались вопросы сравнительной фонетики (Л. Грузов, СССР; А. Рона-Таш, Венгрия), исторической фонологии (Р. Аустерлитц, США; Т.-Р. Вийтсо, СССР) финно-угорских языков, исторической морфологии (К. Е. Майтинская, СССР; К. Редеи, М. Кёвеши Андраши, Венгрия), уральских языков, проблемы финно-угорского корнеслова (Г. Ганшов, ФРГ) и диалектного членения финно-угорского (уральского) праязыка (Я. Гуя, Венгрия). Отдельные вопросы сравнительной грамматики современных финно-угорских языков получили освещение в докладах и сообщениях М. Корхонена (Финляндия), Й. Эрдёди, С. Кароли (Венгрия), М. П. Чхаидзе (СССР) и др. В докладе И. Батори (ФРГ) рассматривалась возможность создания трансформационной грамматики для финно-угорских языков с применением вычислительной техники.

Другая группа докладов была посвящена проблемам ареальной лингвистики (П. Хайду, Венгрия), исторических связей финно-угорских языков с языками других групп (А. М. Рот, Ф. И. Гордеев, СССР; Н. Минисси, Италия) и вопросам проницаемости языков в условиях билингвизма (И. С. Галкина, СССР).

Самой насыщенной была программа работы в секции прибалтийско-финских языков. Всего на заседаниях секции было прочитано 50 докладов и сообщений, и в отдельные дни их количество достигало 12—13. Программа секции была весьма разнообразной и охватывала все основные разделы прибалтийско-финского языкознания.

Большой интерес вызвал у участников конгресса доклад П. Аристэ, акцентировавший внимание на важности исследования взаимных контактов прибалтийско-финских языков для понимания их истории.

Вопросам сравнительной морфологии прибалтийско-финских языков были посвящены доклады Л. Пости, А. Турунена, Х. Лескинена (Финляндия), П. Альвре (СССР).

Отдельные вопросы фонетики и фонологии освещали в своих докладах А. Лаанест, М. Леппик, М. Хинт (СССР), П. Саукконен, С. Суховнен (Финляндия), Р. Хаммарберг (США). Экспериментально-фонетические исследования были представлены докладами К. Вийка (Финляндия), И. Лехисте (США), Г. Лийва (СССР).

Ряд докладов был посвящен топонимии: структура топонимов в Карелии и Ингерманландии (В. Нисспля, Финляндия), топонимия как источник истории заселения местностей и миграции населения (В. Палль, СССР), фонетические явления в субстратной топонимии русского Севера (А. К. Матвеев, СССР), проблема финно-угорского субстрата в литовской топонимии (А. Ванагас, СССР).

Значительное место в работе секции заняли вопросы диалектологии прибалтийско-финских языков, в частности, доклады и сообщения по южно-эстонским диалектам (С. Ниголь, Х. Кэзи, СССР), диалектам северной Финляндии (А. Рясянен, Финляндия) и карельским диалектам (Т. Итконен, Финляндия; П. Пальмеос, А. Баранцев, СССР). Известный финский диалектолог П. Виртаранта предложил уточненную классификацию карельских диалектов. Вопросы методики редактирования большого 6-томного карельского словаря изложила Х. Виртаранта (Финляндия). Вопросам машинной обработки синтаксического материала финских диалектов посвятил свой доклад О. Икола (Финляндия).

С информацией о состоянии исследований водского языка в Эстонской ССР выступила Э. Адлер (СССР); литовскому языку были посвящены доклады Э. Вяярн, М. Рудзите и Т. Карма (СССР).

С достаточной полнотой в программе работы секции были представлены и исследования литературных языков с давней письменной традицией — финского и эстонского.

Доклад о принципах совершенствования эстонского литературного языка представил известный обновитель языка Й. Аавик (Швеция). Типологической характеристике эстонского языка посвятил свой доклад

В. Скаличка (Чехословакия). Эстонские лингвисты выступили с докладами по различным вопросам грамматики (А. Кась к, Х. Неэтар, А. Валмет, Х. Рятсеп, Э. Усуспыльд, Э. Рийкоя, А. Универе), лексикологии (Х. Ыйм), фразеологии (Ф. Вакк), вопросам составления толковых и терминологических словарей эстонского языка (Э. Райет, Р. Кулльи Х. Саари).

Исследования в области финского литературного языка были представлены докладами, касавшимися анализа письменных памятников (М.-Э. Шмейдлер, *ФРГ*), *принципиальных вопросов омонимии* (А. Пентилля, Финляндия), различных вопросов грамматики финского языка (З. Дубровина, СССР; Л. Карттунен, США).

Секция угорских языков по количеству докладов и сообщений (более 30) была одной из самых крупных лингвистических секций. В соответствии с генеалогической классификацией угорских языков доклады в секции разделялись тематически на две группы: по венгерскому языку и по обско-угорским (хантыйскому и мансийскому) языкам.

Большинство докладов касалось венгерского языка, истории его развития и современного состояния. Доклад И. Сатмари (Венгрия) был посвящен вопросам языковой нормы XVI—XVII вв., о развитии частей речи в венгерском докладывал Й. Келемен (Венгрия), истории системы основ слова касался доклад А. Нири (Венгрия), причины и время становления звуковых корреляций выяснялись в докладе Ф. Шмита (Чехословакия). Вопросам исторической лексикологии и этимологии были посвящены доклады К. Вельчова, Л. Бенкё (Венгрия), И. Футаки (ФРГ). Фонологическая система венгерского языка получила освещение в докладе Л. Деме (Венгрия), некоторые вопросы морфонологии венгерского языка осветил в своем докладе И. Атани (Швеция). Другие доклады были посвящены разработке отдельных сторон грамматического строя венгерского языка (Ж. Перро, Франция; Э. Рац, И. Мате, И.-М. Вег, Венгрия), типологическому анализу (А. Шебестьен, Венгрия), вопросам венгерского словосложения (К.-Й. Шолтес, Венгрия) и образования слов путем элизии (И. Ниркош, Венгрия). О применении статистических методов и теории информации при исследовании языка художественной литературы говорил в своем докладе Т. Жилка (Чехословакия).

В докладах этой секции нашла отражение и социолингвистическая тематика, в частности, вопросы языковых контактов венгров с носителями иносистемных языков. В докладе Б. Кальман (Венгрия) рассматривались особенности венгерского языка в США; Ж. Жержели (Франция) осветил вопросы венгеро-французского и венгеро-бразильского двуязычия. Методам исследования венгерских элементов в языках соседних народов посвятил свой доклад П. Кнаи (Венгрия); П. Лизанец (СССР) доложил о принципах построения атласа лексических венгеризмов в украинских говорах Закарпатья.

Значительно меньшее место в работе секции угорских языков заняли доклады и сообщения по обско-угорским языкам, причем подавляющая часть докладов была посвящена хантыйскому языку.

*Ряд представленных докладов был по*священ проблемам языка народной поэзии обских угров (М. С. Книпиал, А. Кош, Венгрия; Б. Шульце, ГДР). Другие доклады касались вопросов хантыйской лексикографии (Л. Бёнке, ГДР; Э. Вертеш, Венгрия), русских заимствований в хантыйском языке (Г. Зауер, ГДР), топонимии (Р. Радомски-Брахвич, ФРГ) и исторической фонетики хантыйского языка (Э. К. Шал, Венгрия). Только два доклада было посвящено конкретным исследованиям по мансийскому языку (Е. Ромбандеева, СССР; В. Кулмала, Финляндия).

Такое неравномерное распределение докладов в секции угорских языков отражает действительное состояние угорского языкознания в мировом финно-угроведении. В этой области ведущее место занимают венгерские ученые, особенно в изучении венгерского языка. По хантыйскому языку наряду с венгерскими учеными ведут интенсивную работу и языковеды ГДР, продолжающие традиции изучения этого языка, заложенные академиком В. Штейницем. Советские лингвисты были представлены в секции угорских языков всего двумя докладами: венгеризмы в украинских говорах (П. Лизанец) и доклад по мансийскому языку (Е. Ромбандеева). По хантыйскому же языку советскими языковедами вообще не было представлено ни одного доклада. Между тем ответственность за изучение обско-угорских языков целиком должна ложиться на советских лингвистов, поскольку только они имеют возможность исследовать эти языки непосредственно в полевых условиях.

В секции волжских языков было представлено 16 докладов и сообщений, в том числе зарубежными учеными — 6 (из Венгрии — 3 и из Финляндии — 3).

Тематически доклады на этой секции распадались на четыре группы: общемордовская проблематика (5) и доклады по отдельным языкам — эрзянскому (3), мокшанскому (2) и марийскому (6). Доклады по общемордовской проблематике касались истории образования литературных языков (А. Феоктистов, СССР), общемордовского указательного

склонения (Д. Надькин, СССР), развития системы мордовского консонантизма (Г. И. Стипа, Финляндия), мордовского влияния на русское аканье (Б. Керестеш, Венгрия). Из докладов по отдельным мордовским языкам следует отметить доклад Д. Цыганкина (СССР) о принципах классификация эрзянских диалектов. По марийскому языку ту же тему развивал в своем докладе Г. Берецки (Венгрия). Большой интерес вызвал доклад Б. А. Серебренникова (СССР) по вопросам марийско-тюркских языковых связей.

В секции пермских языков были представлены доклады по всем языкам этой группы: коми-зырянскому (3), коми-пермяцкому (2) и удмуртскому (5). Характерной чертой этой секции явилось то, что она целиком была представлена советскими специалистами — языковедами Москвы, Сыктывкара, Ижевска и Перми. По коми-зырянскому языку были прочитаны доклады по вопросам фонологии (Т. Жилина) и отраслевой терминологии (Е. Гуляев). По коми-пермяцкому языку освещались вопросы ономастики (А. Кривощекова-Гантман), и классификации диалектов (Р. Баталова). Доклады по удмуртскому языку были посвящены различным вопросам грамматики литературного языка (В. Алатырев, Л. Калинина, И. Тараканов) и диалектологии, в частности, проблеме этногенеза бесермян (Т. Тепляшина) и развитию фонетической системы языка в условиях иноязычного окружения (В. Кельмаков).

Секция саамского языка и секция самодийских языков были самыми малочисленными на конгрессе. В той и другой было представлено по шесть докладов и сообщений. Типологической характеристике саамского языка был посвящен совместный доклад Г. М. Керта (СССР) и В. З. Панфилова (СССР). Два доклада касались проблем фонология (П. Саммаллахти, Финляндия; Р. Хармс, США), в двух других рассматривались вопросы грамматики (К. Коньт, СССР; В. Шлахтер, ФРГ) и в одном — норвежские заимствования в саамском языке (Х. Фромм, ФРГ).

В секции самодийских языков в четырех докладах рассматривались проблемы морфологии этих языков (А. П. Дульзон, СССР; А. Кюннап, СССР; Н. Терещенко, СССР; А. Йоки, Финляндия), в двух других освещались вопросы исторической фонетики (Т. Микола, Венгрия) и синтаксиса (И. Эрдей, Венгрия).

Советские ученые уже давно заняли прочные позиции в области финно-угроведения. Отличительной чертой III Международного конгресса является широкое представительство советских ученых, выступивших со 135 докладами и сообщениями, причем советскими учеными были представлены все научные дисциплины и все национальные научные центры советского финно-угроведения. Значение того факта, что в Советском Союзе создана разветвленная сеть национальных научно-исследовательских центров, где представители финно-угорских народов сами занимаются изучением своего языка и своей культуры, неоднократно подчеркивалось зарубежными учеными как на конгрессе, так и в печати.

Существенный вклад в работу конгресса внесли ученые Венгрии, среди которых имеются крупные специалисты по общему финно-угорскому языкознанию, угорским языкам и этнографическим дисциплинам. Они выступили с 61 докладом в лингвистических секциях (34) и секциях фольклора, этнографии, антропологии и литературы (27).

Конгресс показал, что финские ученые, выступившие с 41 докладом, занимаются преимущественно исследованием прибалтийско-финских языков и имеют значительные достижения в деле развития этнографии. Более скромным оказался их вклад в работе секции народной музыки и литературы. Ученые ФРГ (9 докладов) и США (7 докладов) выступали главным образом по лингвистической тематике.

На заключительном заседании был пополнен состав Международного оргкомитета финно-угроведов, и теперь в нем представлены все финно-угроведческие дисциплины. Международный оргкомитет принял принципиальное решение проводить международные конгрессы только в основных странах с финно-угорским населением, т. е. в Венгрии, Советском Союзе и Финляндии. На следующий период (1970—1975 гг.) председателем Оргкомитета избран академик Д. Ортутай (Венгрия) и его заместителями—академик АН ЭстССР П. Ариста (СССР) и академик К. Вилкуна (Финляндия). В период между конгрессами решено проводить симпозиумы по отдельным отраслям финно-угроведения. Принято решение провести следующий IV Международный конгресс финно-угроведов в 1975 г. в Венгрии.

Ю. С. Елисеев (Москва)

*

VII Международный конгресс социологов, состоявшийся 14—19 сентября 1970 г. в г. Варне (Болгария), был посвящен фундаментальной проблеме: современное и будущее общество, планирование и прогнозирование.

Эта тема, вызвавшая большой интерес мировой научной общественности, была предложена советскими социологами. В конгрессе приняло участие более 3500 человек — представители 80 стран.

На конгрессе впервые в качестве самостоятельной дисциплины была представлена социолингвистика. Заседала специальная секция социолингвистики, в работе которой приняли участие представители различных стран (СССР, США, Франции, Великобритании, Западной Германии, Канады, Шотландии, Испании, Бельгии, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Индии, Ганы, Танзании, Уганды, Израиля и др.).

Доклады советских ученых по социолингвистике по своей целенаправленности почти все соответствовали проблематике конгресса. Объясняется это тем, что беспримерный в мировой истории советский опыт планирования и прогнозирования развития многочисленных языков народов СССР имеет большое теоретическое и практическое значение и вызывает огромный интерес особенно в развивающихся странах. Доклады наших зарубежных коллег представляли собой более пеструю картину. В известной мере этому способствовали и разделы программы: макросоциолингвистика, микросоциолингвистика, комплексные социолингвистические исследования.

В докладе «Советская методология, теория и практика планирования и прогнозирования языкового развития» Ю. Д е ш е р и е в раскрыл важность проблемы языкового развития и пути ее решения в свете ленинской теории национальных отношений. Впервые в мировой истории в нашей стране стали разрабатывать теорию и практические мероприятия по проблемам планирования и прогнозирования языкового развития на основе марксистско-ленинской методологии. Докладчик подчеркнул, что Советский Союз располагает самым богатым в мире опытом планирования развития социальных функций и структур языков.

Докладчиком была выдвинута проблема *развертывания мирового лингвистического процесса* в качестве самой обширной и самой важной для человечества социолингвистической проблемы. Мировой лингвистический процесс пока что развертывается в значительной мере стихийно. По мнению докладчика наиболее общими социально и исторически обусловленными закономерностями функционирования языков современности, определяющими перспективы их развития, являются: а) выдвижение исторически сложившихся наиболее развитых и распространенных языков в функции языков межнационального и международного общения; б) сокращение количества языков (главным образом за счет отмирания бесписьменных языков малочисленных народностей и этнографических групп); в) возникновение в литературных языках мира определенных социально обусловленных общих закономерностей, вызванных логикой современного мирового общественного развития; г) постоянное отмирание территориальных диалектов; д) все большее усиление профессиональной дифференциации языков; е) внутриструктурное развитие литературных языков, связанное главным образом с лексикосемантическими, синтаксическими и стилистическими системами.

В заключение докладчик подчеркнул, что перечисленные выше социально обусловленные закономерности будут доминирующими в развитии языковой жизни человечества в ближайшем будущем.

Общей теории планирования и прогнозирования был посвящен доклад Л. Н и к о л ь с к о г о «Прогнозирование и планирование языкового развития». Л. Никольский указал на то, что теоретическое языкознание освобождается от отрицательного отношения к возможности сознательной регламентации языкового развития, справедливо подчеркнув, что практика языкового строительства в Советском Союзе эту возможность с очевидностью подтверждает. Докладчик отметил недостаточность для осуществления планирования на практике одной лишь лингвистической теории и необходимость учета таких факторов, как языковая, социальная и экономическая ситуация, генетическая природа языка и др. По мнению докладчика, господствующей тенденцией языкового развития в настоящий момент является демократизация.

Как практика, так и теория развития общественных функций языка получили освещение в коллективном докладе В. А б а е в а, П. А з и м о в а, К. М у с а е в а и Ф. Ф и л и н а «Развитие общественных функций языков народов СССР и некоторые вопросы теории социальной лингвистики», а также в докладах Г. Т р а п е з н и к о в а «Социальная значимость двуязычия и многоязычия в Советском государстве» и М. Г у б о г л о «Этносоциальные аспекты языковых контактов».

В докладе Т. Б е р т а г а е в а «Об унификации и интегрировании родственных языков» был поставлен очень существенный вопрос о необходимости более углубленного изучения процесса интеграции родственных и близкородственных языков. Насколько решение этой проблемы важно для практики планирования развития литературных языков было проиллюстрировано путем сравнения процессов формирования горномарийского, лугового марийского, коми-зырянского и коми-пермяцкого с процессом формирования литературного удмуртского языка.

Вопросы общей теории в лингвистическом плане были затронуты в докладах

В. Звегинцева, Ю. Степанова, К. Шаумяна, А. Швейцера и В. Ярцевой. Основной тезис доклада В. Звегинцева «Лингвистические корреляты научного прогнозирования» — научное прогнозирование должно стремиться к максимальной объективности своих описаний. Поэтому описание научных прогнозов должно пользоваться языком, который был бы свободен от внутренней формы или же она была бы нейтрализована. Чтобы достигнуть этого, следует «обратиться к конструированию многомерных языков». К. Шаумян в докладе «Аппликативная грамматика и перспектива информационных языков» сформулировал задачи аппликативной грамматики и раскрыл основные понятия, которым она оперирует.

Ю. Степанов в докладе «Область лингвистических импликаций как сфера предвидения в языке» проводит мысль, что импликацией, в которой наиболее очевидно обнаруживалась бы обусловленность внутренней системы языка внешними факторами и вместе с тем допускалось бы проверяемое предвидение, является импликация особого рода, а именно, детерминация, обозначаемая как $V \rightarrow C$.

Главная мысль доклада А. Швейцера «О макросоциологии и микросоциологии» состояла в том, что малые группы не могут быть основной единицей социолингвистического анализа, как полагает ряд зарубежных исследователей. Необходим синтез макро- и микросоциологического подходов.

В докладе В. Ярцевой основное внимание было сосредоточено на наиболее существенных функциональных и структурных признаках языка науки, благодаря которым он играет международную роль. В докладе отмечено свойственное языку науки стремление к логичности и точности, тенденция к экономии в знаках, передающих содержание высказывания (применение эллиптических конструкций, различных аббревиатур и т. п.), тенденция к созданию знаковых систем с однозначным соотношением плана содержания и плана выражения. Что касается материального состава лексем языка науки, то в нем в известной мере могут наблюдаться конвергирующие тенденции.

Для языка науки характерны сознательность и целенаправленность усилий для его упорядочения. Именно в этом языке особенно ярко проявляется сознательное терминотворчество.

В докладах А. Баскакова «Особенности формирования терминологии в разных социальных условиях развития языка», М. Богояркова «Развитие общенародного хакасского литературного языка в условиях осуществления ленинской национальной политики», А. Дарбеевой «Развитие общественных функций монгольского языка в советскую эпоху», М. Жовтобрюха «Пути сближения устной и письменной разновидностей литературной речи», Г. Меновщикова «Некоторые типы языковых контактов у аборигенов крайнего северо-востока Сибири», К. Ханазарова «Развитие узбекского языка за годы советской власти», Б. Хасанова «Функциональное развитие казахского литературного языка в советский период и его взаимодействие с другими языками народов Казахстана», Т. Марзоевой-Козыревой «Социальные и этнолингвистические условия формирования осетинского национального языка» и А. Феоктистова «Об условиях развития мордовских литературных языков в советский период (20—30 гг.)» был всесторонне и подробно раскрыт процесс развития общественных функций литературных языков самых различных народов Советского Союза.

Основные положения доклада Н. Баскакова «Тенденция развития общественных функций младописьменных тюркских языков» следующие: становление литературных языков народов Советского Союза и их общественных функций определялось не только ходом истории, но и их существованием в особых условиях — условиях социалистического государства. В такой многонациональной стране, как СССР, создались, с одной стороны, все условия для развития двуязычия, с другой же — потребность в межнациональном общении выдвинула в этой функции русский язык. Создались условия, в которых русский язык, выступая как средство межнационального общения, не препятствует развитию национальных языков.

Методы и формы социолингвистического изучения языков были даны в докладах В. Аврорина «Опыт применения анкетного метода в изучении функционального взаимодействия языков», Г. Джаукяна «Статистический метод изучения диалектов и их истории» и Т. Дешериевой «Математические методы в социолингвистике».

В. Аврорин ознакомил с советским опытом социолингвистического обследования языков Сибири. Обследование (1967—1969) производилось анкетным методом и было построено по семейно-индивидуальному методу. В его докладе сделан подробный анализ системы составления анкет — с ее достоинствами и недостатками. Г. Джаукян поставил вопрос о характере и целях статистической диалектологии в применении к армянскому языку. Основной тезис доклада Т. Дешериевой — из определения сущности предмета социолингвистики логически вытекает полная возможность применения тех математических методов, которые используются при изучении

структуры языка и закономерностей его развития. Наиболее правомерны такие методы как *вероятностно-статистические*, моделирование, *теоретико-множественные* и аксиоматический.

Т. Ильяшенко в докладе «Социальные диалекты и профессиональные стили» сделала удачную попытку дать социолингвистическое определение таких понятий, как «социальный диалект» и «профессиональный стиль», на основе выделения определенных дифференциальных признаков.

Дифференциальные признаки социального диалекта — это классовая принадлежность его носителей, использование во всех сферах коммуникации, тенденция к обособлению от *общенародного языка*. Дифференциальные признаки профессионального стиля другие — отнесение к данной ситуации, использование в других ситуациях соответствующих стилей, отсутствие характера обособленности.

Некоторые доклады касались вопроса о роли социальных факторов в развитии языка. Так, А. Борц (доклад «К вопросу о роли социальных факторов в индивидуализации романских языков») останавливается на существенной роли социальных факторов в процессе образования романских языков. Параллельно с *естественным развитием народной латыни* от флективного строя к аналитическому имело место сильное внешнее влияние — субстратно-языковое и этническое — на всех уровнях языка. Оно и послужило причиной индивидуализации латыни.

Н. Корлэтяну в докладе «Дифференцированное развитие языковых уровней в их отношении к социальной обусловленности», говорил о неправомерности сводить все языковые процессы к влиянию общества. Следует рассматривать дифференцированно воздействие *общества на различные уровни языка*. Наиболее непосредственно реагирует лексический уровень (особенно подсистема терминологической лексики). Тесная зависимость существует также между действием социальных факторов и дифференциацией стилевых разновидностей. Такая же связь заметна в области словообразования. Меньше всего реагирует на воздействие социальных факторов структурно-грамматический уровень.

В докладе «Роль социальных факторов в процессе формирования и развития письменно-литературных языков» Н. Катагощина *подчеркнула*, что роль социальных факторов особенно ярко проявляется в ходе развития письменно-литературных языков: 1) время появления письменно-литературных языков целиком обусловлено ходом общественного развития; 2) выбор диалектной основы очень часто определяется не культурно-историческими и не лингвистическими факторами, а *политической* и *экономической* значимостью той области, диалект (или группа диалектов) которой становится основой развития письменно-литературного языка; 3) с особой очевидностью воздействие социальных факторов выявляется в процессе нормализации письменно-литературных языков.

Т. Пахалина посвятила свой доклад «Влияние некоторых социальных факторов на развитие языка (на материале иранских языков)» анализу некоторых фонологических и лексико-грамматических изменений в бесписьменных языках Памира. Конкретный материал сравнения лексики и некоторых фонетических и грамматических явлений в языке советских памирских народностей и в языке афганских памирцев с очевидностью выявляет обусловленность различий в этих областях языка различными социально-экономическими причинами.

Были представлены доклады ученых из других социалистических стран. На вопросах методологии социолингвистического исследования подробно остановилась румынский ученый Т. Слама-Казаку в докладе «Динамико-контекстуальный метод в социолингвистике».

Я. Янушек (Чехословакия) в докладе «Социально-психологические проблемы в кооперации» дал анализ диалога, как особой формы социального контакта, основанной на передаче информации в процессе социальных отношений. Докладчик указал, что проблема диалога имеет широкий контекст. Значение социально-психологического анализа состоит в том, чтобы определить условия, позволяющие преодолеть старые и вновь возникающие барьеры между людьми, найти эффективные средства, обеспечивающие взаимопонимание.

Ученые Болгарии и Югославии также представили свои доклады и участвовали в обсуждении (Н. Николов, *Болгария*, и др.). Из 63 докладов, представленных для обсуждения на заседаниях секции социолингвистики, около 40 принадлежали нам и нашим коллегам из социалистических стран.

Р. Кйолзес (США) в докладе «Программы билингвистического образования в Соединенных Штатах Америки: ассимиляция или плюрализм» сделал попытку охарактеризовать парадигму социолингвистических переменных в программах билингвистического образования, систематически сравнивая структурные различия между ними.

Проблема планирования и прогнозирования была поднята в докладе Дж. Фишмана (Израиль) «К вопросу о перекрестно-национальном изучении процессов языкового планирования». Задачей доклада было ознакомление участников конгресса с намеченным группой зарубежных ученых планом перекрестно-национального изучения процессов языкового планирования в четырех стра-

нах: Индонезии (индонезийский язык), Индии (хинди), Израиля (еврейский), Пакистана (бенгали).

Вопрос о месте социолингвистики в системе других наук затронул Р. Урель (Франция) в докладе «Некоторые соображения о теоретических моделях многоязычия с учетом западноафриканской ситуации». Как исследователь, изучающий взаимоотношения западноафриканских языков, Р. Урель выразил мнение, что первоочередной задачей является не проведение новых структурных анализов, не конструирование повторяющихся моделей, а разработка четкой языковой политики, создание заинтересованности в ней соответствующих организаций. Это облегчило бы практику языкового строительства в развивающихся странах.

Тенденция рассматривать социолингвистику как самостоятельную науку и формализовать методологию ее исследования была довольно четко выражена в докладе Р. Шаброля (Франция) «Теоретические модели в социолингвистике: к вопросу о социолингвистической грамматике». По его мнению, социология естественных языков изучает, как язык отображает определенные социальные категории. Лингвистические явления рассматриваются как результат экстралингвистических причин. Постулат социолингвистики — естественные языки — это лингвистическое обозначающее, а социальные категории — социально обозначаемое. Социолингвистический подход — это описание дифференциации и значимого членения человеческого общества, основанное на установлении значимых отклонений на уровне естественных языков.

Лукман (ФРГ) сделал доклад на тему «Соображения по вопросу о направлении социологических и языковых исследований». Докладчик наметил два уровня исследования: а) макроструктуры (глобальные системы — социальная структура, культура и язык или более широко — знаковые системы). Сюда же включаются составные элементы глобальных структур: экономика, политическая организация, семья; система социальной стратификации, как компонента социальной структуры; субкультуры (групповые культуры?); языковые стили и речевые репертуары как составные части языка; б) микроструктуры [социальная функция и социальное взаимодействие, познавательная и аффективная организация индивидуума и речевые акты (индивидуальная система познания, мотивации и языковой компетенции)].

В докладе И. Дойчера (США) «Язык и перекрестное изучение культур и субкультур» был сделан упор на необходимость изучения языка как обязательной предпосылки для результативности социологического исследования.

О необходимости построения прогнозирующей модели, которая может стать эффективным средством политики планирования языкового развития, говорил А. Афендрас (Канада) в докладе на тему «Процессы распространения языка, прогнозирование и планирование».

М. Хартиг и Н. Курц (ФРГ) в докладе «Язык и социальный контроль» поставили на обсуждение вопрос об адекватном подходе к социолингвистическим явлениям, о построении новой релевантной социолингвистической модели (переформулировка отношения между языком и социальной структурой).

Вопрос о том, какова природа регулирующих начал (constraints), которые регламентируют взаимопонимание между индивидуумами и делают возможным интерпретацию высказываний был выдвинут Дж. Хелмером (США) в докладе «Высказывание и значение: к социолингвистическим теориям».

Доклады Абдул Азиза и Мааруп (Танзания) «Факторы, влияющие на сохранение языка и на переключение с одного языка на другой у билингвов, говорящих на английском и суахили», С. Ура и Б. Форсона (Гана) «Употребление языка в Гане», С. Крайнера (Шотландия) «Многоязычие и мобильность в Уганде» и С. Л. Шамис (США) «Государственный язык, Пиджинно и урбанизация» были посвящены языковому состоянию в развивающихся странах Африки. В них были показаны сложность и своеобразие языковой ситуации и языковых отношений в этих странах.

Вопрос о месте и значении двуязычия в системе высшего образования составил тему доклада А. Вердота (Бельгия). Это результаты обследования нескольких типов университетов в различных странах: 1) университетов, где все занятия ведутся на двух языках, 2) где часть занятий проводится на двух языках и 3) где некоторые занятия на языке *A*, а некоторые — на языке *B*.

Этот же вопрос (только на уровне средней школы) дискутировался в докладе В. Э. Ламберта (Канада) «Экспериментальная французская школа для английских детей». Докладчик проводил мысль, что такого рода школы значительно способствуют сближению и взаимопониманию двух этнических групп.

К докладам, в которых социолингвистика трактовалась как междисциплинарная наука и тематика которых стояла на границе нескольких научных областей можно отнести доклады: Э. Роуза (США) «Общее в значениях языковых корней», П. Форстера (Великобритания) «Эсперанто как социальное и лингвистическое явление» и Л. Саада (Франция) «Процессы образования эвфемизмов в одном арабском диалекте».

Целью обширного и подробного доклада Э. Роуза являлось раскрытие смысло-

вых связей, объединяющих всю массу значений, свойственных корневым элементам индоевропейских языков.

П. Форстер дал анализ развития эсперанто и характеристику его лингвистического, идеологического и социального состояния в настоящее время. Что касается Л. Саада, то она, в основном, затронула некоторые проблемы семантики в социологическом плане.

На заседаниях секции были обсуждены как прослушанные, так и не прослушанные доклады.

Объединение социолингвистов различных стран на общем конгрессе, обсуждение докладов, беседы способствовали установлению контактов с зарубежными учеными и показали возможность плодотворного сотрудничества в деле разработки основных проблем социолингвистики.

Были образованы рабочие группы, задача которых — разработка наиболее актуальных социолингвистических проблем.

По окончании работы секции был набран новый состав Международного исследовательского комитета по социолингвистике. В него вошли: Р. Кйолзес (США) — президент, вице-президенты: Ю. Дешериев (СССР) и А. Вердот (Бельгия), члены — Э. Роуз (США) и Гош (Индия), секретарь-казначей — А. Афендрас (Канада).

Н. А. Катагощина (Москва)

*

С 12 по 14 октября 1970 г. в Марианской Лазне (Чехословакия) проходил первый Международный симпозиум по проблемам актуального членения предложения[1]. Языковеды 10 европейских стран обсуждали некоторые проблемы коммуникативной функции предложения, а также различные вопросы изучения связного текста. Было отмечено, что в современной лингвистике этим вопросам не всегда уделяется достаточное внимание, несмотря на то, что круг проблем, связанных с такими понятиями, как «point de départ» и «but de discours», «психологический субъект» и «психологический предикат», «тема» и «рема» «topic» и «comment» становится объектом внимания ученых, по крайней мере, с первой половины XIX в. Между тем любая лингвистическая теория, претендующая на адекватность, должна объяснять явления актуального членения предложения.

До сих пор проблемы актуального членения предложения изучались с разных точек зрения. На симпозиуме было признано, что наиболее точный и соответствующий природе изучаемых явлений способ исследования может быть выработан лишь в результате совместных усилий, путем пересмотра индивидуальных взглядов и углубленного изучения различных точек зрения, высказанных в процессе дискуссии. Этой цели, несомненно, будет содействовать подготовленная к симпозиуму обширная библиография и глоссарий наиболее употребительных терминов. Дальнейшее исследование проблем актуального членения предложения, предполагающее и применение сопоставительного метода, должно включать в себя разработку подробного описания относящихся сюда явлений, что будет способствовать завершенности грамматической теории. Полученные результаты найдут свое применение в различных сферах прикладной лингвистики (преподавание языка, стилистика, практические и теоретические проблемы перевода, автоматическая обработка фактов языка).

Ф. Данеш (Прага)
Перевела с английского *Д. А. Бейлина*

*

С 26 по 28 ноября 1970 г. в Зеллине на острове Рюген (ГДР) проходила научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Фридриха Энгельса, на тему «Вклад Фридриха Энгельса в развитие научной теории языка и актуальные проблемы марксистско-ленинского языкознания». В работе конференции приняли участие профессора, сотрудники и студенты языковедческих секций университетов и вузов ГДР, сотрудники Центрального института языкознания Академии наук, преподаватели общеобразовательной школы, представители общественности, а также гости из СССР, Польши и Венгрии.

Конференцию, организованную секцией языкознания и литературоведения и секцией марксизма-ленинизма Грейфсвальдского университета им. Эрнста-Морица Арндта, открыл от имени ректора Грейфсвальдского университета проректор Г. Бройер.

[1] Ср. другие эквивалентные термины, также широко употребляемые: «funkční perspektiva větná», «функциональная перспектива предложения», «aktuelle Satzgliederung», «funktionale Satzperspektive», «Mitteilungsperspektive», «kontextové členění věty», «contextual segmentation of the sentence», «významová výstavba výpovědi», «the thematic organization of the utterance», «смысловое членение предложения», «Thema-Rhema Gliederung», «topic-comment structure».

В вступительном докладе директор секции языкознания и литературоведения Грейфсвальдского университета К. Габка указал на тесную связь созданного Марксом и Энгельсом научного социализма с теорией и практикой революционной партии ленинского типа и подчеркнул, что наследие классиков марксизма-ленинизма является животворным источником успешного развития всех общественных наук, к числу которых принадлежит и языкознание. Хотя сам Ф. Энгельс и писал, что при Марксе он «играл вторую скрипку», его вклад в создание и развитие мировоззрения пролетариата бессмертен. В ряде сочинений он обогатил все составные части марксизма. После смерти К. Маркса Ф. Энгельс подготовил к печати второй и третий тома «Капитала», отказываясь от выполнения ряда собственных работ. Ему принадлежит заслуга и в разработке научной теории языка. В своем труде «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» он заложил основы марксистской науки о языке, которая затем развивалась в сочинениях В. И. Ленина и в советском языковедении. Принципы диалектического и исторического материализма представляют собой методологическую основу и для выполнения практических задач науки о языке в борьбе с противниками марксизма-ленинизма и с ревизионистами разных толков.

Исходя из высказываний классиков марксизма-ленинизма и опираясь на постановления СЭПГ о задачах общественных наук, Э. Альбрехт (Грейфсвальд) в докладе «Исторические корни и актуальное значение философских взглядов Ф. Энгельса на язык» основное внимание сосредоточил на освещении функции языка как средства коммуникации в обществе и на тех аспектах теории языка, разработка которых имеет важнейшее значение для решения современных идеологических задач. На примере работ Н. Хомского, Ф. Каца и других авторов докладчик показал, что ни одна научная дисциплина не может быть свободной от мировоззренческих основ, от политических концепций. В связи с этим он подчеркнул, что некритическое применение формализованных методов «структурализма» превращается в беспринципность. Научный подход к исследованию функций языка должен опираться на марксистско-ленинское учение о природе и обществе, на единство языка и общества в зависимости от социально-экономической формации. Освобождая языковедение от идеалистических взглядов на язык как предмет «в себе и для себя», от абсолютизации языка как системы знаков, языковеды-марксисты открывают путь для дальнейшего развития науки о языке.

В. Моргенрот (Грейфсвальд) в своем докладе «Актуальное значение единства исторического и логического методов в сочинениях Ф. Энгельса о немецком языке раннего периода» показал, что для Энгельса изучение языковых явлений служило не самоцелью, а средством вскрытия исторических изменений в классовых отношениях. При этом Энгельс критически использовал методы сравнительно-исторического языкознания для выявления неразрывной связи истории языка и истории носителей языка. Ф. Энгельс соединил исторический подход с логическим, синхронию с диахронией, т. е. для него предмет языкознания не ограничивался только описанием механизма самого языка. Таким же образом следует рассматривать и развитие немецкого языка в последние десятилетия, т. е в связи с обществом, в связи с изменениями социально-экономической формации в обоих германских государствах. Разработка этих проблем требует сотрудничества языковедов с историками, философами, социологами и другими специалистами.

В. Кирхгесснер (Грейфсвальд) в докладе «Роль языка в процессе развития сознательности социалистической личности» остановился на важной функции языка в социалистическом обществе. Как уже отмечал Ф. Энгельс в своем труде «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», рабочий класс — это единственный наследник передовой немецкой культуры. Постоянно растущее соответствие общественных и индивидуальных интересов в социалистическом обществе требует усовершенствования культуры языка, развития практического применения языка во всех областях жизни, т. е. развития тех проблем языкознания, которые выдвигаются наукой об управлении общественными процессами. В связи с этим докладчик затронул различные проблемы воздействия общества на язык и влияние языка на общественное развитие и остановился на роли речи агитатора, классовой обусловленности современных коммуникационных средств и литературы.

В докладе «Лингвистические и философские аспекты действенности политической речи» В. Шмидт (Потсдам), исходя на марксистско-ленинской теории отражения, согласно которой явления действительности становятся значением языковых знаков только через отражение в человеческом сознании, остановился на вопросе иерархии компонентов словесного значения и указал на их перераспределение под влиянием контекста. Он подробно анализировал, как идеология входит в семантику языковых знаков и как она действует через посредство языка на общественное поведение человека. На ряде примеров (демократия, классовая борьба и др.) он доказал, что решение этих проблем невозможно без учета диалектического соотношения

между мышлением, языком и обществом. Только на этой основе можно понимать *явления дифференциации* немецкого языка в социалистической ГДР и капиталистической ФРГ. По тематике двух первых основных докладов (Альбрехт, Моргенрот) были прослушаны ряд докладов и сообщений. Студент Г. Цшахе (Дрезден) в сообщении «Взаимоотношение языка и мышления» остановился на той критике позитивистических взглядов на язык, которую в свое время дал В. И. Ленин. В. Мюльнер (Гюстров) в докладе «Семантика синтаксических конструкций», рассматривая сущность словосочетания и предложения, остановился на основном принципе марксизма-ленинизма об отражении вещей и явлений действительности в языковых единицах. В докладе было проанализировано также взаимоотношение лексического и синтаксического компонентов высказывания.

В докладе «О развитии категории количества в языке» В. З. Панфилов (Москва) остановился на гносеологических аспектах взаимоотношения языка и мышления. На материалах различных языков он разъяснял процессы абстрактного, обобщенного познания. Становление и развитие категории количества в языке свидетельствует об обусловленности категорий мышления объективной действительностью. В докладе были намечены этапы развития этой категории мышления. Г. Гернениц (Росток) выступил на тему «Актуальное значение статьи Ф. Энгельса „Франкский диалект" для научно-продуктивного обучения будущих учителей немецкого языка».

В докладе «Лингвистические достижения и методы Ф. Энгельса и их отношение к современной германской филологии» Г. Лерхнер (Галле) указал на то, что было бы ошибочным зачислить исследования Энгельса по истории языка в один ряд с другими работами по сравнительно-историческому языкознанию, и подчеркнул новое качество достижений Энгельса на основе диалектического и исторического материализма. Р. Гроссе (Лейпциг) в докладе «Коммуникационная общность и языковая общность в „франкское время"» отметил, что использование результатов исследований Ф. Энгельса в области истории немецкого языка раннего периода открывают германистам путь к правильной оценке развития языка в неразрывной связи с обществом. Э. Арндт (Берлин) и В. Шмидт (Берлин) в своих выступлениях сделали попытку периодизации истории немецкого языка с учетом воздействия на изменения в языке изменений в общественном строе.

В дискуссии по проблеме «Система и структура языка» выступили Г. Шницбардт (Йена), Г. Шустер-Шевц (Лейпциг) и Р. Эккерт (Лейпциг); некоторым вопросам теории познания и соотношений языка и действительности посвятили свои выступления В. Мотч (Берлин), студент М. Нимейер (Грейфсвальд), Э. Эйхлер (Лейпциг), У. Вурцель (Берлин), В. Флейшер (Лейпциг) и Г. Меттке (Йена).

По тематике двух других основных докладов (Кирхгеснер, Шмидт) были прослушаны следующие доклады и сообщения. У. Рикен (Галле) в докладе «Идеологическая функция классовых обозначений в тексте „Интернационала"» указал на важную роль, которую играет выбор слов и выражений в боевом гимне пролетариата. В докладе «Стиль социалистической публицистики как выражение партийной речи на службе развития сознательности» К.-Г. Иленбург (Грейфсвальд) анализировал языковые средства, используемые в целях разоблачения агрессивного характера монополистического капитала.

Э. Курка (Берлин) в докладе «Сила воздействия форм обращения в речах и сочинениях В. И. Ленина как выражение его тесной связи с массами» показал, как В. И. Ленин использовал языковые средства, чтобы достичь живого контакта с слушателями и читателями. В докладе «Ленин и вопросы стилистики» студентка Б. Ноак (Дрезден) остановилась на высказываниях В. И. Ленина о проблеме соотношения содержания и формы, имеющей особое значение для теории стиля.

Образ В. И. Ленина стоял в центре доклада студентки М. Шлукнер (Йена) «Наглядность речи В. И. Ленина в рассказе Казакевича „Синяя тетрадь"». У. Кендлер (Лейпциг) в докладе «Фридрих Энгельс как критик языка и стиля» рассматривала те языковые средства, которые использовались Ф. Энгельсом для того, чтобы, с одной стороны, стимулировать понимание теории марксизма среди рабочих, а с другой стороны, высмеять потуги Е. Дюринга на создание новой философской системы. В своем докладе «Эстетическая функция языка» В. Шпивок (Грейфсвальд) указал на то, что растущее значение культуры в социалистическом обществе ставит перед наукой о языке новые задачи. Чтобы с успехом выступать против таких теорий эстетики, в которых функция языка в поэтике понимается как антиграмматическое употребление языковых элементов, следует на основе теоретических взглядов классиков марксизма-ленинизма о диалектическом соотношении содержания и формы развивать теорию эстетической функции языка на службе общества.

С докладом на тему «Изменения в общественной коммуникации и проблемы умственно-культурных потребностей при социализме в связи с применением электронных машин» выступил К. Штремель (Грейфсвальд). К. Габка (Грейфсвальд) выступил с докладом

«Понятие „языковая общность" Л. Вейсгербера сегодня и прежде». Он показал, что новые сочинения Л. Вейсгербера служат той же цели, что и его работы начала 30-х годов: восстановить немецкую языковую общность в прежних границах, присоединив к монополистическому государству всех немцев, живущих на других территориях. Его «закон родного языка» сейчас используется в тех же целях, что и раньше.

Г. Бартен (Грейфсвальд) в докладе «О фальсификации образа СССР в области страноведения» анализировал сущность дискредитации жизни в СССР в книге К. Седльмейера «Страноведение Советского Союза». Он показал, как употребление автором определенных слов и выражений служит искажению истины. Студентка Г. Шелей (Йена) указала в докладе «Марксистско-ленинское понятие свободы и его толкование в ФРГ» на зависимость понятия «свобода» от общественных отношений.

Р. Шолвин (Грейфсвальд) в докладе «Функция семантического и прагматического аспектов языка в системе обработки человека в США» остановился на роли современных коммуникационных средств (газет, телевидения и т. д.) в классовой борьбе и указал на то, что в США целеустремленно разрабатываются разными специалистами методы словесной обработки широких народных масс. На тему «Язык рекламы и язык политической пропаганды монополистического капитализма» выступил К. Бохман (Галле).

В дискуссии выступили Г. Либш (Дрезден) с замечаниями о роли учебного предмета «Речь и оформление речи» при подготовке будущих учителей, В. Гриллитш (Йена) на тему «Кризисные явления и мораль в США», С. Зайцева (Москва) с замечаниями по языку и терминологии философии; различным вопросам, поднятым на конференции, посвятили свои выступления Г. Гартунг (Берлин), В. З. Панфилов (Москва), Ц. Канно (Сегед, Венгрия), В. Воазен (Варшава), Г. Мейер (Берлин) и Е. Зейдель (Берлин).

На конференции были также прослушаны сообщения представителей языковедческих секций университетов и вузов ГДР о выполнении обязательств, взятых в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Участники конференции призывали языковедов ГДР к продолжению соревнования.

В своем заключительном слове проректор Г. Бройер отметил достижения конференции в освещении методологических проблем языкознания с марксистско-ленинских позиций. Он указал на то, что каждая наука может успешно развиваться только на базе диалектического и исторического материализма. Решение основных вопросов языкознания с этих позиций имеет существенное значение для выяснения функции и роли языка в классовой борьбе.

К. Габка (Грейфсвальд)

*

15—16 декабря 1970 г. проходила организованная Институтом языкознания АН СССР *юбилейная конференция*, посвященная 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса.

Во вступительном слове В. Н. Ярцева подчеркнула, что творческое освоение теоретического наследия Ф. Энгельса чрезвычайно важно для решения задач во всех областях современной науки, в том числе и в языкознании.

Р. А. Будагов в докладе «Ф. Энгельс и языкознание», отметив многообразие лингвистических проблем, интересовавших Ф. Энгельса, подробно остановился на трех из них: язык и мышление, язык и история, метод изучения языков. В зарубежной науке XX в. сложились две точки зрения на мышление. Согласно одной из них, современное мышление человека резко отличается от мышления первобытного человека (Леви-Брюль); согласно другой — мышление человека во все времена остается единым и неизменным (Леви-Стросс). Ф. Энгельс, подчеркивая общечеловеческий характер мышления, вместе с тем показывает, как в связи с развитием материальных условий существования людей развивалось и совершенствовалось их мышление в тесном взаимодействии с развитием и совершенствованием языков. В современных спорах о синхронии и диахронии важное значение имеют мысли Ф. Энгельса об истории языка. Ф. Энгельс никогда не ставил вопрос: или историческое языкознание, или изучение современного состояния языка. Он рассматривал язык в состоянии непрерывного развития и вместе с тем в системе взаимосвязанных отношений. В заключение Р. А. Будагов напомнил о высокой оценке, которую Ф. Энгельс дал сравнительно-историческому методу в языкознании.

В докладе В. З. Панфилова «Категории мышления и языка. Становление и развитие категории количества в языке» был рассмотрен процесс развития категории количества. Докладчик наметил ряд этапов становления этой категории мышления — начиная от первоначального, на котором устанавливается лишь равночисленность (или равномощность) конкретных множеств предметов, до завершающего, на котором категория количества выступает как бы в чистом виде, освобожденная от влияния категории качества (возникновение в языке числительных, употребляющихся при

абстрактном счете). Научные данные, которыми располагает современное языкознание, а также этнография, детская психология и зоопсихология, подтверждают мысль Ф. Энгельса о том, что способность отвлекаться при рассмотрении предметов счета от всех прочих их свойств, кроме числа, есть результат долгого, опирающегося на опыт исторического развития. В. З. Панфилов остановился также на закономерностях образования и развития числительных в различных языках, поставив их в связь с намеченными им этапами развития категории количества.

Г. В. Колшанский в докладе «Проблема противоречий в структуре языка» отметил, что по своей сущности *язык, как и другое природное или общественное явление*, характеризуется наличием объективных и закономерных противоречий, сосредоточивая в себе одновременно тождественное и различное, общее и отдельное, универсальное и специфическое. Противоречия, свойственные языку, затрагивают одновременно оба его плана — и план выражения, и план содержания; они имеют глобальный характер и присущи как языку в целом, так и всем звеньям его структуры и системы в отдельности. Докладчик подчеркнул, что под углом зрения противоречий и их разрешения язык предстает как открытая система, не связанная раз и навсегда данными жесткими формами, поэтому он способен на всем протяжении истории человечества выполнить функцию установления взаимопонимания между людьми.

С докладом «Наследие Ф. Энгельса в проблемы соотношения внутренних и внешних факторов языкового развития» выступил И. П. Мучник. Из множества плодотворных идей Ф. Энгельса по различным лингвистическим вопросам первостепенное методологическое значение для проблемы факторов языкового развития имеет известное указание Ф. Энгельса, решительно предостерегающее против вульгаризации марксизма при объяснении языковых явлений. При развитии языка и его структуры сложным образом переплетаются внутренние и внешние факторы. Воздействие социальных условий на развитие структуры языка может получить адекватное отражение в лингвистической теории, только если будет всесторонне выяснено взаимодействие внешних факторов с внутренними тенденциями. Существо соотношения социальных факторов и внутренних тенденций может быть представлено следующим образом: направленность языковых процессов определяется внутренними тенденциями, действующими в течение длительных исторических периодов, социальные же факторы могут только тем или иным образом модифицировать эту направленность. Вместе с тем только обстоятельный анализ действия социальных факторов дает возможность в деталях раскрыть механизм речевых процессов, в результате которых выкристаллизовываются факты языка.

Н. С. Чемоданов в докладе «Ф. Энгельс о социальной обусловленности языка и современное языкознание» подчеркнул, что при решении проблемы социального и индивидуального в языке марксистское языкознание опирается на высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса о сущности человека, которая была ими определена как «совокупность общественных отношений». Рассматривая при этом язык как непосредственную действительность мысли и как практическое действительное сознание, К. Маркс и Ф. Энгельс ввели в науку о языке понятие социальной обусловленности языка. Подчеркнув, что для индивида язык существует лишь в той мере, в какой он существует для других людей, К. Маркс и Ф. Энгельс впервые в истории науки подошли к речи индивида как к проявлению его общественного бытия и как к важнейшей универсальной форме его связи с другими индивидами. Был утвержден материалистический и исторический подход к речевой деятельности человека, поскольку формы этой деятельности как выражение общественной связи в конечном счете определяются уровнем общественных отношений и формами общения конкретной исторической эпохи. В свете этой концепции становится ясным, что языкознание на всех этапах своего развития односторонне разрешало проблему социального в языке; далее докладчик критиковал постановку этой проблемы как в младограмматическом и фосслеровском направлениях, так и в соссюровском.

В. И. Абаев в докладе «О родовых отношениях и терминах родства у осетин» отметил, что за время, прошедшее после опубликования работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», достоянием науки стали новые обширные этнографические материалы из всех стран света. Эти материалы дополнили нарисованную Ф. Энгельсом картину, не поколебав основных положений его труда. В частности, на осетинском материале хорошо видно, что и после полного торжества патриархальной семьи пережитки старого материнского права долго еще бытуют в фольклоре, обычаях и обрядах, в терминологии родства. Семейные и общественные отношения у осетин в недавнем прошлом дают ценный материал для характеристики родового строя и семейной общины.

В. Н. Ярцева в докладе «Соотношение территориальных диалектов в разных исторических условиях» отметила, что работы Ф. Энгельса содержат не только важнейшие методологические положения относительно диалектики исторического развития языка, но и дают примеры объяснения таких изменений, ко-

торые происходят в языке в результате взаимодействия диалектов. Используя материал английского и кельтских языков, В. Н. Ярцева проанализировала типы взаимодействия диалектов одного и того же языка в различных исторических условиях. Рассматривая язык как диалектически противоречивое единство совокупности его диалектов, она подчеркнула, что это единство обеспечивается структурным сходством диалектов одного языка и известной общностью исторического развития. Единство и общности развития диалектов одного языка может быть нарушено в результате действия различных причин: внешнего воздействия на одну из частей совокупности диалектов; функционального неравенства территориальных диалектов; дивергенции диалектов в результате распадения области их распространения, первоначально являвшейся единой в политическом и экономическом отношении. Взаимодействие экстралингвистических условий в каждом конкретном случае языкового развития дает сложную картину сочетания системных свойств самого языка и конкретных условий их функционального применения.

А. В. Десницкая (Ленинград) в докладе «К вопросу о языковых отношениях в родовом обществе» указала, что работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» чрезвычайно важна для исследования типов языковых отношений, слагавшихся в условиях родового строя, для решения проблемы происхождения групп родственных языков. При постановке этих вопросов в лингвистической литературе обычно учитываются высказывания Ф. Энгельса относительно новообразования языков и диалектов в связи с процессами новообразования родственных племен. Однако для понимания самого типа языковых отношений эпохи родового строя, их внутренней стратификации определяющее значение имеет прежде всего характер организации родового общества, который проанализировал Ф. Энгельсом. Именно в социально-историческом аспекте получает объяснение факт возникновения при родовом строе обобщенных вариантов устной речи (устно-поэтический язык, язык обрядовых действий, публичная речь и т. д.). Разработка теории обобщенных вариантов языка, возникавших в условиях родового общества, открывает выход к изучению важных проблем языковой истории — характера «праязыков» или «праязыковых состояний», уточнения понятия «общий» и «единый язык народности».

В докладе М. М. Гухман «Взаимодействие диалектных ареалов и типы раздиалектной речи феодальной Германии» отмечается, что Ф. Энгельс поставил ряд важных теоретических проблем, связанных с закономерностями развития и функционирования диалектов в эпоху раннего средневековья. Диалектные ареалы в феодальной Германии, начиная с эпохи раннего средневековья, характеризуются сложностью структуры. Эта сложность обусловлена существованием наряду с местным узкоограниченным диалектным фоном более обобщенных разновидностей региональных форм, которые были свойственны, с одной стороны, устоявшаяся традиция, а с другой — обилие неологизмов, чуждых разговорной речи. Взаимодействие диалектных ареалов в этих условиях реализуется по двум линиям: а) проницаемость диалекта допускает продвижение инодиалектных форм, образующих сложные изоглоссы и взрывающих первоначальную диалектную конфигурацию; б) региональные варианты существуют в более высоких сферах коммуникации. Уже в эпоху формирования крупных племенных союзов существовали различные наддиалектные формы языка, устные и письменные койне, представленные древней поэзией, языком древнего права и административного управления, обряда и религии, языки межплеменного общения типа готского языка в период существования готского племенного союза. Обособление языка высших сфер коммуникации происходило в двух направлениях: путем определенного функционально-стилистического отбора и через включение разнодиалектных вариантов.

С. Д. Кацнельсон (Ленинград) в докладе «Метод системной реконструкции и внутренняя хронология историко-лингвистических фактов» отметил, что классическая компаративистика, стремясь создать историю изучаемых ею языков, принимала за исходный пункт развития древнейший по своей письменной документации язык. Проблема реконструкции древних языковых систем, непосредственно не засвидетельствованных в письменных памятниках, при этом не вставала; внутренние связи элементов в системе языка не принимались в расчет. Новый индуктивно-дедуктивный метод исследования предложил Ф. де Соссюр. Он реконструировал историческую динамику системы индоевропейского вокализма, наметив в ней ряд стадий, древнейшей из которых он считал стадию моновокализма. Эта хронология нового типа основана не на древности памятников, а на исторических закономерностях развивающейся системы. Открытие хеттского языка показало действенность метода системной реконструкции, который не следует смешивать с методом внутренней реконструкции. Не менее ощутимый удар по представлениям классической компаративистики нанесла историческая лингвогеография, предвозвестником которой был «Франкский диалект» Ф. Энгельса.

Э. А. Макаев в докладе «О соотношении генетических и типологических критериев при установлении языкового родства» отметил, что в ряде работ по-

следних десятилетий предлагается пересмотреть основания генеалогической классификации языков, отказаться от реконструкции праязыка и от самого понятия генетического родства языков, причем последние предлагается заменить понятием языкового союза и конвергентности языкового развития первоначально различных языков. В связи с этим возникает вопрос, в какой мере формирование языкового союза может привести к возникновению новых языковых семей. Рассмотрев в качестве примера идею балканского языкового союза, выдвинутую Кр. Сандфельдом, докладчик приходит к выводу: на протяжении многовекового существования балканского языкового союза входящие в него языки вовсе не утратили генетических связей со своими предками, не был создан иной грамматический строй, не получился сплав всех языков в некий унифицированный структурный тип, что позволило бы говорить о балканской группе языков. В заключение Э. А. Макаев подчеркнул, что было бы неверным преуменьшать значение типологических критериев при установлении языкового родства, однако типологические критерии не в состоянии ни заменить, ни отменить генетические критерии при установлении языкового родства.

Г. А. Климов в докладе «Вопросы компаративистики в трудах Ф. Энгельса» отметил, что особое место в компаративистических штудиях Ф. Энгельса, изучавшего самые разные языки, принадлежит славистике и германистике. Одно время Ф. Энгельс планировал разработку сравнительно-исторической грамматики славянских языков. В последующий период его лингвистические интересы все более смещались в сторону истории германских языков, что было непосредственно связано с его исследованиями по истории древних германцев и нашло свое частичное отражение в работе о франкском диалекте. В докладе были затронуты также теоретические проблемы компаративистики, интересовавшие Ф. Энгельса.

А. М. Кузнецов (Москва)

Исправление

В № 6 за 1970 г. в хроникальном сообщении А. П. Володина на стр. 139 (начало первого абзаца снизу в правой колонке) по вине автора допущена опечатка. В предложении: «Если генетическая принадлежность селькупского и алеутского языков не вызывает сомнений...» вместо «селькупского» следует читать эскимосского.

CONTENTS

Articles: V. M. Žirmunskij. Did Proto-Germanic really exist?; E. A. Makaev (Moscow). The problem of Indo-Iranian linguistic unity; **Discussions**: L. Ligeti (Budapest). The Altaic theory and lexicostatistics; T. V. Gamkrelidze (Tbilisi). The modern diachronic linguistics and Kartvelian languages; Y. B. Krupatkin (Sevastopol). Phonological variants of phonemes and non-distinctive oppositions; A. S. Liberman (Leningrad). Order of actions in phonology and the reality of distinctive features; **Materials and notes**: M. G. Tarlinskaja (Moscow). Meter and rythm of pre-Chaucerian verse; G. Ts. Piurbeyev (Moscow). Functional mutation of sounds in Mongolian languages; **From foreign periodicals**: J. Kuryłowicz (Kraków). An experience of the extrapolation of one linguistic law; **From the scientific heritage**: I. M. Tronskij. The language of Homer; **Critics and bibliography**; **Scientific life**.

SOMMAIRE

Articles: V. M. Žirmunskij. Le proto-germanique, existait-il?; E. A. Makaev (Moscou). Le problème de l'unité linguistique indo-iranienne; **Discussions**: L. Ligeti (Budapest). La théorie altaïque et lexicostatistique; T. V. Gamrelidze (Tbilisi). La linguistique diachronique moderne et les langues kartvéliennes; Y. B. Kroupatkin (Sevastopol). Variantes phonologiques des phonèmes et oppositions non-distinctives; A. S. Liberman (Léningrad). L'ordre des actions en phonologie et la réalité des traits distinctifs; **Matériaux et notices**: M. G. Tarlinskaja (Moscou). Mètre et rythme du vers pré-Chaucerien; G. Ts. Piurbeyev (Moscou). Mutation fonctionnelle des sons dans les langues mongoliennes; **Extraits des périodiques étrangers**: J. Kuryłowicz (Cracovie). Essai d'extrapolation d'une loi linguistique; **De l'héritage scientifique**: I. M. Tronskij. La langue d'Homer; **Critique et bibliographie**; **Vie scientifique**.

Технический редактор *Гашкина Л. И.*

Слано в набор 1.III.1971 г. Т-06492 Подписано к печати 28/IV-1971 г. Тираж 7170 экз.
Зак. 1850 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 13,3 Бум. л. 4,75 Уч.-изд. л. 14,9

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10